Борис Галин

Воспоминания о Якове Ильине или краткая история жизни одного большевистского юноши.

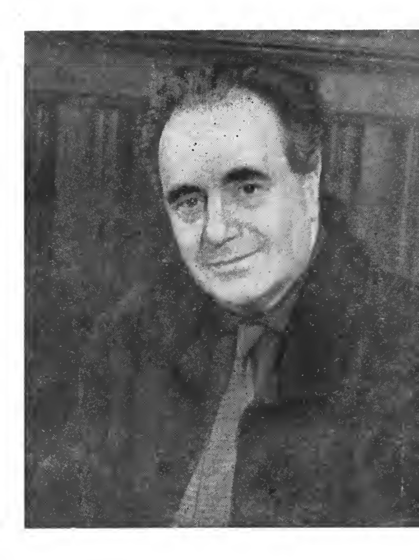
Литературные

Борис Горбатов, каким я его знал.

портреты.

Алый путь разъездного корреспондента Алексея Колосова.





Борис Галин

ВРЕМЯ ДАЛЕКОЕ — ТОВАРИЩИ БЛИЗКИЕ

Литературные портреты

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1970

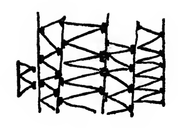
В своей книге воспоминаний писатель Борис Галин рассказывает о незабываемых встречах с А. М. Горьким, В. В. Маяковским, А. В. Луначарским, о писательском пути своих товарищей по литературному делу — Якова Ильина, Алексея Колосова, Бориса Горбатова, об их удивительном умении «улавливать жизнь», писать историю своего времени. Все, чем жила наша страна в тридцатые годы, во время войны и в послевоенные годы, находит в книге Бориса Галина горячий, волнующий отклик. Страницы этой книги — увлекательное путешествие в романтику героического прошлого нашей страны, живая связь этого прошлого с нашими днями.

Художник В. В. Морозов

7-3-2
81—70



Воспоминания о Якове Ильине, или Краткая история жизни одного большевистского юноши



Время, время,— и мы, его дети!

Томас Манн

МОСКВА, МАЛЫЙ ЧЕРКАССКИЙ

Я впервые увидел его в длинном, узком редакционном коридоре весной двадцать шестого года. Он шел веселой, приплясывающей походкой, прижимая к груди связку книг и ворох гранок, пахнущих типографской краской.

Это был новый член редколлегии «Комсомольской правды». Звали его Яков Ильин. Было ему тогда чуть за двадцать,— худой, остроглазый, он всем своим видом напоминал задорного подмастерья: чистые сапоги, косоворотка, перепоясанная узким ремешком, и пиджак, который свисал у него с одного плеча.

Ильин пришел к нам в газету с комсомольской работы, или, как он любил говорить, откомандирован был из Балашовского укома в Москву, в Малый Черкасский переулок,— здесь на четвертом этаже громадного делового дома тогда находилась молодая, недавно созданная «Комсомольская правда».

Ильин стал редактором отдела внутренней жизни. Это была мастерская — так в одну добрую минуту Ильин назвал наш отдел внутренней жизни, мастерская, в которой мы работали по специальностям: комсомольская жизнь; пионерская; производство и быт; массовая работа.

Мастерская занимала две комнаты: одна — большая, вытянутая в длину, уставленная несуразно-казенными столами, другая — маленькая, квадратная, отделенная от большой фанерной стеной и низкой, узкой дверью.

Как мы ухитрялись работать в этой мастерской, всегда полной людей, шума и гама, трудно сейчас себе представить! Ильин имел отдельную комнатку. Редакторский кабинетик был крохотный, большой стол поглощал две трети площади, свой стул Ильин обычно предлагал посетителю, а сам садился на край стола или же забирался на подоконник.

Все мы были молоды, все мы были газетчиками-оперативниками. А у этого одержимого парня, у нового нашего редактора отдела внутренней жизни, как-то сразу в наибольшей степени проявилось то новое, что так близко публицисту ленинского склада: по образу действий Ильин был пропагандистом и организатором.

Он сразу, первой же статьей, заявил о себе: «Война безразличию».

Костров, главный редактор «Комсомольской правды», которому Ильин положил на стол гранки статьи, пробежал ее глазами — до этого он читал ее в рукописи — и, теребя свою куцую золотистую бородку, с живым любопытством взглянул на худенького Ильина.

— Итак, война безразличию? — спрашивает Костров.

— Решительная,— отвечает Ильин.— И равнодушию война! И всему подлому, что именуется: моя хата с краю...

Костров склоняет голову на плечо, смотрит на Ильина с нескрываемым интересом. Осторожно, будто сомневаясь или, скорее, испытывая, Костров тихо произносит:

— Воевать с помощью хрупкого газетного листа?

Ильин сгребает с редакторского стола гранки, взвешивает их на ладони.

— Превосходнейшее оружие! — говорит он.— Историки считают, что хрупкий газетный лист в основном вырос из простого информационного листка. Сущность листка — фотографирование и регистрация тех или иных событий. А мы — слушай, Костров, внимательно! — мы ставим и будем всегда ставить перед собой другие задачи. К черту зеркало, безмолвно и безвольно отражающее то или иное событие! Газета — общественно действенная организация, громко негодующая — да-да, негодующая! — при виде непорядков и радующаяся — да-да, радующаяся! — успехам и достижениям. Проще говоря: мы будем жить полной жизнью! Мы будем брать и так отображать жизнь, чтобы у читателя все время жгло руки: бить по недостаткам и носить кирпичи для социалистической стройки! Писать о том, что волнует! Писать о том, что интересует тысячи!

— Ну что ж,— улыбается Костров,— будем жить полной жизнью! Хотя, по-дружески скажу тебе, вещь это весьма трудная: «жить полной жизнью». Одни только «конкретные носители зла» чего стоят!..

С той самой минуты, как Ильин появился в редакции, никто из нас, работавших с ним в отделе внутренней жизни, уже не знал покоя; он как-то сразу перевел рычаг скорости, темп и размах работы стали другими, более высокими, и требования усложнились,— жизнь хлынула в наши тесные комнаты. В редакцию стали приходить люди самых разнообразных профессий — ученики ФЗУ, молодые рабочие, учителя, комсомольские вожаки, делегаты из глухих российских уездов, музыканты, агрономы, ученые, наркомы...

То в один прекрасный день заявится крестьянский хор из Подмосковья во главе с Ярковым, старым, широким в плечах крестьянином с роскошной, окладистой бородой; немедленно распахиваются окна и двери маленького ильинского кабинета, и льются-льются чудесные старинные песни и новые частушки. То вдруг все комнаты редакции, в том числе и кабинет главного редактора, превращаются в экспериментальную, дегустационную столовую, и на застеленных газетами столах появляются разнообразные блюда — это энтузиасты из Наркомзема во главе с громкоголосым Брагиным демонстрируют вкуснейшие изделия из китаянки сои. А однажды пришел ученый с мировым именем, тонкое лицо его было иссушено азиатским солнцем,— он повел рассказ: на нас наступает пустыня! И полоса, которую мы вместе с ученым выпустили, имела активное звучание: «Заставим пустыню отступить!»

Казалось, все волнует газету. Нужно было думать о песнях, создавать новые песни — и за это берется газета. Нужно было, как тогда говорилось, взять на службу комсомолу гармонь — и газета начинает воевать за гармонь.

Какие яростные споры разгорелись вокруг «проблемы гармошки»! Противники спрашивали: а так ли уж необходимо ее пропагандировать? Ведь это, можно сказать, отсталый инструмент глухой деревни и фабричной окраины. Надо звать комсомольцев и всю молодежь овладевать высотами культуры, учить их глубоко воспринимать классическую музыку... А что, собственно, может трехрядка? Под частушки взламывать деревенскую тишину...

Но неожиданно на нашу сторону стали такие авторитеты, как А. В. Луначарский, В. Э. Мейерхольд, профессор Брюсова; они вошли в жюри конкурса на лучшего гармониста, который организовала «Комсомольская правда» вместе с Комсомолом. И такие талантливые, недавно «открытые» Театром Мейерхольда гармонисты — Макаров, Кузнецов и Попков — очень помогли, заставили с должным уважением отнестись к этому как будто немудрящему музыкальному инструменту. Ведь Комсомолу совсем небезразлично — в чьих руках гармонь. На селе и на рабочей улице гармонист — фигура!

А в один из дней декабря двадцать шестого года по всей Москве разнеслась весть: «Комсомолка» организует массовый поход молодежи на Волховстрой. Стоимость поездки — 18 рублей. Начали воевать с Наркомпути. Железнодорожники предложили теплушки. Штаб поездки во главе с Ильиным настаивал на обычных вагонах с «жесткими местами». Направили делегацию в Наркомпути и добились своего. Правда, в вагонах было тесно, для всех не хватило спальных мест, было холодно, но за песнями, за веселыми разговорами и спорами зимняя ночь прошла быстро...

Ильин выпустил «Газету на колесах», она переходи-

ла из вагона в вагон. На длинных листах рулонной газетной бумаги в сжатой форме рассказывалось о беседе В. И. Ленина с Гербертом Уэллсом:

Москва. Год двадцатый.

«Вы голодаете, у вас холодно, а вы обстреливаете небо»,— сказал товарищу Ленину английский писатель Уэллс.

Волхов. Год двадцать шестой.

Сбылась идея кремлевского мечтателя — первая в СССР мощная гидроэлектрическая станция 19 декабря включила ток высокого напряжения в провода.

Выражаясь фигурально и переводя энергию Волхова на работу живых людей, можно сказать, что осуществление Волховстроя равносильно созданию армии труда в *Один Миллион Двести Тысяч Человек!*

И вот мы — двести девяносто восемь комсомольцев — в Ленинграде. На площади у Зимнего дворца встретили нас военные моряки Балтики. Черные бушлаты побратались с москвичами, стихийно вспыхнул митинг. Говорили страстно — об Октябре, о Ленине, о Волховстрое.

Потом Петропавловская крепость, Эрмитаж, Смольный. Поход продолжался. В ту же ночь поезд с комсомольцами двинулся на Волхов — там только на днях была пущена крупнейшая в России гидроэлектростанция, и главный строитель и проектировщик станции

инженер Графтио повел комсомольцев к плотине и по машинному залу, и мы, как зачарованные, долго смотрели на стремительно падающую с большой высоты волховскую седую воду, затем, притихшие, взяв в кольцо Графтио, слушали его краткий, но полный живых подробностей рассказ о Ленине, который, по словам старого инженера-энергетика, «умел начинать и не боялся начинать».

После Эрмитажа, в котором комсомольцы только накануне провели долгие часы, исполненные чувства восхищения и благоговения перед великими мастерами прошлого,— переход к красоте индустриальной. Ведь для всех нас Волхов, гидроэлектростанция были живой, яркой новью. Так вот какой будет наша страна! Волхов. Днепр. А там Свирь... Энергия в тысячи и тысячи л. с. И все это подвластно человеку. И за всем этим стоит упорный труд вот этих обутых в лапти грабарей, которые вместе с инженерами Графтио и Веденеевым оседлали реку Волхов.

В газетном отчете на страницах «Комсомольской правды» говорилось об этой поездке, о том, что от закованных в латы железных рыцарей, которых мы увидели в Эрмитаже, комсомольцы совершили бросок к новой культуре. Эти строки взъярили Ильина. Он накинулся на автора заметки и на нас, работников газеты, пропустивших ее.

— О господи,— в сердцах крикнул он,— да не от рыцарей ведем мы свою родословную, а от тех военморов в черных бушлатах, которые встретили нас на площади

у Зимнего дворца, от них и наших отцов... И от Рембрандта и Рафаэля, которых мы видели в Эрмитаже, а многие из нас, быть может, впервые увидели... Все лучшее в прошлом — наше! И Волхов, ребята, служит красоте, новой красоте человеческой...

ПО МАНДАТУ ЛЕНИНА

Теперь я хочу рассказать краткую историю одного комсомольского похода добровольных помощников РКИ, историю одного «хрупкого газетного листа», на котором вместе с Ильиным трудился Маяковский — поэт, остро чувствовавший современность.

Поэт и раньше часто бывал в «Комсомольской правде». Но почему-то в то лето двадцать седьмого года он мне больше всего запомнился; может быть, оттого, что Владимир Владимирович стал захаживать и к нам, в отдел внутренней жизни, редактором которого был Яков Ильин.

Владимир Владимирович работал с Уткиным и Алтаузеном, его связывала крепнущая дружба с Тарасом Костровым, и все-таки я не ошибусь, если скажу, что больше всего его тянуло к комсомольцам из нашего отдела. Он был здесь очень нужен, поэт Маяковский, человек, к которому позже так прочно пристало меткое асеевское: «Владимир Необходимович».

Да, он был необходим газете, поэт Маяковский. Но с такой же решимостью и определенностью можно сказать, что и он, Маяковский, хорошо понимал, что у этих ребят из отдела внутренней жизни, особенно у его звонкоголосого, напористого редактора в косоворотке, можно кое-чему ценному научиться.

Вспоминаю Маяковского в нашей редакции — это был совсем не тот, говорящий мощным голосом с трибуны Политехнического поэт, а как будто другой (так нам казалось), совсем другой Маяковский, по-будничному деловитый, очень близкий нам человек, вносящий в то дело, которым заняты мы, рядовые комсомольцы-газетчики, заряд удивительно живой, веселой и острой энергии.

В ильинском крохотном кабинетике-закутке, оклеенном дешевыми обоями, с одним окном во двор, всегда было людно и шумно; сюда стягивались «нити» газетной жизни, здесь правились корреспонденции перед сдачей в набор, придумывались заголовки статей, заметок, лозунги-«шапки» для полос, рождались темы новых газетных выступлений и здесь же яростно схватывались по жгучим вопросам текущей жизни, спорили «до самых петухов». И верно, порою мы расходились на рассвете, держа в руках оттиски газетных полос, остро пахнущие свежей краской.

В тот июньский вечер мы «колдовали» над страницей, которая шла по нашему отделу. Страница, или, как в газете говорят, полоса, готовилась давно. Редакция направила свою бригаду (ее возглавлял Яков Ильин) в крупное советское учреждение — в Госторг.

> Во Владивостоке и в Одессе с океанских кораблей сгружают огромные тюки шерсти, из трюмов на берег выгружают длинные заколоченные ящики — сельскохозяйственные машины, галантерею, велосипеды — в адрес: «Москва. Госторг». Мясницкая. Стеклянный дом-куб. Строили этот дом по проекту Корбюзье. К дому Госторга дви-

жутся машины и вереницы подвод, груженных лекарственными растениями, прекрасными сибирскими мехами, льном, маслом. Скоро они появятся на рынках дальних стран...

Шел спор: как же назвать полосу, какую дать «шапку»? Уже было синим карандашом набросано:

ВЫНОСИТЬ ЛИ СОР ИЗ ИЗБЫ?

Яков Ильин на разные лады повторял слова этой «шапки»: то тихим, то задорным, то решительным голосом.

Дверь распахнулась, на пороге выросла фигура Маяковского.

— Выносить! — прогудел он на всю крохотную комнатку.

Наши учреждения сильно походят на обычную городскую, плотно заселенную квартиру. Воздух, пропитанный прелостью и духотой, непривычного человека дурманит. Запущенный коридор служит свалкой для лишней мебели, чемоданов, старья и мусора. На двери висит дощечка, на ней десяток фамилий и указатель звонков. А за дверью затхлая, перенаселенная квартира. Можно перепутать дощечки и квартиры, но за любой дверью вы наткнетесь на ту же картину.

То же, к сожалению, и во многих наших учреждениях: на подъезде вывеска, указатель отделов и подотделов, а за закрытой дверью — расточительство, бесхозяйственность и волокита. Можно идти в одно учреждение, перепутать и попасть в дру-

гое — вы встретите ту же безотрадную картину. РКИ настоятельно советует: открыть форточки, проветрить помещения, сократить ненужные расходы, упростить и удешевить аппарат.

В Госторге у комсомольцев жив воинственный дух, там не хныкают, а идут в атаку на казенщину, бюрократизм, головотяпство. Там не только разрушают, но главное — лечат, чинят, строят новый соваппарат.

На полосе (в верхнем углу справа) шли стихи Маяковского. Вернее, подпись под рисунком: «Про Госторг и кошку, про всех понемножку».

Динь, динь, дон,
динь, динь, дон,
день кошачьих похорон.
Что за кошки —
восторг!
Заказал их Госторг.
Кошки мороженые,
в ящики положенные.
Госторг
вез, вез,
прошел мороз,
привезли к лету —
кошек и нету.
Рубликов на тыщу
привезли вонищу.

И тут же рисунок: рабочий Курбатов тащит воз с дохлыми кошками.

Маяковский, держа трость под мышкой, терпеливо ждал, когда Ильин пробежит глазами его стихи. Осторожно двигался поэт по комнатке, курил и посматри-

вал на стол, где лежала большая, на восемь колонок, только что тиснутая газетная полоса, пришедшая из корректуры.

Маяковский громадой навис над худыми плечами Ильина, заглядывая в развернутую газетную полосу. Потом искоса внимательно посмотрел на молодого редактора, негромко спросил:

— А что, собственно, Яков Ильин, вы хотите сказать читателю? — И пристукнул тростью по расчерченной цветными карандашами полосе, обклеенной со всех сторон вставками на узких листках-гранках.

Звонким, мальчишеским голосом Ильин ответил, расставив слова по-маяковски, лесенкой:

Учитесь
давать
сдачи!

Поэту понравилось: дельная мысль!

А мысль у нашего редактора была такая. Газета обращалась к летучим отрядам комсомольцев, к добровольным помощникам РКИ: по мандату Ленина будем сражаться с недочетами, памятуя, что мы в ответе за все, чем живет наша страна...

Из стопки книг, лежавшей на краю стола, Ильин выбрал светло-коричневый томик Ленина — нужно было сверить цитату, которая шла на полосе.

Он держал в своих ладонях раскрытую книгу и звучным, «атакующим» голосом читал ленинские слова, призывая Маяковского вслушаться, внимательно вслушаться в эти чудесные строки — мысли нашего Ильича:

«С ними (тут молодой редактор вскинул голову и пояснил, кого именно Владимир Ильич имеет в виду: «С бюрократами!») нужно воевать по всем правилам искусства и привлекать к ответственности тех партийных товарищей, которые ходят и жалуются или рассказывают анекдоты о том, что в таком-то учреждении сделана такая-то гадость, ходят по всей Москве и рассказывают анекдоты про бюрократические происшествия. А вы, товарищи, сознательные коммунисты, что вы сделали для борьбы с этим? — Я жаловался.— А до какого учреждения довели вы эту жалобу? Оказывается, что ни до какого...— А к суду за волокиту привлекали? Где у нас приговоры народных судов за то, что рабочий или крестьянин, вынужденный четыре или пять раз прийти в учреждение, наконец, получает нечто формально правильное, а по сути издевательство? Ведь вы же коммунисты, почему же вы не организуете ловушки этим господам бюрократам и потом не потащите их в народный суд и в тюрьму за эту волокиту? Сколько вы посадили их в тюрьму за волокиту? Это штука хлопотливая, конечно, скажет всякий. Пожалуй, такой-то обидится. Так рассуждают многие, а пожаловаться, анекдот рассказать, на это есть сила...»

Маяковский оторвался от полосы, поднял голову и встретился взглядом с горячими глазами молодого редактора.

— «...Анекдот рассказать, на это есть сила»,— усмехнулся поэт.

В этой тесной комнатушке трудно было разойтись двоим. Но Маяковский не спеша, тихо и ловко вышагивает по маленькому квадратному кабинетику, задержится у стола, заглянет через плечо Ильина на раскрытые страницы ленинского тома или возьмет из низкой плетеной корзинки узкую гранку свежего набора, пробежит глазами, что-то прогудит про себя и снова начнет шагать вдоль стены, вперед и обратно.

Поэт давно ушел — у него в этом номере газеты шли стихи на других полосах,— а мы с Ильиным остались ждать контрольной полосы.

Яков потянулся к раскрытой книге — восемнадцатый ленинский том лежал на расчерченной карандашами полосе со стихами поэта и отрывком из выступления Владимира Ильича на Всероссийской партийной конференции 27 мая 1921 года.

Ленинский том имел общее название — «Пролетариат у власти». Год издания — двадцать третий. Закладка лежала на 277-й странице.

Все ленинское было так близко по времени и духу — доклад Владимира Ильича о продовольственном налоге и эти столь созвучные нашим дням мысли о борьбе с бюрократизмом.

— А ты письмо Ленина помнишь — письмо одному работнику, Соколову?

Ильин вдруг загорелся — надо немедленно достать это замечательнейшее письмо Ленина. Помнится, было оно напечатано в «Правде» в самом начале двадцать четвертого...

Кинулись мы в коридор, в тот глухой закоулок, где на сосновых полках лежали газетные комплекты.

Письмо Владимира Ильича было напечатано на второй полосе «Правды» 1 января двадцать четвертого года. Газетные листы не успели даже пожелтеть от времени.

Там же, у сосновых полок, при свете убогой лампочки, мы стали листать большие страницы новогоднего номера «Правды». На первой полосе — рисунок Дени. Рабочий в фартуке, опираясь о молот, с веселой усмешкой глядит на летящие со всех сторон ноты — признания из капиталистического мира. На второй странице напечатан художественный эскиз Серафимовича. Поток людей — железный поток времен гражданской войны. И фигура Кожуха — он смотрит на скалы, которые сурово громоздятся вокруг, и говорит людям: «Иттить безостановочно!» (Потом этот эскиз полностью развернется в эпопее «Железный поток».) И на этой же полосе справа на двух колонках — письмо товарища Ленина.

Серафимович дал своему эскизу подзаголовок: «Из цикла «Борьба». Ильин повел карандашом по полосе «Правды» от этого отрывка к ленинской статье-письму.

— А ведь и тут,— сказал он тихо, не сводя глаз с газетных строк бесценного ленинского документа,— и тут речь идет все о той же великой борьбе пролетариата...

Какой могучий разбег мысли! Как сжато, просто, выпукло,— он, Ленин, пишет, словно беседует вслух по самым жгучим и трудным вопросам строительства новой жизни. Терпеливо, твердо и принципиально он ведет свой разговор с одним молодым работником, убеждает его: какая наивная мысль — думать, что бюрокра-

тизм можно, как нарыв, сразу уничтожить, «стереть с лица земли»!

«Это ошибка,— пишет Ленин.— Можно прогнать царя,— прогнать помещиков,— прогнать капиталистов. Мы это сделали. Но нельзя «прогнать» бюрократизм в крестьянской стране, нельзя «стереть с лица земли». Можно лишь медленным, упорным трудом его *уменьшать*... «Сбросить» нарыв такого рода *нельзя*. Его можно лишь *лечить*. Хирургия в этом случае абсурд, *невозможность;* только *медленное лечение* — все остальное шарлатанство и наивность.

Вы именно наивны, извините меня за откровенность. Но Вы сами пишете о своей молодости.

...«Главки» *«сбросить»?* Пустяки. Что Вы поставите *вместо* них? Вы этого не знаете. Не *сбрасывать,* а чистить, лечить, лечить и чистить десять и сто раз. И не падать духом».

А завершалось ленинское письмо светлой, бодрой строкой: «Жму руку и прошу не допускать в себя «духа уныния».

Владимир Ильич написал это письмо 16 мая двадцать первого года. Полторы недели спустя, на Всероссийской партийной конференции, Ленин снова поднимает вопросы борьбы с бюрократизмом.

А было так: выступал в прениях один товарищ из провинции и в своей горячей речи сказал, что они, мол, у себя на месте воюют с «южбумом»...

Владимир Ильич немедля подключил «южбум» к своим мыслям о борьбе с бюрократизмом, и слово это сразу потянуло за собою другие ассоциации и раздумья, рожденные все той же ленинской заботой об улучшении советского аппарата. («Товарищ говорил, что те-

перь у них есть «южбум» и что они воюют против этого «южбума», а когда я спросил, в какое учреждение они подали жалобу против «южбума», он ответил, что не знает, а ведь это очень важно».)

На минуту представляешь себе: взял Ленин «на ощупь» этот самый «южбум» и с беспощадной иронией стал разглядывать новое, вдруг вынырнувшее из недр жизни забавное словцо. («Что такое этот «южбум», я не знаю; это, наверно, учреждение, страдающее тем же бюрократическим извращением, как и все наши другие советские учреждения... А вы против этого, товарищи, как воюете? Вы думаете, что голыми руками можно взять этот «южбум»...»)

Вот с этой самой, с двести семьдесят седьмой страницы XVIII тома мы и взяли ленинские разящие слова («С ними нужно воевать по всем правилам искусства...») и перенесли их на газетную полосу «Комсомольской правды».

Вторая часть XVIII тома охватывала годы 1922—1923. Были в этой второй части XVIII тома исторические ленинские работы — «Странички из дневника», «Как нам реорганизовать Рабкрин», «Лучше меньше, да лучше»...

Стопка книг Ленина с закладками всегда была у Якова Ильина под рукою — всегда в «мобилизационной готовности». Теперь к ним прибавилась «Правда» от 1 января 1924 года с бесценным ленинским документом («...чистить, лечить, лечить и чистить десять и сто раз. И не падать духом»).

Ветер хлынул в раскрытое настежь окно, зашуршал газетными полосами, принес в нашу маленькую комнату прохладу. Молодой редактор зашагал по крохот-

ному кабинетику и в ожидании, когда придет свежий номер газеты, тихонько напевал: «Динь, динь, дон, динь, динь, дон!»

Он был в веселом, возбужденном настроении: полоса подписана к печати, сейчас привезут свежий номер газеты, и, что очень дорого всем нам, молодым газетчикам,— Маяковский на полосе. Маяковский воюет с бюрократами. Ну как же тут не радоваться!

Атакующим фронтом развернулись газетные строки. И в первой цепи наступающих — гневный, дерзко-веселый стих Маяковского.

Ильин смеется: завербовали товарища поэта!

Маяковский быстро и точно уловил смысл той будничной работы, которую из номера в номер ведет «Комсомольская правда»:

Газетой
с республики
грязь скребете.

Само участие поэта, активное, постоянное, умиллионивало (так говорил наш редактор) силы газеты.

Теперь Владимир Владимирович стал чаще заглядывать к Ильину. Наблюдая их вместе, слушая их беседы по самым острым проблемам живой жизни, я невольно приходил к мысли: как отлично они ладили, такие разные и оба такие живые, страстные, хорошо понимающие, какие дела можно делать на газетном листе...

Иногда мы слышали, как за фанерной стенкой, сдерживая себя, гудящим голосом поэт читал стихи «в номер».

А однажды застал я такой кусок их беседы.

Владимир Владимирович негромко спрашивал, и так же негромко Ильин отвечал ему.

...— Что же вы делали на заводе?

— Слесарил. Учился в ФЗУ.

— И всё?

— Еще боролся.

— За что?

— За эту самую школу ФЗУ, чтобы выйти ей на широкий простор.

— А с завода куда?

— В Сергиевский уезд. Политпросветом.

— Боролись?

— За культуру, за новый быт в деревне.

— А оттуда куда ушли?

— Мобилизовали, Владимир Владимирович, мобилизовали. В Балашовский уезд.

— Боролись?

— За то, чтобы научиться управлять трактором. Книжку написал. «Комсомолец — на трактор!» Помните, в гражданскую: «Пролетарий — на коня!» А мы, балашовские ребята, свой лозунг развернули: «Комсомолец — на трактор!» Правда, их еще и по сей день очень-очень мало, этих железных машин...

Ильин завел плетеную настольную корзинку, обязал всех нас, работающих в отделе, откладывать интересные юнкоровские заметки, гранки статей — «для Маяковского».

Вот, скажем, дошло до нас: в одном наркомате, кажется в Наркомфине РСФСР, благодаря стараниям инициативных работников сумели упростить чиновничью лестницу, выдвинув на первый план думающего

ответственного исполнителя независимо от занимаемой им должности. Неожиданно пошли жалобы из других учреждений. Тамошние чиновники требовали восстановить былую иерархию: дескать, неудобно писать отношение учреждению и адресовать его чуть ли не — подумать только! — рядовому сотруднику. «Разве можно переписываться с рядовыми сотрудниками! Безответственность, разгильдяйство!» — завопили добропорядочные чинуши.

Для Маяковского!

Попалась как-то в наши руки одна бумага из Госторга, — на ней ответственный товарищ, не желая, видимо, вникнуть в суть дела, начертал крупно: «Возбудить переписку».

Для Маяковского!

Громовой хохот словно раскачал фанерные стены кабинетика Ильина. Да, да, на бумаге именно так и было начертано начальственной рукой: «Возбудить переписку».

Владимир Владимирович захватил и эту бумагу; в согнутой руке он держал кипу гранок, прижав их подбородком, и, улыбаясь, сказал:

— Возбудим, возбудим переписку!

Ильин встал из-за стола, он потянулся вперед, провожая поэта радостными глазами. Поэт шел серединой узкого и темного, как туннель, редакционного коридора, держа на плече трость.

Маяковский продолжает развертывать острую тему — тему борьбы с бюрократизмом. Он набрасывает портрет службиста-подхалима:

«Спросишь мнение,— придет в смятеньице, деликатно отложит до дня до следующего, а к следующему

узнаете мненьице — уважаемого товарища заведующего».

Всю Москву облетели его крылатые строки: «При встрече с начальством, закатывая глазки, скажи ему голосом, полным ласки: — Прочел отчет. Не отчет, а роман! У вас стихи бы вышли задарма! Скажите, не вы ли автор «Антидюринга»? Тоже написан очень недурненько...»

Вот он сидит, Владимир Владимирович, в ильинской комнатке, сидит боком на стуле, вытянув длинные ноги вдоль стены, оставив дорожку для прохода. Он смотрит, как легли стихи на полосе, с каким материалом они стыкуются. Поэт берет на слух броские слова газетной «шапки»: «Залп по совдуракам». Из корзинки — «для Маяковского» — он выбирает оригинал юнкоровской заметки: факты, факты! Уходит работать. В полутемном коридоре стоит маленький столик, днем здесь обычно сидит дежурный по редакции. Сейчас вечер, коридор опустел, столик освободился (дежурный уехал в типографию), им завладел Маяковский; в распахнутом пиджаке, он грудью прилег на столик, положив рядом свою трость и лист бумаги. Он работает. Из типографии звонки: требуют передать по телефону «шапку», нужно быстрее послать на сверку стихи поэта, идущие в номер. Одним словом, течет обычная редакционная жизнь, и Владимир Владимирович энергично, просто и деловито впрягается в эту живую, стремительную газетную страду.

До самой осени двадцать седьмого года бригады газеты работали в Госторге, потом в наркоматах финансов.

В октябре «Комсомольская правда» напечатала открытое письмо совячейкам об итогах смотра Наркомфинов СССР и РСФСР. Письмо называлось: «Вызов чиновничеству и расточительству». Редакция обобщила весь собранный материал, поставив прямо и четко вопросы, волнующие советскую общественность. Разумеется, острое и непримиримое письмо вызвало ответную волну откликов. Отозвалась и выходившая в те годы «Наша газета» (орган профсоюза совторгслужащих). В редакции «Нашей газеты» сочли почему-то нужным взять под защиту вообще всю корпорацию служащих, обойдя при этом острые проблемы борьбы с бюрократизмом, чиновничеством и расточительством в наших учреждениях.

Осторожным товарищам отвечал Яков Ильин, советуя «вместо отеческих поучений комсомольцам стремиться показать всем другим газетам пример подлинной неистовой борьбы с бюрократизмом».

И еще: «Разрешите и нам поставить вопрос ребром: будем ли мы превращать страницы газеты в защитников отсталости и мнительности обидчивых людей, или каждую страницу превратим в железную шеренгу строк — проводников правильной партийной линии?»

Вот когда снова всплыла короткая, в две колонки, статья Ленина — его ответ на письмо одного коммуниста. Помните, завершался ответ Владимира Ильича такой строкой: «Жму руку и прошу не допускать в себя «духа уныния».

Опираясь на это ленинское письмо, полное бесстрашия и уверенности, что чем выше будет наша общая культура и чем решительнее мы будем расчищать почву в нашем доме от бюрократизма, тем успешнее будет

борьба за социализм, письмо «Комсомольской правды» к осторожным товарищам заканчивалось следующими словами: «Жмем руку и просим впредь не поддаваться духу казенного благополучия».

ЖАЛЯЩИЕ ВОПРОСЫ

Весь свой публицистический заряд Ильин по-прежнему вкладывал в работу над статьями по самым актуальным вопросам комсомольской жизни. Стиль его газетной работы складывался из таких элементов: видеть, наблюдать, изучать. И не где-то там, в прекрасной дали, а в самом низу, памятуя ленинское требование, чтобы каждый работник партии «опускался на дно», изучал дело до тонкостей, до мелочей.

На тридцать дней Ильин переехал из Малого Черкасского за Москву-реку, на Краснохолмскую фабрику, поселился в фабричной казарме. («Нырнем в ячейковые будни! Приглядимся внимательно к нашей жизни в новых условиях. Не будем торопиться с обобщениями. Нырнув в ячейковые будни, объявим войну заседательской толчее, рассасывающей по пустякам наши силы. Наряду с борьбой за рационализацию производства и соваппарата возьмемся за рационализацию всей нашей комсомольской работы, начиная с ячейки, вплоть до ЦК и всесоюзных съездов».)

Я наблюдал Ильина в те дни на «близкой дистанции». Поражало меня одно обстоятельство: он буквально с первого дня прихода на Краснохолмскую сразу же стал *своим* среди фабричных ребят. Точно ожил в нем балашовский укомовец или, скорее, юный неугомонный слесарь с завода «Красная Пресня». И песни он пел с

комсомольцами на фабричном дворе, и на первый же субботник пошел — сгружать с баржи топливо для котельной, и в ТРАМ на новый спектакль повел ребят, и заседать в комитете стал, постепенно начиная ворошить и перетряхивать практику комсомольской «работенки».

Казалось, он забыл дорогу на Малый Черкасский,— фабрика, ее корпуса, ее старые казармы стали его домом.

На Краснохолмской он впервые под «новым углом» задумался над тем, что открылось ему в казарме, в цехах,— и, не «ломая» себя, не гася в себе публицистического запала, Ильин стал упорно работать над циклом художественно-очерковых портретов молодых рабочих одной фабрики. Чем они живут, жители фабричного двора? Что их тревожит, волнует, заставляет думать, искать ответа на острые, «жалящие вопросы»?..

Завершалась тридцатидневная командировка Ильина на фабрику, он с неохотой думал о возвращении из Замоскворечья в Малый Черкасский.

— Пульс жизни,— сказал он мне,— отлично бьется на фабрике... Сразу, черт возьми, слышишь это биение...

Это удивило меня: а как же работа газетного корреспондента? А как же работа нашей «Комсомолки»?

— Но тогда,— спросил я сердито,— зачем же ты тогда пошел в газету?

— Очень просто,— сказал Ильин.— Видишь ли, из Малого Черкасского, имея в своем распоряжении ежедневно четыре тысячи строк, можно немало хорошего сделать... Четыре тысячи строк!

День был летний, мы бродили по аллеям парка культуры и отдыха.

В тени дерева за небольшим столиком тихо занимался своим древним ремеслом графолог.

Ильин весело подмигнул: «Сейчас задам ему работку!»

Графолог протянул Ильину лист бумаги и попросил написать все, что Ильин пожелает.

Ильину писать было неохота, он засмеялся и вынул из потертого портфеля исписанный лист какой-то своей рукописи.

— Моя рука,— сказал Ильин и положил на край столика страничку рукописи.

Худой, с острыми плечами графолог на мгновение оторвался от работы, внимательно посмотрел на Якова Ильина и тихо, вежливо сказал:

— Загляните-ка через часок...

Из Нескучного сада мы возвращались в сумерках. Рабочий день графолога, по-видимому, кончился. Его не оказалось на месте, но на столике лежал плотный листок бумаги, придавленный камушком.

Почерк у графолога был очень трудный — «веревкой».

Ильин читал вслух графологический этюд, записанный на бланке со штампом графолога-эксперта.

ГРАФОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТЮД

Интеллектуальная самостоятельность проявилась ранняя, и рано вышел из-под влияния родных. По характеру своему склонен к более самодеятельной, инициативной работе. Есть наблюдательность и умение подмечать слабые стороны в начинаниях. В спорах умеет указать метко на факты,

бить как раз по самому больному вопросу, способен заупрямиться, чувствуя себя принципиально задетым. Если в основе и весьма миролюбивый человек, то уже будучи выведенным из себя, потеряв терпение, способен действовать не только решительно и определенно, но иногда и сгоряча. С теми, кто выше его, вежлив, но не подобострастен, — унижаться не любит. Скорее отдельные, хотя, может быть, и сильные вспышки энергии, чем равномерная работоспособность, иногда многое откладывается в долгий ящик. Любознателен. Миропонимание материалистическое, свойственная натуре фантазия всецело направлена на конкретные и реальные достижения цели.

Зуев-Инсаров.

Ильин в то время работал над книгой «Жители фабричного двора»; графологу он дал черновой набросок одной страницы, в котором были такие строки: «Мы глядим на мир своими глазами и часто приписываем свои желания и мысли другим. Посмотрим же на мир хоть несколько часов глазами заурядных живых людей, глазами тех, для кого, собственно, и должна вестись вся наша беготня и работа. И легче будет тогда ответить на «проклятые» вопросы...»

5 мая 1928 года в Большом театре начал свою работу VIII съезд комсомола.

На съезде развернулась острая дискуссия, затрагивавшая пути и судьбы молодого поколения рабочего класса.

Секретарь ЦК Николай Чаплин стоял на трибуне, ладно скроенный, с русой копной, нависшей на широкий лоб, живой, быстрый на острое, веселое слово.

Свою вступительную речь Чаплин закончил строкою Блока: «Революцьонный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!»

Чаплин и Косарев, Луначарский и Крупская и другие товарищи повели большой разговор: каким он будет, молодой человек эпохи социализма? Что он должен знать, к чему стремиться, во что верить...

Саша Косарев, споря с Гастевым, директором Центрального Института труда, открыл страницы недавно изданного романа Олеши.

— В «Зависти»,— сказал Косарев,— один молодой человек, Володя Макаров, такое говорит: «Я человек-машина, я превратился в машину. Если еще не превратился, то хочу превратиться — машины здесь зверье, породистые...» Вот как он говорит! В этой постановке вопроса о воспитании нового человека очень много сходного у героя романа с той постановкой вопроса о подготовке молодых рабочих, которую допускает наш уважаемый товарищ Гастев. Мне кажется, что Комсомол не стоит на точке зрения выработки такого нового человека — человека без перспектив, без чувств. Мы — за человека-строителя, за человека, строящего социализм!

Надежда Константиновна, поседевшая, сутулая в плечах, медленно прошла к трибуне, голос у нее был приглушенный, негромкий,— чуткая аудитория, тысячи делегатов ловили каждое ее слово.

Когда Владимир Ильич беседовал с каким-нибудь мальчиком или девочкой, говорила Крупская, он всегда

спрашивал: не правда ли, когда ты вырастешь, ты будешь коммунистом?

Надежда Константиновна в раздумье сказала: есть у педагогов такое выражение — дать детям эмоциональную зарядку. Что это значит? Это значит — воздействовать на чувства, захватить, увлечь ребят. Так вот, надо в этом деле обогатить ребят «эмоциональной зарядкой», сделать коммунизм для них близким и дорогим.

Кажется, на третий или четвертый день работы съезда выступил А. В. Луначарский. Народный комиссар просвещения взял слово, чтобы включиться в живой, активный разговор о проблемах воспитания молодого поколения. Но едва он поднялся на трибуну, как со всех сторон послышались возгласы: «Женева! Сессия!»

Луначарский, улыбаясь, оглянулся на Чаплина: буйный у тебя народ! Но секретарь ЦК в ответ только засмеялся и показал на гудевший зал: «Ничего, товарищ нарком, не поделаешь, надо подчиниться...»

Анатолий Васильевич согласился рассказать комсомольцам о недавно проходившей в Женеве сессии Лиги Наций — Луначарский входил в состав советской делегации,— согласился при одном непременном условии: сперва он выступит по вопросам школьным.

Свою речь он закончил такими словами:

— Мы, работники старшего поколения, с особой надеждою смотрим на вас, на прилив молодых сил. Разрыва между поколениями быть не может... Нужна более глубокая, органическая связь между Наркомпросом и Комсомолом. Здесь будет река расширяться в главном направлении. Эта река широка и течет в социа-

листическое море завершения социализма, а у истоков стоит фигура Ленина, от которой чем более мы удаляемся во времени, тем более величественной и могучей она остается в жизни,— всегда с простертой рукой, указывающей тот путь, к которому мы должны стремиться...

Он собрался было уходить, сложил два-три листка, в которые в течение всего своего выступления почти не заглядывал... Но тут вскочил Яков Ильин (он сидел с московской делегацией) и, свернув газету рупором, протяжно крикнул: «Женева!» И сразу же в разных концах подхватили: «Даешь Женеву!»

Луначарский закивал головою: разумеется, он не забыл, сейчас он перейдет к Женеве.

Он протер пенсне, внимательным взглядом окинул зал, гудевший тысячею голосов, задумался и будто в Женеву перенесся — так весело вдруг усмехнулся.

Велась на съезде стенограмма, но Ильин, как говорится, болея душой за газету, решил, что мы будем давать речь Луначарского по живой записи. Так будет оперативнее. И делегат съезда Ильин мобилизовал нас, работников газеты: записывайте, ребята! — и сам открыл свою тетрадку.

Луначарский обладал удивительным ораторским и художественным даром. Рассказывая свободно, просто и непринужденно о Женеве, о сессии, о той борьбе, которую вела наша делегация во главе с Литвиновым против зубров-консерваторов типа англичанина Кешендена, он точно лепил эпизод за эпизодом, мастерски, одним-двумя словами рисуя фигуры буржуазных политиков, напыщенных, исполненных презрения к мужланам-большевикам, которые привезли откуда-то из

далекой и бедной России свои жалкие планы разоружения во всем мире.

— Когда мы приехали с нашим проектом о всеобщем разоружении,— говорил Луначарский,— среди пацифистских масс это вызвало чрезвычайно благоприятное отношение к нам. Пацифист-обыватель рассуждает примерно так: кто такие большевики в остальных отношениях — я не знаю, но то, что они предлагают разоружение, то, что они предлагают больше не тратить миллиарды на оружие,— это, во всяком случае, пресимпатичнейшая вещь...

Таким образом, просто отшвырнуть наш проект было невозможно. Надо было искать другие формы... Пришлось пойти на то, чтобы рассмотреть наш проект предложений гласно, публично дать по нему бой. Решение сделать это было принято чуть ли не в день нашего приезда. Основанием для такого решения был тот же страх перед выборами, страх, что такое келейное рассмотрение не удовлетворит пацифистские массы. Кроме того, была у них полная уверенность в том, что им удастся нас расшибить. Уверенность эта основывалась, между прочим, на том, что английское правительство поручило эту щекотливую миссию лорду Кешендену, который считается человеком чрезвычайно умным, чрезвычайно образованным, который заверил, что от проекта СССР он оставит только «рожки да ножки» *(смех)*, что он испепелит этот проект и после этого можно будет сказать массам: видите, что от него осталось, видите, что это за непродуманный, лукавый, фальшивый и лицемерный проект и сколько в нем заключалось ошибок и наивностей...

Вот как обстояло дело,— продолжал Луначарский,—

и вот чем было вызвано решение рассматривать наш проект публично. При этом все остальные страны должны были этому лорду подвывать *(смех)*, внося кое-какие незначительные поправки. Они должны были составить громадный хор международного общественного мнения, на фоне которого солировал бы этот самый лорд Кешенден. В заключение всего этого, по их предположению, наш проект должен быть решительно отвергнут. Они, конечно, знали, что мы будем сопротивляться, будем спорить. Это они считали вполне естественным. Но разве возможно, чтобы весь этот хор высококвалифицированных дипломатов не сладил с какими-то большевистскими делегатами!

Итак, благодаря всему этому, самым торжественным моментом было выступление лорда Кешендена... Надо кстати сказать, что этот самый лорд представляет величественную фигуру. Это седовласый старик в полтора человеческих роста *(смех)*, с очками на кончике носа, с уверенными жестами и манерами, который в своем выступлении держался так, как будто он разъясняет глупым или во всяком случае менее осведомленным людям, как надо смотреть на вещи. Однако надо оговориться, что он отнесся чрезвычайно добросовестно к своему делу.

Он изучил наш проект назубок, он чуть ли не на память приводил: статья такая-то, статья такая-то. Он говорил в течение двух часов с маленькими перерывами. К концу речи пот градом катился с его лица. Это дало повод одному из членов нашей делегации сострить: не все же лордам заставлять потеть пролетариев, вот и пролетарии заставили попотеть лорда. *(Общий хохот.)*

Главные черты его критики заключались в следующем. Во-первых, большевики пришли не сотрудничать с нами, не помогать нам, а, наоборот, разрушать нашу работу. Это видно из того, что они отрицательно относятся к Лиге Наций. И он цитировал при этом «Правду» и «Известия», где действительно о Лиге Наций не хорошо писалось. *(Общий хохот.)* Второй момент. Литвинов говорит, что большевики составляют с пацифистами единый фронт, хотят уничтожить войну, но вы спросите, как они относятся к самой опасной из войн — к гражданской войне... Всюду они проповедуют и сеют гражданскую войну, сеют гражданскую войну во всех странах мира. Они сами об этом определенно заявляют. И после этого эти люди с такими разбойничьими манерами *(смех)* приходят к нам в белых одеяниях и говорят: давайте установим всеобщий мир. Что может быть более лицемерного! Кроме того, самые предложения не стоят на ногах. Их предложения имеют массу трудностей для своего осуществления...

И когда Кешенден кончил, то, хотя там и не принято аплодировать, почти все представители отдельных держав ему зааплодировали. Он вообще там рисуется каким-то Фамусовым среди Молчалиных, они ему поддакивают и чуть ли не целуют его в плечико. *(Смех.)*

Луначарский переждал, когда зал угомонился, волны веселого смеха улеглись, и снова продолжал свой рассказ.

— Времени у нас было очень немного, всего только одна ночь, и работа кипела самым большевистским образом. Литвинов писал свою речь, тут же прочитывал ее нам по одной-две страницы, ее сейчас же переводили на английский и французский текст журналистам,

чтобы ее можно было протелеграфировать. Словом, мобилизовали все силы, чтобы представить самые веские доказательства и возражения, чтобы побить Кешендена.

К утру, когда заря взошла, у нас все было готово, и мы, по правде сказать, все чувствовали себя уверенными, потому что у нас было такое впечатление, что Литвинову удалось создать в своем роде шедевр и по выдержанности, и по богатству аргументов, и по исчерпывающей обстоятельности. В буквальном смысле слова ни одной строчки, ни одного параграфа, ни одной буквы и ни одной страницы из возражений не было нами оставлено без ответа.

В общем, вы, конечно, знаете, в чем заключается содержание ответа тов. Литвинова. Вы знаете, что русская делегация приковала к себе всеобщее внимание, все понимали, что на ней сосредоточен центр тяжести работы всей конференции. Конференция в действительности должна была быть краткой и бледной. Если она сделалась блестящей и яркой, — то это только благодаря нашему присутствию *(смех)*, и это воспринималось вначале с удовольствием: «Прекрасно! Будет бой, Кешенден наклал им как следует, и теперь, как бы они ни изворачивались, они люди конченые». Но мы-то этого не полагали, и я думаю, что у многих представителей буржуазных стран тоже было сомнение в этом. На основании предыдущей работы они думали, что Литвинов будет очень сопротивляться. Народу собралось видимо-невидимо. Стены там стеклянные, и я думал, что эти стеклянные стены лопнут от того количества народа, которое они вмещали. Бегал народ, бегали журналисты, через 2—3 минуты сообщая, что делается в зале заседа-

ния. Был большой, ответственный политический день... Кешенден слушал речь товарища Литвинова с детски-открытым ртом *(смех),* и время от времени у него лицо пылало ярким девическим румянцем *(смех).* А после этой речи Кешенден Литвинова не затрагивал, он относился к нему как к чудовищу, которое кусается. *(Аплодисменты, смех.)*

Съезд закончил свою работу, а несколько недель спустя, в июньские дни, с новой силой развернулась острая полемика — жалящие вопросы! — о формах и методах подготовки молодых рабочих. К этому добавился и новый конфликт: спор Комсомола с работниками ВЦСПС по вопросу о броне подростков в промышленности.

Редакция «Комсомольской правды» вместе с ЦК Комсомола «схватилась» с теми теоретиками и практиками, которые ополчились против школ ФЗУ.

Ильин развил в те дни бурную деятельность. Фабзавуч был для него делом очень дорогим и близким — подростком он пришел на завод и первые трудовые и коммунистические навыки получил в школе ФЗУ.

Ранним июньским утром Ильин связался с наркомом Луначарским по телефону, сказал, что посылает ему все необходимые материалы, просил быстрее ввязаться в бой.

— Школа ФЗУ *наша,*— горячо сказал Ильин,— выстраданная Комсомолом! Пусть нас и теперь, как и раньше, называют бузотерами,— ничего, мы от этого не полиняем. Мы сами ее строили, и сумеем перестроить, и добьемся, что она будет выпускать хороших, квалифицированных рабочих-коммунистов...

И Луначарский немедленно откликнулся на зов «Комсомольской правды». В какие-нибудь полчаса была продиктована с присущим ему темпераментом статья в защиту юных рабочих.

Какими же путями вести подготовку молодых рабочих? Спору нет, индустриализация страны настоятельно требует — более быстрыми темпами готовить кадры рабочих. Да, это могут быть рабочие узкой технической специальности, но обязательно широкого человеческого профиля. В своей статье Луначарский полемизировал с Гастевым, руководителем ЦИТа. Анатолий Васильевич отдавал должное Гастеву: это крупный индустриальный организатор, очень ценный специалист по трудовой технике. Все это так. Но нельзя же отказывать молодому отряду будущего поколения рабочих в углубленной теоретической подготовке!

Анатолий Васильевич привел в статье примечательный, по его словам, эпизод: на том самом заседании президиума ВЦСПС, на котором решался вопрос о броне подростков и принципах подготовки молодых рабочих,—

«...кто-то, исчерпав, очевидно, все свои аргументы, бросил реплику: «Вы хотите, чтобы рабочий опиливал гайку с точки зрения мировой экономики...» На эту реплику «Комсомольская правда» отвечает: «Да, мы хотим, чтобы рабочий умел не только опиливать гайку, но и соображал в мировой экономике».

Луначарскому близка эта точка зрения на воспитание молодого человека. Молодой рабочий должен уметь хорошо нарезать гайки, и вместе с тем мы хотим, чтобы он стремился и глубоко вникал в события мирового масштаба.

А теперь о Гастеве. («Да позволено мне будет сказать, что товарищ Гастев, прежде всего и больше всего,— поэт».)

По мнению Луначарского, поэтические мечты Гастева иной раз приводят к тому, что он, Гастев, видит только свои, цитовские методы подготовки рабочих.

Анатолий Васильевич вспомнил одну из своих встреч с Гастевым и тут же, в статье, воспроизвел ее:

> Я очень хорошо помню тот вечер, когда товарищ Гастев, в полном согласии с прежними своими произведениями, представил нам фантазию, доказывающую, как дважды два четыре, что машина постепенно подчинит всем своим ритмом абсолютно все ритмы человеческой жизни. У человека не останется ровно никакой своей воли. Его движения, все его функции будут происходить по точнейшему расписанию, вызванному требованием машины. Это относится как к его общежизненным органическим отправлениям, так и к трудовым процессам.
>
> Я тогда уже пошутил над тов. Гастевым и сказал ему: «Знаете ли, раз вы сводите трудовые действия людей к совершенно автоматизированным, то почему бы не заменить этих людей попросту автоматами? Тогда люди окажутся совершенно ненужными в труде, и если бы были изобретены саморемонтирующиеся машины, да еще и размножающиеся, то, пожалуй, человеку просто надо было бы выйти в отставку и исчезнуть с лица земли, уступив место стальным организмам, по вашему мнению, гораздо более высокой формации.

Меньше всего вы плакали бы при этом о том, что пропало сознание. К чему оно вам в самом деле? С вашей точки зрения, оно просто один из крупнейших недостатков такого несовершенного существа, как человек...

Цель социализма, по Марксу, заключается не в превращении человека в автомат, а «в развитии всех заложенных в нем возможностей».

Завершал Луначарский свою страстную статью такой мыслью: нужно нам научиться ценить машину, даже любить машину. Она является в нашей стране в гораздо большей степени уже и теперь орудием нашего строительства, чем господствующей над нами силой. Нам надо упорно учиться повышать культуру нашего труда. Этого требует жизнь, растущий социализм.

Торопили страну сроки, возникали новые громадные задачи. Госплан завершил работу над первым пятилетним планом индустриализации СССР. По-хозяйски входили в жизнь и поднимались на строительные леса такие короткие и такие ударные слова: «Темпы! Кадры!»

Четыре года спустя,— мы жили в то время с Ильиным в поселке Сталинградского Тракторного, и Яков был нашим бригадиром,— работая над летописью-хроникой событий из истории первенца пятилетки, мы кратко записали:

«Год двадцать восьмой. В апреле месяце Гипромез утвердил предварительный проект Тракторного завода».

В двадцать девятом Ильин был направлен в «Правду»; вскоре и я туда перешел, и снова, как и в «Комсомольской правде», мы стали работать вместе.

Дом «Правды» — Тверская улица, 48 — находился в глубине узкого, застроенного с двух сторон двора, в здании, которое по старинке называлось сытинским.

Работали мы в промышленном отделе, нам же, по правде говоря, больше нравилось другое название: отдел социалистической индустрии. Ведь с этим новым для нас, могучим, полновесным словом — индустриализация! — связывалось столько надежд и планов у нашей страны.

Как он носился, Яков Ильин, с ноябрьским номером комсомольского журнала «Смена»! Шел к завершению двадцать девятый год. На последней странице журнала была напечатана статья Винтера, главного инженера Днепростроя. Собственно, это была не статья, а деловое сообщение. Сводка с фронта работ у поселка Кичкас на Днепре.

> Управление строительства Днепрострой с большим удовлетворением констатирует переход к выполнению работ по возведению основных сооружений строительства.
>
> Начинается новый период по пути создания одного из величайших мировых технических сооружений.
>
> Воля, энергия и энтузиазм ни на минуту не должны быть ослаблены. Главный показатель работы — суточное количество уложенного бетона.

Скоро на вершинах дерриковых мачт зажгутся звезды.

Пусть эти победные огни горят неугасимо, пока наша не возьмет верх над неукротимыми в веках силами Днепра.

В той же «Смене», на страницах которой Винтер кратко, почти телеграфным стилем, отчитывался перед республикой о ходе работ на Днепрострое, молодой Ильин печатал свою статью, развивая в ней такую мысль: в пятилетний план индустриализации страны надо более решительно включить моральные факторы — соревнование, новое отношение к труду.

Больше трех десятилетий прошло, а я отчетливо помню одну зимнюю ночь в типографии, гул настраиваемой ротационной машины, большие руки «тискальщика», сдирающего прямо с набора мокрую, остро пахнущую краской полосу «Правды». Ее подхватывают горячие, нетерпеливые руки Ильина — это его полоса, он делал ее по материалам ленинградского завода «Электросила», рассказ этот об ударниках, о новой энергии, что рождается в самой жизни.

Руки у Ильина в темной краске, его карие, отливающие живым блеском глаза выхватывают с мокрого, чернового газетного листа демьян-бедновские стихи:

Потому-то, поэт боевой,
Я в руки беру не арфу эолову,
А трубу и готов надорваться, трубя:
Товарищи, в первую голову,
В первую голову
Переделать нам нужно себя!
К черту речи туманные,
Крикливые, самообманные,

Чванные,
Пышные!
Работники мы — никудышные!
Иная нужна тренировка,
Иная сноровка!
Чтоб враги нас рукой не достали,
Мы должны уподобиться стали,
А не глине, не рыхлому слову!
В первую голову,
В первую голову,
Встрепенувшись, встряхнувшись и всех
теребя,
Мы должны закалить, переделать себя!

Теперь я подхожу к тому удивительно прекрасному рубежу, который связан был для Ильина с историей Сталинградского Тракторного. По времени это занимало что-то около двух лет — точнее, один год и восемь месяцев. А по бурному развороту событий, а по делам задуманным и свершенным, то была самая лучшая пора в его короткой жизни.

На СТЗ, где, кажется, сама жизнь с ее необычайным драматизмом событий захватывала и по-новому формовала судьбы людей — людей Первой пятилетки,— именно здесь в судьбе Ильина произошло то, что по праву можно назвать открытием,— он открыл в себе художника-писателя.

«Жители фабричного двора» были, в сущности, первой пробой пера, первой художественной разведкой. Он начал вынашивать идею новой, крупномасштабной книги — романа «Наше поколение». Роман этот должен был вместить в себе и картины гражданской войны, и первые бои за фабзауч, и острые споры в комсомоле в двадцатые годы. Было много написано, рукопись росла и росла, Ильин ломал первоначальные замыс-

лы, искал новые подходы к этой жгучей, волновавшей его в то время теме — теме поколения двадцатых годов.

Но рукопись так и осталась лежать в ящиках его письменного стола. Все перевернул, все отодвинул завод на Волге.

Все, чем Ильин жил в то время, отголоски душевного настроения, раздумья и поиски — все это мы ощущаем в его письмах к Анне Северьяновой. Они недавно поженились, но, как поэтически вольно говорил Безыменский, «Цека играет человеком», и вот уже Северьянова уехала в Иваново-Вознесенск и там была избрана секретарем обкома комсомола.

В марте тридцать первого года Ильин писал Северьяновой:

> Нюрка, родная, утром отправил письмо, а сейчас вот (10 часов вечера) получил твое второе письмо и не выдержал — тут же взялся за ответ. Письмо прочел с огромной радостью. Прежде всего, дочка, похвала тебе — помимо того, что письмо умное и хорошее, оно еще написано остро и образно. Как я рад, что Иваново толкает тебя вперед и очищает, может даже для тебя самой незаметно, от того наносного, что чуть-чуть накидывали на тебя старые стены хамовнической окраины.
>
> Мы смолоду попали на вершину страны и не всегда чувствовали ее громадность, неустроенность, отсталость — с одной стороны, темпы ее перестройки и подъем народа — с другой стороны. Когда спустишься вниз, хотя бы на одну ступеньку (как ты — в область), и тут же сразу видишь,

как надо честно и преданно работать, отметая в сторону всякое нездоровое проявление самолюбия. Вообще-то говоря, мы ведь используем в наших интересах личные интересы и даже самолюбие, подчас играем на этом, и в этом наша сила, что мы всего человека, от головы до пяток, ставим на службу социализму. Беда начинается тогда, когда самолюбие влечет человека в сторону от самого главного — от партии и строительства, когда человек начинает *служить себе*. Это начало распада и гниения. Думаю, что ни грана такого отхода у меня никогда не было и не будет. Проверял себя десятки раз. Это так. Я сам себя подстегиваю — в пределах партийной работы,— стараясь сделать лучше и убедительней то дело, которое, как мне кажется, я обязан сделать.

Верно, ты права в том смысле, что в моем письме нотки личной заинтересованности сильно выпирали. Да, действительно, я чувствовал себя несколько затертым своей работой, не мог в ней развернуться. В 100 тысяч раз лучше сидеть в районе или на строительстве и ворочать дела, чем болтаться в редакции. Если паче чаянья сорвусь с книжкой — привет печати! Я найду свое место, где буду полезен делу.

Верно и другое. С твоей живой чуткостью ты подметила, что меня несколько тяготили не твои успехи, девочка, этому, как ты знаешь, я рад чертовски, может, больше, чем «успехам» своим,— меня тяготило некоторое несоответствие между нами. Здесь дело не в чинах, а в том, что иногда по взглядам и вопросам некоторых товарищей я

чувствовал себя мужем при жене... Я иногда внутренне становился на дыбы. Я знаю, что мои товарищи, отчасти, может, подсознательно, махнули на меня рукой: «Только, мол, обещает, да еще который год, а выйдет ли чего, это еще неизвестно»...

Повторяется старая истина: чем больше работаешь, тем, оказывается, еще и еще больше работать требуется. Сделано много — надо вдесятеро больше. Стал к себе до жесткости требователен: лучше все иссушу в ящиках, чем выпущу плохую вещь в свет. *Сталинград необходим для работы!* Дал себе слово — сдохну, а книгу сделаю. Желаю все же сделать книгу и не издохнуть. Думаю, что вы мое стремление поддержите...

Провел вчера вечер у Косарева, затем вместе мы пошли на Петра 1-го в МХАТ 2-й. Пьеса очень сильная, играют превосходно, политическая аналогия России времен Петра с нашими днями очевидна,— но сделана вещь так умно и глубоко, что поневоле проникаешься уважением к силе и талантливости автора (А. Толстой); надо будет нам с тобой сходить, посмотреть ее вместе. С Сашкой о делах говорил подробно — расскажу по приезде. Дочь у него хорошая. Привет тебе от Маруси и Сашки.

Галька наша здорова. От соски отучилась. На воздухе бывает порядочно. Отчет кончен. Иду в город, в редакцию. На ходу, не очень удачно, целую свою женку...

СТИЛЬ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

Бывают в жизни события, которые при своем свершении захватывают не горстку людей, а интересы и энергию широких масс, навсегда укрепляясь в душе и памяти народной. Вот к таким событиям можно смело отнести историю Тракторного завода у Волги. Здесь, на пяди земли, пяди, если взять ее в масштабе по отношению ко всей России, как бы стянулись в один узел первые и сложные проблемы социалистической индустриализации. Позже, другим новым заводам, входившим в строй в Харькове, в Челябинске, в Нижнем Новгороде, стало значительно легче творить свою историю, ибо первенец пятилетки, пробиваясь сквозь тысячи трудностей, проложил всей новой индустрии дорогу.

Я помню утро 17 июня тридцатого года — солнечное, ясное утро; у большого конвейера тысячи людей, затаив дыхание, чутко слушали биение первой собранной машины мощностью в 15—30 л. с., смотрели за первыми движениями сизо-дымчатой, пахнущей свежей краской машины, коснувшейся передними колесами земли.

Поэт Ярослав Смеляков так записал это событие:

> Это шел вдоль людской стены,
> оставляя на камне метки,
> трактор бедной еще страны,
> шумный первенец пятилетки.

Далеко от Волги пристально следили за стройкой и пуском завода, за большевистским экспериментом, за этим, как там говорили, «пробным камнем» советской пятилетки.

На Западе настороженно прислушивались к каждому шагу Тракторного завода. Деловые люди, буржуазные публицисты, философы сразу уловили стратегию всего задуманного в СССР и «сцепили» жизнь этой великой стройки со всею жизнью страны, с ее первым пятилетним планом индустриализации.

О, первые шаги завода, первые трудности, первые, «детские» болезни пускового периода! Шли дни за днями, шли годы, и мы научились понимать — жизнь учила! — что пафос освоения — это очень сложный и трудный процесс. А поначалу бесстрашно думалось: только бы построить, только бы вывести высокие, в стекле, железе и бетоне стены, заселить их умными, все умеющими делать машинами. И тогда все пойдет, пойдет отлично, как и записано было в проекте...

Ведь проект все предусматривал. Машина в 15—30 л. с. должна сходить с конвейера каждые шесть минут. Сборочный конвейер имеет девять скоростей. Думалось: если не сегодня, то завтра мы наверняка перейдем на самую высокую скорость. Автоматы и полуавтоматы, умные, изобретенные гением человека послушные механизмы, знают, как надо вести себя. Ты нажимаешь нужную кнопку, все остальное делает станок-уникум. Потоки деталей идут перпендикулярно сборке и ручьями вливаются на главный конвейер...

Но вся эта проектная стройность была нарушена с первых же дней жизни завода. Процесс освоения был мучительным и трудным. Медленно, очень медленно завод набирал темпы. В июне с большого конвейера сошло 5 тракторов, в июле — 5, в августе — 10, в сентябре — 15.

По предложению Серго Орджоникидзе на Волгу, на

Тракторный, была направлена выездная бригада газеты «Правда».

Сам Орджоникидзе приехал в Сталинград 24 апреля тридцать первого года.

Рабочий день председателя ВСНХ Орджоникидзе начался в Москве и в пути с чтения телеграфных сводок с Тракторного. Сколько собрали за сутки на большом конвейере, где сегодня узкое место на заводе, чем сегодня надо заводу помочь...

Орджоникидзе приехал утром, вагон, в котором он жил, стоял на заводских путях.

В первый же день он в течение многих часов без устали ходил по цехам, беседовал с рабочими, инженерами, смотрел, изучал производство. И все это время его занимало одно: так что же мешает делу, как наладить трудное и сложное массово-поточное производство? Одну весеннюю ночь он провел у большого конвейера, у той самой железной реки, по которой медленно плыли узлы и детали будущего трактора. Серго шел небыстрым пружинистым шагом вдоль главной линии, внимательно всматриваясь в лица сборщиков. Все они так молоды!

И как ни труден был для Серго этот день, как ни грустно было при мысли, что завод в прорыве,— здесь, на этой завершающей сборочной операции, Орджоникидзе надолго задержался, он вслушивался в работу машин. Эта апрельская ночь на большом конвейере крепко вошла в его память.

На другой день в литейном цехе к нему подошел высокий, долговязый мастер-американец, цепко ухватил Орджоникидзе за руку, повел к захламленному участку на выбивке.

— Мистер ВСНХ! — сердито закричал американец. Он стал надувать толстые щеки, закатывать глаза, тяжело задышал... Одним словом, давал понять — нехватка сжатого воздуха.

— Темпо, темпо, мистер ВСНХ!

Живые, полные внутреннего огня глаза Серго так и впились в американца. «Смотри-ка, вот и его, мастера, работающего за доллары, волнуют наши неполадки!»

25 апреля председатель ВСНХ выступил на собрании заводского актива. Был вечер, окна, двери летнего клуба были распахнуты: говорил товарищ Серго, как его уважительно и нежно звали рабочие. Орджоникидзе начинает прямой и крутой разговор о делах завода. Он спрашивает себя, рабочих, инженеров: для чего, товарищи, мы с вами построили этот прекрасный завод? Чтобы удивить мир? Вот, мол, на пустыре, где много столетий ничего не было, большевики воздвигли такой заводище...

— Ничего подобного! — восклицает Серго.— Мы с вами — люди практичные. Если мы строили этот завод, тратили миллионы золота, то ясно представляли себе, для чего мы его строим. *Нам нужны тракторы для нашего социалистического хозяйства!*

И как ни тяжело, как ни горько, но правде нужно смотреть прямо в глаза, а правда состоит в том, что не мы пока владеем заводом, а он нами. Надо учиться культуре труда. Решительнее освобождаться от суеты. («То, что я вижу у вас, это ведь не темпы, а суета».) Освобождаться надо от грязи. Самое страшное в том, что мы боремся с нею штурмами. А надо проще. Единственно, что надо,— это не любить грязь! Никаких громких фраз, никаких особых призывов к борьбе

за чистоту, просто,— сказал Серго,— взял метлу и мети!

В самое прозаическое, житейское, сугубо техническое Серго Орджоникидзе вносил тепло человеческой мысли. Он вдруг вспомнил ночь на большом конвейере — голос его дрогнул, в нем появились нежные, теплые интонации:

— Вчера я стоял около двух часов ночью у конвейера и видел рабочего, который прямо-таки горящими глазами впился в трактор, сходивший с конвейера, и с величайшим наслаждением следил за ним. Это можно было сравнить с картиной, как отец ожидает своего первенца. Жена рожает, а он в тревоге — и радуется и отчасти боится. Вот с таким же видом рабочий стоит, смотрит на конвейер и ожидает, когда сойдет с него трактор...

Страстное, сердцем сотворенное слово Орджоникидзе, сказанное в весенний, апрельский вечер у Волги, как бы приподняло людей над обыденным, тяжким, отбросило прочь сомнения, заставило поверить в то, что мы тогда называли пафосом освоения и что означало: мы овладеем новой техникой, мы будем учиться работать высокими темпами, работать культурно, производительно!

В этом человеке все привлекало — его прямой, открытый взгляд, страстный голос и чистая, от души идущая радость, которая переполняла его и которой он, Серго, щедро делился с окружающими. Радость при виде хорошего. И гнев, внезапно охватывающий его, когда он сталкивался с нравами, с порядками, унижающими человеческое достоинство.

В кузнечном цехе Орджоникидзе задержался у молота, за которым работал Кубасов.

Худощавый, стройный, точно кованный, молодой кузнец работал у тяжелого молота, весь облитый жарким светом нагревательной печи. На Кубасове был легкий кожаный фартук, ноги его охватывали клеенчатые краги, он работал не суетясь, движения были ловкие и точные.

Серго долго глядел на Кубасова, потом свернул в цеховую столовую и сел за первый свободный стол, рядом с поджидавшим обеда рабочим. И тут, в столовой кузнечного цеха, Орджоникидзе увидел, что у рабочих нет ни вилок, ни ножей, ни ложек. «Ну, как обед?» — спросил он своего соседа. «Баланда»,— сказал кузнец и протянул председателю ВСНХ выщербленную деревяшку. «Что это?» — багровея лицом, яростно-тихим голосом спросил Орджоникидзе. «Называется ложкой, товарищ Серго»,— так же тихо сказал рабочий. Прибежал заведующий столовой, засуетился и, оправдываясь, забормотал, что ложек-де нет во всем городе, к тому же они быстро исчезают, не напасешься, так сказать...

Серго попросил у рабочего выщербленную деревяшку, он потом показывал ее директору завода, секретарю партийного комитета, командирам производства и спрашивал их с гневом, недоумевая: «Что же это, товарищи уважаемые?.. Завод сумели построить, а ложек, простых, обыкновенных ложек достать нет сил и возможностей?!»

Деревяшка эта будто жгла ему руки — он рывком бросил ее на директорский стол.

— Называется, ложка! — глухим голосом сказал он.

В тот же день выщербленная деревянная ложка перекочевала в редакцию выездной бригады «Правды».

Ильин долго берег эту деревянную ложку, полученную из рук Орджоникидзе.

«Проблема ложки»! А по сути вещей — главнейшая проблема! Проблема постоянного внимания к живой, сложной и трудной жизни рабочего человека. Серго сказал нам: деритесь, товарищи газетчики, за хорошие ложки, за вкусные обеды, за добрый стакан газированной воды, за чистый воздух, за зеленую ветку,— одним словом, за то, чтобы людям, делающим тракторы, жилось весело, культурно!..

ДАЕШЬ ТРАКТОР!

Я беру в руки вот эту старую, хрупкую, со сбитым шрифтом заводскую газету «Даешь трактор!», в левом углу которой оттиснуто: «Правда» на Тракторном». История борьбы за план, за освоение новой техники, начатой в тридцатом году, записана и на небольших по формату газетных листах заводской газеты и в тех листках-«молниях», которые выпускались выездной редакцией.

Первый номер газеты строителей вышел в двадцать девятом; тогда же, на митинге, выбрали редколлегию. Адрес у редакции был такой: «Тракторострой, красный уголок». Сразу же встал вопрос: где взять средства на выпуск новой газеты? И митинг строителей постановил: отчислять ежемесячно в фонд газеты полдневный заработок. А на слете рабкоров один из рабочих, матрос Максимов, дал газете название, которое всем по душе пришлось:

«Даешь трактор!»

Звучало броско, энергично. Даешь!

Слово «даешь» шло от эпохи гражданской войны, когда штурмом брались неприятельские укрепления. Земля, на которой строился завод, была пропитана кровью: здесь красные сражались с белыми, и за рекой еще остались следы недавних боев — заросшие травой окопы и братские могилы. Молодое поколение берегло воспоминания об этих днях борьбы, облекая их легендами. Вот почему ребята-семитысячники (они пришли на завод по комсомольской мобилизации — в счет семи тысяч) так любили эти слова «даешь» и «штурм» — слова, которые, казалось, несли в себе топот копыт, удары сабель, свист пуль, гул сражений...

Комната, в которой жил Яков Ильин, находилась на первом этаже заводского дома приезжих. Кто-то из нашей бригады плотничьим карандашом крупными буквами вывел на побеленной фанерной двери:

Дорогу, дорогу идеям!

Здесь круглосуточно принимаются идеи —
ПРОИЗВОДСТВО, КУЛЬТУРА, БЫТ —
от рабочих, инженеров, парт- и комсработников.

Похожий на мальчишку, невысокий, легкий, дочерна загорелый, Ильин с утра уходил на завод, носился по цехам — «толкач идей»,— всем интересуясь, умело выхватывая из потока жизни самое острое, злободневное.

За пояс у него засунута тетрадь в клеенчатом переплете. Он ухитрялся по ночам, после выхода газеты, записывать в дневник свои наблюдения за день,

«мысли и факты», и почти всегда записи дня завершались деловой строкой — он словно укорял себя: а ведь день мог быть более продуктивен!

Кажется, это Серго Орджоникидзе натолкнул Ильина на мысль написать один очерк, проделать своего рода исследование на тему «Ночь на сборке». Ведь каждую ночь на большом конвейере штурмуется план выпуска тракторов. Задания заводу планируются в Москве в ВАТО (Всесоюзное автотракторное объединение), на утренних оперативных совещаниях у директора завода, на заседаниях парткома, на митингах (да-да, на митингах!) рабочих. А решается судьба суточного выпуска тракторов у большого конвейера. В нем, как в гигантском контрольном приборе, отражаются перебои в литейной, неполадки кузницы, неслаженность механосборочного, подвергается испытанию стиль руководства заводом массово-поточного производства.

Из Москвы редакция сердито запрашивала: где очерк? Ильин кратко отвечал: занят на сборке. Он действительно увлечен был работой в сборочном цехе. Он изучал этот цех. И для того, чтобы лучше почувствовать, что́ значит одна операция, сам стал на рабочее место у ленты большого конвейера.

— Я, право, не знаю,— говорил он,— будет ли мой очерк от этого лучше написан, но в одном я твердо уверен: кое-что важное я познал своими руками, и этот мой, пусть крохотный, опыт, глядишь, и осядет на кончик пера...

Тут его ночью разыскал начальник отделения шестерен.

В разгар работы рядом с Ильиным кто-то остано-

вился. Ильин скосил глаза и увидел Илью Осиповича Меламеда, начальника отделения. Меламед, невысокий, плотный, смуглолицый инженер, некоторое время внимательно смотрел, как работает специальный корреспондент «Правды», потом вдруг яростно закричал: за каким чертом Ильин возится у ленты конвейера, разве у него нет своей работы?..

Меламед позвал Левандовского, старшего мастера главного конвейера, и предложил ему сейчас же найти замену корреспонденту-слесарю.

— И за что только вам в «Правде» деньги платят? — кричал Меламед на весь пролет.— Или, как там у вас называется: гонорар?.. Где твой блокнот, Яков Ильин? Вооружайся карандашом...

Ильин, смеясь, протянул свои руки: они были коричневые от машинного масла. Ни карандаша, ни блокнота у него с собою не было.

— Ну, тогда слушай и запоминай. Нужна поэма, понимаешь, поэма о сдельщине. Да, да, о сдельщине — без нее мы пропадем.

Ильин насторожился: ого, «американист» ударился в поэзию!

Из всех наших инженеров, проходивших практику на заводах Америки, Илья Осипович был самым «американистым»: по-деловому собранный, остро ненавидящий всякую штурмовщину, он навел у себя в отделении порядок, дисциплину, внедрил стиль точной и, как он любил выражаться, стиль бесшумной работы.

Меламед провел Ильина в пролет «глиссонов», они остановились у станка, за которым работала худенькая большеглазая девушка, кажется единственная из

всех девчат цеха носившая косу — она ее аккуратно закладывала под широкую мальчишескую кепку.

— Внимание: работает Лида Пластикова! — Меламед поздоровался с девушкой в кепке. — Станки «глиссонов», нарезают конические шестерни. Совершенно автоматическая работа. На чем же может выгадать станочник? На времени установки детали и съеме готовой продукции. Проектная мощность станка — семьдесят пять штук за смену. Гипромез дал нам скидку в пятнадцать процентов. Учитывается, так сказать, качество инструмента и степень подготовки молодых рабочих. А вот наша Лида Пластикова делает семьдесят семь шестерен. Она так соразмерила всю работу, что при установке заготовки последнее ее движение рукою совпадает с первым движением станка.

— Сдельщина? — спросил Ильин.

Меламед с опаскою глянул на девушку в кепке — не дай бог услышит...

Они отошли от Лиды Пластиковой на несколько шагов, и тогда только, подмигивая веселым глазом, Меламед шепотом сказал:

— Они, дорогой мой, это слово ненавидят. Это же романтически настроенные ребята... А ты им сразу — сдельщина! Слово-то сухое, железное. Молодость любит красивые слова. Например — энтузиазм. Давай, товарищ, для крепости добавим: деловой энтузиазм.

Инженер вдруг остановился и стал к чему-то прислушиваться.

— Так и быть, признаюсь тебе: даже когда я стою спиной к отделению, я по звукам чую, ловлю, как работают мои «глиссоны». Слышишь, ровный, сочный звук!

Он протянул Ильину ветошь: вытри руки и давай записывай...

— Слушай, «Правда»! Когда мы, молодые инженеры, приехали в Америку, с какой жадностью мы сразу же бросились изучать станки, инструменты, приспособления. Организация труда нас тогда мало интересовала. Все на американских предприятиях шло так стройно, что казалось, делалось само собой. И когда мы вернулись из Америки, кое-кто — и аз грешный! — наивно полагал, что сдельщина при массово-поточном производстве не нужна. Мы были ослеплены качеством современных машин. И, если хочешь знать, это объяснялось еще и тем, что у нас не было ни организаторских навыков, ни просто житейского опыта. Мы не могли даже помыслить, что́ может человек прибавить к машине. А ведь не придумана еще такая машина, где бы человеческое внимание, быстрота, сообразительность никакой роли не играли. Вот и надо нам, инженерам, и вам, писателям, энергично и красиво пропагандировать: Внимание, Быстроту, Сообразительность! И грубую сдельщину, синьор корреспондент, очень грубую и очень нужную сдельщину.

ВСЯ РОССИЯ ВКЛЮЧИЛАСЬ В ПОТОК

Вересаев в «Записях для себя» размышляет о писательском труде, о том, как, собственно, должен жить писатель.

«Трудное это и запутанное дело — писательство,— записывает Вересаев.— Писатель должен не наблюдать жизнь, а жить в жизни, наблюдать ее не снаружи, а изнутри».

Но как лучше это сделать — «жить в жизни»?

Старый, мудрый, неторопливый Вересаев приходит к такой мысли: нужно в жизни жить, работать в ней — инженером, врачом, педагогом, рабочим, колхозником.

Яков Ильин по складу натуры стремился работать — *жить в жизни* — с полной отдачей всех своих сил.

Вспоминая Ильина, каким он был в те напряженные дни на Тракторном, вдумываясь в стремительный ход его жизни — выпуск заводской газеты и листовок-«молний», работа для «Правды» и та непрерывная внутренняя писательская работа, которой он был захвачен с первой же встречи с заводом,— я вижу еще и нечто новое, необыкновенное: молодой писатель организовал в жизни то, что затем прочно, разумеется по-иному, по-своему, вошло в роман «Большой конвейер».

Все на волжском Тракторном дышало жаром новизны, дивило, поражало размахом — строителей и газетчиков, монтажников станков и художников слова.

В сущности, заводская действительность, бурная, насыщенная драматизмом событий и противоречий, еще не стала историей в обычном смысле слова. Это была живая жизнь, берега которой еще не обозначились,— ветер истории не улегся, быт «не отстоялся».

Двадцатые годы... Они влекли к себе Ильина, волновали его воображение. Но эти годы, двадцатые, уже казались историей, пусть не отдаленной, пусть еще горячей, трепещущей, но — историей. А тут, на Тракторном, развертывается новая история. Год тридцатый с его острыми углами, с его большими проблемами, с

его борьбой за индустриализацию СССР. Политические споры и дискуссии приобретали здесь, на Волге, иную окраску, само дело — индустриализация! — сложное, трудное, требовало принципиально нового подхода к проблемам воспитания молодежи, выдвигало перед большим коллективом — как одну из главных — задачу овладения высокой техникой. Большевики должны овладеть техникой! Этот лозунг времени был здесь, на Тракторном, зримым, отчетливо ясным.

Вот эта переломная грань в жизни страны, новизна всей жизни народной, черты размаха и деловитости, обозначившиеся в пятилетке, рождали у молодого Ильина волнующий замысел записать эту историю. Записать сегодня.

Он не мог ждать, когда страсти улягутся, когда все будет выверено временем.

А между тем все складывалось так, что казалось — где тут до литературных замыслов... И вообще может ли близкое, рядом стоящее, может ли оно отлиться в художественное, требующее и спокойствия души и умения видеть за днем сегодняшним черты дня завтрашнего? И еще немаловажное: где взять время, столь нужное художнику, если все силы души, вся энергия уходят на то, чтобы впрягаться в общее дело, помочь вытащить завод из прорыва!

И все-таки он стремился использовать самую малую возможность, чтобы писать свое, писать, как говорил Маяковский в своей американской книге, писать хоть немного «что хочешь». Ильин к этому добавлял: «что особенно хочешь».

Он весь, как говорится — до краев, был «переполнен фактами».

— Сегодня,— бывало, говорил он, смеясь, забираясь с ногами на подоконник,— сегодня улов был преотличнейший...

И, довольный, веселый, нежно похлопывал ладонью по тетради с записями.

— Душа моя так и ликует. Факты, факты! Впечатления, впечатления! Но, как говаривал Бальзак, великий старик: да ведь они, впечатления, только случайности жизни, а не сама жизнь! А нам, жаждущим, надо схватывать душу, смысл, характерный облик вещей и явлений... Слышишь: характерный облик!

Он начинал писать, потом решительно отбрасывал написанное, перечитывал, писал на полях: «Детский лепет!», отодвигал подальше тетради с записями.

В дневнике есть запись (23 мая 31 года):

> Начало, завязка — надуманно, ходульно, чуть крикливо. Больше влияния прочитанных книг о конвейере, чем нашей действительности. Правильное ядро окружено шелухой. Второй раз даю себе задание: долой ходули! Жизненней дать людей, самую завязку в романе, отшелушить наносное.

И в письмах товарищам, в первую очередь самому близкому своему другу — Нюре Северьяновой, и в статьях и очерках того времени, и в дневнике он стремился «схватить» живую суть противоречий на этом заводе. Он обычно писал свои письма далеко за полночь: в ночной тиши, говорил он, лучше думается и чуть дальше видится. Письма, даже совсем короткие, полны наблюдений и раздумий, связанных с жизнью

завода и той текущей, злободневной работой, которую он, Ильин, делал в газете, и той, пока еще только завязывающейся в черновых набросках, трудной писательской работой, к которой его неудержимо тянуло и что составляло теперь весь смысл его жизни.

Тревожило, волновало: как передать масштаб событий, разыгравшихся на Волге, как изобразить, пронизать всю вещь ощущением сдвинувшейся с места России, начавшей строить и жить по своему первому пятилетнему плану...

> Вот приходят люди в степь,— записывает Ильин в дневнике,— забивают колышки, роют котлованы; гарь, копоть, десятки тысяч строителей, бараки, грязь,— страна, как она есть; под боком Царицын (теперь Сталинград), Волга, и на стройке сейчас еще поют бурлацкие песни; отстраивается завод в десяток месяцев — из Белоруссии, из Астрахани, Москвы, Ленинграда, Харькова, Тулы съезжаются водители машин — таких, которых они никогда не видели, и начинают делать тракторы сначала по 5 в месяц, потом по 50 в день. Идут, ломая станки, губя подчас людей,— но идут вперед. Непрерывный поток жизни, если хочешь, конвейер истории, закономерность ее развития в социалистических условиях со всеми срывами, жуткими перебоями, дикостью, грязью, безобразиями. И через все это — как создаются темпы, люди, тракторы. Все, даже новейшая философия и споры между молодежью о судьбах нашего поколения,— это лишь фон к главному.

Главное — как создаются темпы, люди, тракторы. Тракторы, в данном случае, как полпреды пролетариата в колхозы и совхозы.

Он ненавидел беспорядок, с утра его стол представлял собою «идеальный верстак», как он с улыбкой любил говорить,— все аккуратно разложено, все под рукою. Но к вечеру тетради, листы рукописи, как правило, перекочевывают на подоконник и лежат, прижатые для тяжести брусками стали, чтобы их ветром не унесло в открытое настежь окно. Книги занимают полстола. А на другой половине — «дары завода»: брусок стали с внутренними пороками (надо драться за высокую марку металла!), кусок радиаторной ленты, горсть мелких деталей (внимание метизам!).

Метизы принес Пудалов, технический директор завода, «старик» — так его зовет молодежь.

Пудалов (седая бородка клинышком) — вежливый, воспитанный инженер, очень редко повышающий голос. Но на этот раз он шепотом ругается: «Боже, какая азиатская работа!»

И, прижав руки к груди, умоляюще — к корреспонденту «Правды»:

— Дорогой мой, подыми, заостри в газете: проблема метизов! Ткни их, кустарей, мордой в эту расточительную, построенную на равнодушии работу. Ах, какую услугу ты нам окажешь, дорогой Яков!

Ночь. Пудалов и бригадир «Правды» идут смотреть тылы завода.

Сколько материалов добавочно приходится перерабатывать работникам складской службы, сколько растрачивается народной энергии из-за небрежной рабо-

ты на заводах-поставщиках, делающих метизы по старинке, на глазок, свыкшихся с мещанской философией: «Ничего, авось сойдет...»

Пудалов мучительно вскрикивает: «О, Азия!»

...Яков Ильин решительно откладывал в сторону свою рукопись, он садился у самого края стола, наверное, думалось — пусть все будет на месте, — даже ручку свою не трогал, и карандашом на узко нарезанных листах газетного срыва он писал гневные докладные в редакцию (их пересылали оттуда в ВСНХ). О заводах-поставщиках, о тех, кто делает латунную ленту для радиаторов, шарикоподшипники, металл сложного профиля, картон, краски.

Он находит себе помощников среди заводских экономистов, технологов, погружается в изучение метизной проблемы, увлекается раскрывающейся перед ним удивительной картиной переплетения сотен, буквально сотен звеньев промышленности, от работы которых зависит судьба Большого конвейера.

А идея, мысль вырабатывалась такая: «Вся Россия включилась в поток, вся Россия должна работать качественно точно».

Кажется, в эти именно дни, когда Ильин «заболел» проблемой метизов, я имел неосторожность его спросить:

— А как роман, Яша, пробивается? Пишется?

Он сорвался со стула, хмуро сказал:

— Я и думать о нем забыл... Метизы мне снятся, черт бы их побрал, метизы!

Рабкор Гурко. Ильин обладал изумительной способностью «находить себе многих».

Помню яркую, колоритную, фигуру одного рабкора из медницкой. Рослый, плечистый, в матросском бушлате, он заполнял своим громовым, веселым голосом нашу большую, с окнами во всю стену редакционную комнату. Он опирался о трость, шагал очень твердо, решительно переставляя ноги свои, обутые в маленькие, не соответствующие его могучей фигуре башмаки.

Он входил в редакцию и с порога спрашивал: «Где Крылатый?» (так рабкор прозвал Ильина). Потом присаживался у края редакторского стола, быстро и решительно набрасывал заметку, в которой звучало главное требование тех дней: «Расшить, расшить узкие места!» Если происходила задержка с печатанием или реализацией его предложения, Гурко грозился:

— До Горького, ребята, дойду, а так дело не оставлю! Эх, вы, «недостатки — назад пятки»!

Я как-то спросил Ильина: кто он, этот рабкор-матрос?

— Гурко,— улыбнулся Ильин,— комвузовец Григорий Иванович Гурко.

Ильин «отыскал» Гурко в медницкой и там же узнал некоторые обстоятельства жизни этого могучего, с серыми неунывающими глазами человека в тельняшке.

Гурко в годы гражданской войны сражался в отряде, с которым прошел путь от Петровского завода в Забайкалье до самой Монголии. В одном из боев Гурко

потерял коня. Отряд поскакал дальше. Гурко стал снимать с убитого коня седло, и тут на него вышел пеший казак. Гурко защищался карабином от сабельных ударов беляка. Казаку все-таки удалось проткнуть красному бойцу ноги, и Гурко, разъяренный, отбросив карабин, всей тяжестью навалился на беляка и задушил его. Красного конника подобрали вернувшиеся за ним товарищи и отвезли в полевой госпиталь, а оттуда перебросили в тыл; он потерял много крови, и ему, чтобы спасти жизнь, сделали ампутацию, отрезав с обеих ног по полступни. Когда он вышел из госпиталя, ему сказали:

— Отвоевался ты, Гурко, живи отныне тыловой жизнью.

Гурко, крепкий, здоровый мужиковатый парень, сердито отвечал госпитальному начальству и своим военным товарищам:

— Да ведь пятки-то остались...

Пятки действительно у Гурко сохранились. Он обул их в мягкие самодельные башмаки, некоторое время ходил на костылях, потом костыли забросил и завел для опоры тяжелую, суковатую трость. К этому времени война гражданская на Дальнем Востоке завершилась, и Гурко пошел учиться. В солдатской шинели, в шлеме, опираясь на палку, он проехал почти по всей России и осел в Саратове. Здесь он проходил науки в Коммунистическом университете имени Ленина. Из комвуза студентов направляли на заводы первой пятилетки. Так Гурко и попал на Тракторный. Он носил широкие флотские брюки, которые почти закрывали его маленькие ноги, обутые в кожаные самодельные башмаки; с первого дня определился Гур-

ко в сборочный цех, здесь он стал работать в медницкой на пайке баков и сразу же начал рабкорить — воевать в заводской газете «Даешь трактор!». И еще он был агитатором. Сначала его аудитория была небольшая — пять человек, потом дошло до двадцати, а в иной день в медницкую послушать Гурко приходило и до полусотни рабочих. Вот здесь его и увидели секретарь партийного комитета Моложаев и правдист Ильин; стоя в сторонке, они прослушали всю его беседу, а затем, когда все разошлись, подошли к Гурко и стали задавать вопросы — где воевал, кем воевал, где учился, что читал... И, выслушав ответы, Моложаев сердито сказал этому партизану и комвузовцу:

— Нехорошо, брат, получается, теплое и легкое местечко себе нашел — паять баки! А ведь ты из комвуза!

«Теплое местечко»... Гурко усмехнулся, но ничего не стал говорить Моложаеву о своих покалеченных войною ногах. Только много дней спустя Ильин в медницкой все узнал от самого Гурко.

Гурко перешел в заводскую редакцию, заведовать массовым сектором.

Он с утра начинал обход цехов, иногда рабкоровские заметки писались с его помощью тут же, у станка, и Гурко уносил с собою в редакцию с пятнами машинного масла, исписанные карандашом листки.

Его, бывало, упрекали:

— Что ты, товарищ Гурко, лирику разводишь! У нашей газеты и так мала площадь, надо бороться за план, требовать увеличения производительности труда, звать людей вперед...

Но Гурко хорошо знал, как дорого людям то, что черствые, по его понятиям, люди называют лирикой.

Писал он свои статьи и заметки мучительно долго и трудно. Собственно, он митинговал на листе бумаги. Гурко и в жизни говорил горячо — то гневно, то весело, но никогда спокойно.

Он любил читать Ильину свои заметки вслух, наслаждаясь самим звучанием слов, рожденных в его сердце и сейчас записанных на листках бумаги. Начинал читать тихо, почти шепотом, потом, разойдясь, гремел на всю редакцию.

— А ведь неплохо, Крылатый, получается, а? — задыхаясь от восторга, спрашивал он.

> О, если бы товарищ, облеченный высоким доверием народа, таким доверием, о каком только может мечтать человек, если бы (такой-то, имярек) руководитель цеха проявил больше внимания рабочему классу, то проблема газированной воды у нас давно была бы решена!..

Ильин синим редакторским карандашом безжалостно кромсал, доводил лирические излияния «Ключика» до пятистрочной заметки.

И все-таки в каждую, даже пятистрочную, заметку зав массовым отделом вносил свой, гурковский, стиль. И стиль этот был набатный, митинговый.

Слесарь Яков Френкель. Яков Ильин любил «возиться» с людьми,— страстно слушать любил,— и не по обязанности, а с тем живым, яростным интересом, который так помогал человеку, впервые встретившись

с Ильиным, «открыть» себя с наибольшей полнотой перед молодым товарищем правдистом.

Однажды к нему пришел дружок с большого конвейера, слесарь-сборщик Яков Френкель, краснощекий хлопец, с буйной охапкой волос на круглой, крепкой голове.

Слесаря сопровождали ребята из дома-коммуны «Мотор».

Все в спецовках, один Яков Френкель празднично разодет: на нем новенькая синяя «тройка» — брюки со стрелкой, жилетка, пиджак. Большие кисти рук выглядывают из коротких рукавов пиджака.

Ильин делает медленный круг, со все возрастающим вниманием оглядывает вытянувшегося, точно на смотру, коренастого слесаря Яшу. Ильин пробует догадаться: на свадьбу, что ли, вырядился?

Слесарь Яков в некотором роде историческая личность — в июне тридцатого он собирал первый трактор и вместе с мастером Тоскуевым доставил машину в Москву; в столице они выгрузили трактор № 1 из товарного вагона, заправили горючим и повели своим ходом через весь город, на площадь Свердлова, к стенам Большого театра — там заседал XVI съезд партии.

— По-о-слушай,— с некоторой долей смущения начинает слесарь,— послушай, Ильин, одну забавную историю...

И, задыхаясь от смеха, под одобрительные возгласы коммунаров, он рассказывает действительно забавную историю, какая на днях приключилась с ним. Завком предоставил ему путевку ударника для поездки на пароходе вокруг Европы, сказал парню: «Надо, Яша, приодеться, в Европу едешь...» А у слесаря,

кроме двух-трех косовороток, одной пары штанов да зимней куртки, подбитой ватой, ничего больше из солидной одежды не было. Жил Яша в доме-коммуне, и хлопцы на совете решили в складчину купить своему товарищу хороший, солидный костюм-«тройку». Пока ходили по магазинам, пока стояли в очереди, пока нашли костюм нужного размера...

Тут коммунары вступают хором:

А пароход
отплыл
из Ленинграда!

Яков Френкель вздыхает: как все нелепо получилось — и деньги собрали, и костюм хороший выбрали, вот только Европа ускользнула от него... Раздался взрыв такого веселого, звонкого хохота, что казалось — стены разнесет. Ильин смеется взахлёб, до слез: «Ах, здорово, тезка, ах, как здорово!..»

Взявшись за руки, Яков-слесарь и Яков-правдист скачут по комнате.

Ах, какая замечательная история! И снова, в который раз, Ильин заставляет Якова и его товарищей подробно рассказывать, как они всей коммуной складывались, как ходили по магазинам, искали элегантный костюм, рубашку, галстук,— одним словом, подыскивали соответствующее чину и званию слесаря-сборщика полное снаряжение, с тем чтобы не ударить лицом в грязь перед Западной Европой.

— Уд-дивительная штука! — заикаясь, говорил слесарь-сборщик, сверкая черными большущими глазами.— Понимаешь, Яша, только собрался ехать, вдруг

узнаю: па-ро-ход от-ва-лил! Путешествие началось без меня...

Кузнец свободной ковки. На СТЗ работали питерские путиловцы, московские амовцы, тульские, нижегородские, златоустовские мастера,— со всей России приехали на Волгу лучшие работники машиностроения. Да, это были хорошие мастера своего дела, но и им нужно было учиться и переучиваться на заводе массово-поточного производства.

Начальник кузнечного цеха Илья Борисович Шейнман, молодой кареглазый инженер невысокого роста (в Америке его прозвали «Шорти»[1]), проходил практику у Джон-Дира, Аллес Чалмерс, Форда; цену одной сотой миллиметра он узнал там, когда работал подручным на молоте в две тысячи английских фунтов. В верхнем кармане пиджака начальник кузницы СТЗ носил щуп, верный эталон точности. Щуп с тонкими пластинками делений столкнулся с кронциркулем старых мастеров, с системой видеть вещи только глазом, доверять только рукам и чувствам. «У вас душа кустаря»,— говорил молодой инженер старому кузнецу-туляку. Илья Борисович говорил с ним почтительно, но твердо. Кронциркуль был бессилен, а щупом начальник цеха проверял зазор в ничтожную долю миллиметра в параллелях двенадцатитысячного молота. «У нас в Туле...» — любил вспоминать мастер. «У вас в Туле,— сердито перебивал Илья,— молоты дергали рукой. Оставьте кронциркуль в покое, пользуйтесь щупом».

Тульского мастера от одного слова «штамповка»

[1] Короткий.

всего передергивает. Как въелось в него старое, мастеровое! Он готов часами рассказывать, какие бывают на свете кузнецы — кузнецы свободной ковки. Он сам из такой породы,— ему дай отковать что позамысловатей, и он с блеском откует.

Ильин подружился с этим мастером свободной ковки, чаевничает, с восторгом слушает рассказы туляка о работе на ковочных молотах старой конструкции, с веселой улыбкой разглядывает толстенную записную книжку мастера с кабалистическими записями, в которых, кажется, никто, кроме владельца, разобраться не сможет. Ильин пробует распропагандировать кузнеца: оставайся, дорогой товарищ, ведь и в Туле небось техника меняется... Но старый мастеровой с этим никак не может согласиться: ковочные как были, так им веками и стоять.

Туляк кладет на край блюдца папироску, с какой-то грустной, тоскующей улыбкой признается:

— Скушно мне здесь, друг мой Яша! Простору нет здесь кузнецу старой марки... На свободной ковке — вот где можно себя показать! А здесь — что? Здесь — просто: знай подкладывай заготовку под штамп, знай шлепай детали. Я же, друг, кузнец свободной формации, могу отковать все. Хочешь — могу отковать портрет! Или, к примеру, сделать под молотом розан-цветок! Искусство!

Ильин вспоминает слова начальника кузницы: «Если нужно будет отковать под молотом розан, мы заготовим предварительно штамп и будем штамповать эти розаны по пятьсот штук в смену. Да и по качеству они будут куда лучше!»

Ильин притягивает к себе тоскующего мастера.

— Лозунг такой знаешь, товарищ дорогой? «В ногах у старья не ползай!» Дорогу, дорогу штамповке!

Интервью дают американцы. Они жили, американские специалисты, в нижнем поселке, расположенном у самой Волги. Разные это были американцы. Среди них и такие, жизненный девиз которых был чисто заокеанский: мэйк мони — делать деньги. Что ж, они будут их делать в России...

Помню свою беседу с одним американцем в тот волнующий час, когда под высокими сводами механосборочного корпуса раздались гулкие пусковые такты мотора первой машины мощностью в 15—30 л. с.

Я подошел к Чарльзу Струтту, толстому, коротконогому американцу в приплюснутой кепке, и спросил его: что он скажет обо всем этом? Он взял мой блокнот и, подумав, кратко написал: «Сталинградский Тракторный завод — это рассвет нового дня в Советской России». И, улыбаясь, подмигивая в сторону ленты конвейера, на которой медленно подвигался первый трактор, сказал: для того чтобы машины сходили одна за другой, как конфеты, нужно подумать о том, чтобы на этих первоклассных станках работали американцы — наши парни, сказал Чарльз Струтт, они это дело быстро наладят, и тогда, говорю вам, все будет «о'кей»!

Они приходили в редакцию, к Ильину, американские наладчики, мастера, инженеры. Однажды пришел Коутс, наладчик из Детройта. Он носил ковбойскую шляпу и почти всегда жевал табак.

Коутс оглядел всех угрюмыми глазами, спросил, кто шеф, и ринулся к Ильину быстрыми шагами, рывком скинул шляпу, выплюнул табачную жвачку в угол и гневно закричал:

— В жизни своей столько не ругался, — годдамм! Проклятье! И это завод, это производство! Говорю вам, мистер, за месяц работы у Форда не бывает столько поломок, сколько у вас за день. Понимаете — за день! Посмотрите сами беспристрастно (если сумеете) на наш цех. Это же не цех, а какая-то главная улица... Где дисциплина, где порядок? Вы подменили дисциплину митингами. Митингуйте, мистер, митингуйте, но не удивляйтесь тогда тому, что конвейер стоит. Проектной нормы вам не видать как своих ушей. Для того чтобы хорошо работать, надо годами стоять у одного и того же станка, годами делать одни и те же движения, — в общем, быть стопроцентной рабочей машиной. Да, перспективы завода я расцениваю в достаточной мере мрачно. Рабочие не имеют буквально никаких производственных навыков, работают вдвое медленнее американцев. Я уж не говорю о таких вещах, как низкое качество металла, — тут можно хотя бы надеяться на улучшение. Но люди-то ведь останутся те же!

Якову Ильину перевели слова детройтца. Он нахмурился. Какое стопроцентное самомнение, только мы, только мы, американцы, и можем по-настоящему работать!.. Но продолжал молча, с интересом слушать детройтца, которого вдруг прорвало.

— Вас следовало бы назвать «бек сит драйвер», — презрительно говорил Коутс. — Вы не знаете, что это такое? Бек сит драйвер — это человек, который сидит на заднем сиденье автомобиля и, не имея понятия о езде, делает бесконечные указания фронт сит драйвер — шоферу, сидящему впереди. Так вот мы, приглашенные вами иностранные специалисты, — водите-

ли производства, а вы все, инженеры и администраторы, — типичные бек сит драйвер. Оставили бы вы нас лучше в покое и передали бразды правления. Тогда мы имели бы шансы (подчеркиваю: только шансы!) на сравнительно скорое освоение завода. Но (попомните мои слова!) если это сделано не будет, если вы будете продолжать настаивать на своем безумном намерении пройти самостоятельно в один год путь, на который Америке понадобились десятилетия, то я лично совершенно не верю в успех...

В другой раз заглянул в корпункт Болл, специалист тяжелой кузницы.

— Чудаки вы, господа, — заговорил Болл гудящим, добродушным голосом. — Разрешите вам рассказать, как из меня получился квалифицированный молотобоец, а затем судите сами. Поступил я к Крайслеру в кузницу пареньком шестнадцати лет. Три года стоял на разогреве металла. Когда я пытался напомнить мастеру — пора бы мне уже работать на самом молоте, он неизменно отвечал: «О'кей, мальчик, придет время — и на молоте поработаешь». Потом четыре года я был подручным. Тоже не ахти какое счастье... Но мне казалось, что я уже на пути к верному богатству, хотя заработки мои были по-старому ничтожны. После семи лет такой работы меня позвал мастер и сказал: «Что ж, мой мальчик, вот ты и молотобоец. С завтрашнего дня ты станешь на молот».

Болл выдерживает паузу, набивает трубку, ловко уминает табак, хитро сощуривается.

— Что же делаете вы? Вы убыстряете в десять раз пройденный мною путь. К вам приходит такой же зеленый паренек, каким был в свое время я, — нет, еще

зеленее! Я и до поступления в кузницу имел понятие о машинах, а ваши пареньки и этим похвастать не могут... Приходит такой паренек, и вы хотите, чтобы он через каких-то несколько месяцев был молотобойцем. О, нет, господа, так дело не выйдет!

А Гартмана, плотного, толстого, в роговых очках мастера, познакомил с Ильиным начальник кузницы И. Б. Шейнман.

Начинается интервью, — оно происходит в самом цехе.

Американец закладывает за губу табак, смешанный с махоркой. Да, он сейчас скажет все, что считает необходимым сказать о темпах освоения проектной мощности, о людях, работающих на современном оборудовании. А думает он и твердо считает, что русские работают на пределе, что проектную норму они не дадут.

Илья Борисович спрашивает американца тихим, вежливым голосом:

— Откуда у вас такая уверенность, мистер Гартман? На чем, собственно, вы строите свои догадки? Смотрите, как мастерски работает наш Долотов.

Гартман, стараясь перекричать гром молотов, с какой-то торжествующей ноткой в голосе произносит:

— Итак, записывайте! У вас нет, — он загибает пальцы, чеканит: — Мит! (Мясо!) Уайт бред! (Белый хлеб!) Главс! (Перчатки!) Бутс! (Ботинки!)

Он искусно, далеко в угол, выплевывает табачную жвачку и тут же закладывает свежую.

И победно смотрит на черноволосого начальника кузницы: «Ну, что скажешь, босс?»

Илья Борисович вынужден кое с чем согласиться:

с мясом действительно перебои; хороших рукавиц у нас мало; правда, с белым хлебом и маслом дело у нас чуть лучше.

Но тут в разговор вступает Ильин. В свою очередь он спрашивает американца:

— А скажите, мистер Гартман, мастерство у наших ребят появилось?

Американец обводит глазами цех, задумывается, — он, наверное, вспоминает первые дни работы кузницы, — и великодушно признает:

— Да, русские парни кое-чему научились, они имеют шансы стать хорошими мастерами. Но!.. — И он снова загибает пальцы: — Мит! Уайт бред! Главс! Бутс!

КОСАРЕВ. КОММУНА. ДЕБАТЫ

Косарев, Саша Косарев вошел, вернее, влетел в комнату Ильина с ватагой комсомольцев, все расшвырял на столе — книги, тетради, карандаши — и потребовал, чтобы Яков немедля оторвался от своей писанины и — айда на Волгу!

Он был в синей спецовке, руки, лицо почернели от формовочной земли, — всю вечернюю смену Косарев с ребятами штурмовал в литейной, работал на субботнике. Тогда все — и наркомы, и члены коллегии, и управляющие трестами и объединениями, и крупные партийные работники, приезжавшие на СТЗ,— все считали своим прямым долгом активно участвовать в заводских субботниках, становились к станкам, на линию сборки, вывозили из цехов мусор, наводили в пролетах чистоту.

Косарев ловким и сильным движением оторвал Ильина вместе со стулом от пола и закричал:

— Давай, Яшок, на Волгу!

Ильин с грустью посмотрел на стол, — заведенный порядок был сломан, бумаги раскиданы. Косарев стоял у него за спиной, торопил: «Сарынь на кичку!»

— Дай допишу, — попросил Ильин, показывая на начатое письмо.

Лукавые, брызжущие весельем косаревские глаза задержались на большом листе бумаги:

— Это кому такое длинное? Личное? Общественное?

— Есть в Иванове, в обкоме, один товарищ...

— Северьянова? — быстро спросил Косарев. — Это же мой кадр!

— Саша! — звенящим от напряжения голосом сказал Ильин. — Друг мой Саша! Ты нас с Нюрой разлучил, и ты же еще спрашиваешь, почему я пишу такие длинные письма. Совесть у тебя, как у первого секретаря ЦК, есть?

— Имеется, — сказал Косарев, перегнулся через плечо Ильина и карандашом приписал с краю на листке письма:

«Иваново-Вознесенск. Секретарю обкомола. Нюра, вопрос о личном счастье не прост».

Именно про разлуку писал Ильин своей жене в Иваново: тяжело так долго быть врозь, и как бы хотелось, чтобы Северьянова вырвалась на неделю-другую и приехала в Сталинград на свидание. Но, видно, секретарям обкома нелегко это делать. Впрочем, как и спецкорам, у которых бóльшая часть жизни проходит в разъездах.

На заре их дружбы Ильин сказал Северьяновой — Нюра работала тогда в Хамовниках в райкоме комсомола, — сказал с той мальчишески-веселой прямотой, которую она так любила в нем, сказал твердо, чтобы она знала, запомнила и потом не пеняла ему: служба его такая, что всю жизнь он будет в пути. Но и ее служба — комсомольского работника — тоже была нелегкой.

...встаешь в 8—9 утра и ложишься в 3—5 ночи, — писал Ильин. — К книге почти не прикасаюсь — хотя материала накапливается пропасть. Страшно рад, что сюда приехал,— завод такой, что врастаешь в него, как в собственный дом, события каждый день держат в напряжении, и притом я давно уж так запойно не работал. Настолько, что, поверь, родная, не имел ни минуты, чтобы писать хорошие письма,— живешь на глазах у всех, всех подкручиваешь, значит, и сам покою иметь не должен.

Я отделывался телеграммами, а в те минуты, когда шел с завода или типографии, дорогой мысленно писал горячие, ласковые письма. Я однажды ездил в город за 12 верст, чтобы отправить тебе ночью телеграмму — узнав, что у тебя что-то в работе не ладится. И не ругай меня! Мы раскачали народ, я никогда так много не работал и не был так увлечен работой, как сейчас. (Чтоб не забыть: я не читал тебе отрывков из книги, которые еще не отделаны и плохи, — не хотел разочаровывать тебя — лучше вынощу все обстоятельней, — страшно хочу, чтобы книга моя тебе пришлась по душе.)

О заводе писать сейчас не буду — ты его осмотришь сама. Я жду тебя здесь, — хорошо?

Задумали партконференцию по технике. Провожу партсобрания, инструктивные совещания — в день обойдешь все цеха раз пять — значит, сделаешь верст 30. Живем мы хорошо, кормят отлично в «американке», народ не ссорится, склок нет, всех гоняем, заставляем работать. Отлично работает Безыменский.

Саша Косарев здесь, кажется, дело у комсомольцев пойдет на лад. Сейчас они все уже зашли за мной, толпятся...

Косарев потянулся к горке книг, выбрал томик Олеши. Он с каким-то волнением и смущением стал листать страницы «Зависти»: ведь эту книгу он положил перед собой в тот день, когда поднялся на трибуну комсомольского съезда и заговорил о будущем молодого рабочего класса России.

Странным казалось сейчас и Косареву и молодому правдисту Ильину, странным казалось им, что с того съездовского дня прошло три года и что тогда, в мае двадцать восьмого, ныне действующий Тракторный завод только еще размечался на листах ватмана...

Было в Косареве что-то очень юношеское, озорное, какая-то открытая простота и отзывчивость, постоянная готовность вмешаться в ход жизни, круто ее замесить...

И даже звонкая фамилия — Косарев, ладная, веселая, с каким-то солнечным звучанием — очень шла к его тонкой, гибкой фигуре, узким, смеющимся, с хитринкою глазам.

В нем ключом била живая непосредственность рабочего подростка, который в дни обороны Петрограда носился связным по прямым улицам города, делал с такими же, как и он, заводскими ребятами с окраины завалы из бревен, железа, мешков с песком, учился стрелять, метать гранату...

Косарев приехал на завод сразу же после возвращения Серго Орджоникидзе в Москву. Жизнь семи тысяч комсомольцев, жизнь всей заводской молодежи стала в центре внимания секретаря ЦК.

С Сашей Косаревым Ильин дружил давно, со времен «Комсомольской правды»; они были под стать друг другу — оба живые, задиристые, ненавидевшие всякую мертвечину, гораздые на острую выдумку.

С Волги, уже в сумерках, до озноба накупавшись, мы пошли дружной компанией домой, к ребятам из производственно-бытовой коммуны.

Дом-коммуна стоял на косогоре, чуть в стороне от других домов поселка; в том доме жили молодые энтузиасты, те самые ребята, которые в горячую пору монтажа, заслышав ночью звонкие удары колокола, стремительно неслись к Волге или к товарной станции и с песней до утренней зари работали на разгрузке оборудования. Их энтузиазм не только не остывал от этих ночных штурмов, но, казалось, даже возрастал с каждым новым присланным на завод станком, место для которого было мелом расчерчено на торцовом полу механосборочного цеха.

Молодые семитысячники поначалу, как и все строители, жили в бараках и палатках, совершенно не придавая значения каким-то там мелочам быта, ведь впереди — в это они твердо верили! — впереди их ожи-

дают замечательные дома-дворцы, и в этих прекрасных домах вся их жизнь будет строиться на совершенно новых, коммунистических началах.

О, жаркие дебаты по вопросам быта в будущем соцгороде!

Строили и горячо спорили, делали тракторы и попрежнему отчаянно спорили. И это тоже было чертой эпохи. Клали кирпичную кладку, вязали арматуру, заливали ее бетоном, ставили железные колонны, связывали их анкерными болтами, заливали деревянные шашки пола смолой, разгружали станки, монтировали их на размеченных мелом квадратах, промывали части новых машин от густой смазки, осторожно запускали станки, с просветленными лицами, с восторгом слушая музыку первых движений сложных автоматов и полуавтоматов. И спорили — яростно, до хрипоты — о быте, о культуре, о новой технике с ее жестким ритмом на конвейере, спорили о том, как лучше строить новый быт, жить ли отдельно в своей комнате, в своей квартире или зажить по-новому — домом-коммуной. С общей кассой. С умением жить в коллективе, подчиняя и соразмеряя свои личные потребности с общим планом жизни всех коммунаров.

Самые фантастические проекты по переустройству быта дебатировались в те годы на страницах журналов, газет и находили своих сторонников на Волге, среди семи тысяч комсомольцев Тракторного.

Из столицы приехал на Тракторный по делам строительства нового города инженер-плановик, человек восторженный, начиненный разнообразными проектами. И сразу же вокруг него закипели страсти. Дебатировали в доме приезжих, где остановился плановик, дебати-

ровали в дощатом клубе строителей, в бараках и в палатках, а то и просто на берегу Волги. Приезжий товарищ не оставлял камня на камне от старого быта! Он требовал вышибить купецко-царицынско-мещанский дух, который, по его мнению, незаметно, но упорно наползал из старого города на новый, при Тракторном...

И как они, семитысячники, обрадовались, когда инженер-плановик стал разворачивать перед ними чарующие картины жизни в новом, социалистическом городке. («Имеется великолепная возможность, минуя всякие промежуточные ступени, совершить бросок в новый быт!») В знак благодарности все они дружно закричали ему «ура!». Для них не было никаких сомнений, что именно таким, предельно новым в своем существе, и должен быть город, каким рисует его приезжий товарищ. Дома-коммуны должны быть построены по коридорной системе. Никаких кухонь, этих пошлых аксессуаров старого быта. Для детей — когда они там еще появятся! — строятся отдельные светлые корпуса, соединенные с общими домами специальными садами-коридорами. Все в новом городе к услугам человека, сервис — это американское словечко уже было в ходу, — сервис здесь будет высокого класса. Строится гигантская фабрика-кухня (надо немедленно издать распоряжение о закрытии всех мелких столовых и ресторанов). Будут гигантские клубы, театры, музеи. На всем лежала печать гигантомании.

Именно такой город был по душе этим ребятам, — город, насыщенный климатом новой жизни, в которой только и могут возникнуть новые прозрачные человеческие отношения. И даже загибы столичного плано-

вика имели свою прелесть, разжигали воображение молодых рабочих, из которых многие пришли на стройку в лаптях, а сегодня работали на умных, образованных машинах, обладавших микронной точностью.

Новый город, окружавший завод — верхний и нижний поселки, строили по обычному проекту, но два каменных пятиэтажных дома отдали комсомольцам — тем, кто решил жить по принципу производственно-бытовых коммун.

Заводской комитет комсомола гордился этими комсомольскими коммунами: вот где складывается поистине новый быт! Вот где идет решительная борьба со старыми традициями и привычками!

Теперь я могу признаться, что поначалу и нам, газетчикам, сама идея — сегодня насадить новый быт! — казалась очень заманчивой и весьма, как говорится, созвучной эпохе. На страницах «Даешь трактор!» коммуны красочно описывались, воспевались до тех пор, пока, по словам Ильина, жизнь не догадалась стукнуть нас по башке.

Дома были новые — только недавно убрали строительные леса, стены еще держали острые запахи красок, и так естественно выглядело страстное желание молодых людей, чтобы и быт у нас был новым, социалистическим. Напрашивалось самое простое: создадим коммуны. Все в них будет общее — заработная плата, питание, все друг друга подпирают и друг за друга отвечают.

Собственно, они ведь и до этого уже жили коммунами — в дни строительства и монтажа,— и теперь, став операторами-станочниками, кузнецами, литейщиками, слесарями-сборщиками, наладчиками, поселившись в

новом доме, они перенесли сюда свои старые, овеянные романтикой обычаи. Но, как вскоре стало ясно, они перенесли в новые условия и уравниловку, узкопотребительский подход к благам жизни.

Ребятам хотелось все-все перевернуть, как можно скорее сломать старый быт; они выработали очень суровые правила жизни: никакой личной собственности, все заработанное — в общую кассу. Направляет жизнь коммунаров избранный совет дома-коммуны.

Ведь это же так чудесно: жить одной коммуной!

Но что-то уже шло от крикливости, самолюбования: «Ребята-огонь, попробуй потрогай, а лучше — не тронь!»

А в действительности было так: уравниловка, обобществление в быту на практике постепенно привели к тому, что кое у кого из ребят обозначилось стремление пожить за счет коммуны. В самом деле: зачем мне учиться, овладевать станком, трудиться с наибольшим напряжением умственных и физических сил, думать о разряде, когда те, у кого высокие разряды, все равно обеспечат мне условия хорошей жизни... Касса-то общая!

Но вот — стоило одному из коммунаров после возвращения с работы уединиться, засесть за книги, за чертежи, как на него кое-кто из ребят начал коситься: чертов индивидуалист, ему, видите ли, нужна тишина!

Вот к этим коммунарам мы и пришли майским вечером тридцать первого, предводительствуемые Косаревым.

Начался разговор о жизни.

И для начала, так сказать для затравки, Косарев предложил подумать: а что, ребята, может быть, гнет

этической дисциплины превратил вас в пленников своих же собственных уставов? Так ли надо жить, ребята, — строить свой отдельный оазис, закрывая глаза, не видя, что делается рядом с коммуной, в палатках и бараках?

Ну, что тут было!.. Дебаты мгновенно развернулись, коммунары словно только и ждали этого и сразу, в открытую выложили свои душевные тревоги. Большинство понимали: нелепо цепляться за букву устава коммуны! Но нашлись и защитники; особенно расшумелся, разгневался один худенький черноглазый паренек, которого все звали Оськой. Все в нем клокотало, кипело, кудрявая голова его всегда была полна новых и новейших идей.

Год назад он приехал на завод из маленького белорусского местечка, где в полную меру познал нищую жизнь, приехал по призыву комсомола на Волгу — и сразу же был захвачен водоворотом шумной и кипучей деятельности.

Оська входил в совет коммуны, стоял горой за нее и считал изменой всякую попытку внести коррективы в эту с таким трудом созданную жизнь на новых началах. И то, что Косарев, руководитель Комсомола, и этот свой парень Яшка Ильин из «Правды», если они пусть по-товарищески, но критикуют коммуну, и без того раздираемую своими собственными противоречиями, приводило Оську в неистовство.

Подумать только: ребята хотят жить артелью, коммуной, а их тянут к обывательской, по мнению Оськи, старой-престарой жизни!

Он вплотную подступил к Косареву и Ильину, которые сидели на скамье у окна, его черные, опален-

ные гневом глаза так и сверлили секретаря ЦК Комсомола.

— О нас песни складывают! — задыхаясь, срываясь на шепот, сказал Оська.

(Да, была у коммунаров такая песня: «Нас было двенадцать, ребята что надо, назвались ночною ударной бригадой, ребята-огонь, попробуй потрогай, а лучше — не тронь!»)

— А солнце нашего идеала! — воскликнул он.

И круто рванулся к стене, на которой размашисто, в красках был выписан лозунг: «Солнце нашего идеала должно гореть над нами».

— А Маркс? — продолжал он выкрикивать. — А прозрачные человеческие отношения... с ними как быть?

И тут Косарева будто пронзило — он вскочил на ноги и, сжав худые плечи кудрявого Оськи, в свою очередь шепотом стал выговаривать ему:

— Ах ты пламенный Титан! Ясные, прозрачные человеческие отношения, а?

И, крепко взяв хлопца за руку, быстрым шагом повел по дому-коммуне. И все коммунары пронеслись за ними бурей — из комнаты в комнату, с этажа на этаж... Всюду было грязно, не убрано, неприглядно выглядели туалетные и ванные комнаты.

— Хлопцы вы хорошие, — Косарев хитро подмигнул, — ребята-огонь! Но гляньте — поглядите внимательно на свой быт: боже, какую вы грязь развели! Ведь каждый из вас, наверно, думает: «Э, пусть мой сосед наводит чистоту и порядок...»

По правде сказать, эти огневые ребята из производственно-бытовых коммун «Искра», «Мотор» были по

душе Саше Косареву. Их жаркие лозунги, их готовность к штурмам, к тому, что можно было назвать строительным пафосом, — все это бросалось в глаза. Но что же делать, ребята, если время этих яростных штурмов отходит в прошлое, если новые времена требуют от нас решения новых, качественно более высоких задач по освоению той самой техники, которую мы с вами монтировали в корпусах завода? И тут, ребята, штурмом ничего не добьешься!

Но — попробуй убеди эти горячие головы! Ведь им, наверное, думается, что Косарев и бригадир из «Правды» Ильин толкают коммунаров на старое, или, как решительно выразился Оська, гасят порыв комсомольской души.

А Косарев упорно ведет свою линию:

— А ведь это, ребята, прививает уравнительский подход к социализму. «Ну зачем мне тянуться, тратить время на книги? Работаю или не работаю — все равно коммуна, общая касса вывезет». Это неверно, это карикатура на социализм! Вульгаризаторы, схематики от социализма наивно думают, что мы, будучи коллективистами по натуре, против личного благополучия. Что мы против уютно обставленных комнат. Что мы против музыки, против модного костюма, против хороших модных чулок. Эти чертовы схематики изображают социализм как серую, монотонную казарму, где все делается по одному распоряжению. Но мы не скучные люди, подстриженные под одну гребенку! Каждый из нас имеет свою индивидуальность.

— А любовь? — послышался вдруг тоненький, робкий голос девушки, которая спряталась за спины своих подруг.

Косарев мгновенно откликнулся:

— Пусть расцветает!

Он увидел на подоконнике кувшин с полевыми цветами и страшно обрадовался — немедленно взял цветы на «вооружение».

— Мы за цветы! Поймите, мы не против любви, не против музыки, ребята мои дорогие... И не против стремления хорошо одеться. Мы — за! За любовь, за цветы, за музыку!

Потом долго еще митинговали на крыльце дома, под майским звездным небом.

— Ребята! — говорил Косарев. — Разве я не понимаю ваших честных и чистых стремлений жить по-коммунистически. Но смотрите, что у вас получается? Разве коммунистическое может смириться с грязью, с тем, что вы перекладываете на других самые простые обязанности? Вы пришли на новый завод, и у вас, дорогие мои комсомольцы, все — руки, одежда, душа, мысли, — все должно быть светлым и чистым... А вы что же — сразу на «ты» со станками, у которых, можно сказать, высшее образование...

О, он хорошо понимал душу, настроения этих живых веселых ребят-коммунаров... Собственно, он сам по натуре своей был таким. Но время, время, ребята, какое! Сами знаете, для подъема тяжестей появились отличные краны! Нужно только хорошо научиться ими пользоваться.

Оська был поражен: и это проповедует секретарь ЦК! Живите культурно... Берегите свою силушку... для подъема, говорит, тяжестей имеются мощные маневренные краны.

Ильин притянул Оську к себе:

— Ты что, кудрявый, затих?
Оська весь как-то сжался: уплывала мечта о коммуне!

— Понимаешь, Яша, — доверчиво сказал он, — ведь так недавно в дождь, в снег монтировали мы станки, и не было, не было тогда кранов... Впрягались сами! Валились с ног от усталости. Но если бы нам сказали: «Ребята, для республики крайне важно, чтобы сейчас же смонтировать еще вот эти станки!» — все мы до одного остались бы еще на многие часы работы. Сейчас этот дух исчез... Бывают вечера, когда я брожу по поселку и чувствую себя совершенно одиноким, хотя на моих глазах строились эти цехи и дома... Хожу и думаю: вот идет парень, мы с ним таскали гравий, бывало, вместе съедали по три порции пшенной каши, вместе трудились на монтаже «глиссонов»... Он сейчас ходит в модных ботинках, и, веришь ли, это уже другой человек.

— В чем же дело?

— Личное благополучие убило в нем товарища, — хмуро сказал Оська. — Когда мы встречаемся с ним, то здороваемся, конечно... Но это здороваются два разных человека. Он смотрит на меня так, как смотрел бы на пожарную каланчу или на проезжающий грузовик. Он забыл о том, как мы имели когда-то одни выходные брюки на двоих и по очереди щеголяли в этих брюках... Я был, тогда, да и теперь, как ты видишь, худющий, а мой товарищ обладал мощным торсом, когда мы выбирали брюки, то решили взять по его мерке, — ему-то в самый раз, а мне мученье... Но черт с ними, с брюками,— человек переменился, забурел!

— А ты? — тихо спросил Ильин.

— А я все тот же, каким был два года назад. Если меня разбудят ночью и скажут: «Оська! Пошли выгружать машины, работать будем по пояс в воде, это тяжело, трудно, но этого требует пятилетка...» — я мгновенно вскочу и пойду. Я ничего не добиваюсь для себя лично, я презираю шмотки. Когда я переехал в новый дом, я шесть месяцев спал без тюфяка...

— Это почему же?

— Трудности переживает вся страна, и я должен был кожей своей это чувствовать.

Он замолчал, потом вдруг нерешительно сказал:

— Знаешь, иногда ко мне приходят странные мысли... Мне хочется, чтобы на заводе что-нибудь случилось. Пожар, например. О, я бы полез на горящие крыши, я бы спасал станки и людей, пока не погаснут последние искры. Я вот прихожу в комсомольский комитет, сижу, слушаю, все чего-то жду,— вдруг мне скажут: «Оська, давай организуй ударную бригаду, давай покажем всему миру, на что способны комсомольцы!» Но ко мне подходят наши руководители и спрашивают, читал ли я Герцена, хочу ли я быть инженером и какого фасона буду шить себе зимнее пальто. Презираю я ваши фасоны!..

Потом мы провожали Косарева в город.

Он хмуро поглядывал на Ильина, на всю нашу бригаду газетчиков.

— Да и вы, ребята, тоже хороши! — сказал он сердито.— Поэты, черт вас возьми, увидели и запели: «Ах, коммуны...»

Покосился на молча шагавшего Ильина и вдруг добавил:

— Справедливости ради надо сказать: и ты, Коса-

рев, черт возьми, тоже хорош, тоже поддался красивым словам. «Ах, ребята-огонь!»

— «Оазис»...— сказал Ильин.— Так-то оно так... А вот что-то держит ребят вместе. Что-то крепко держит!

— А чей это лозунг: «Солнце нашего идеала»?..— спросил Косарев. И вдруг засмеялся.— Что-то я у Маркса, хлопцы, такого лозунга не помню...

— Да Луначарского это лозунг,— улыбаясь, сказал Ильин.— Есть у него, Саша, такая статья — «Новый русский человек». С Гастевым Анатолий Васильевич дебатировал. Вот Гастев — он снаряжает молодого человека переходной эпохи тремя простейшими инструментами. Нож, молоток, топор. И требует: овладей! А Луначарский говорит: инструменты эти ценные, необходимые, но не забывайте большое духовное снаряжение, рожденное революцией. «Солнце нашего идеала»...

Ильин раскинул руки.

— Стой, Лександра! Солнце солнцем, а вот скажи нам, уважаемый товарищ цекист, что ты можешь предложить семитысячникам, чьей энергией, кажется, можно Волгу вздыбить?..

— Открываем лодочную станцию,— сказал Косарев,— кинотеатр строим, вечерний рабочий факультет организуем. Книжный магазин, киоски с прохладительными напитками...

— Можно записать? — с самым невинным видом спросил Ильин.

— Записывай,— недрогнувшим голосом ответил Косарев.— Записывай, ехидная твоя душа корреспондентская.

(Тридцать семь лет спустя в город на Волге съехались со всей страны старые комсомольцы, которые по-прежнему называли себя семитысячниками. И был среди них первый заводской секретарь комсомола — госплановец Петр Федорович Плотников. От тридцатых годов остался у Плотникова полуистлевший листок бумаги с короткой записью. Плотников показал этот листок своим товарищам — семитысячникам. И тот, кто писал когда-то эту записку, сидел здесь же в зале: капитан I ранга, кандидат военно-морских наук Герой Советского Союза Сергей Лисин. Добровольцем он воевал в Испании. В Великую Отечественную войну он командовал подводной лодкой на Балтике. Записка, которую огласил Плотников, возвратила Лисина к далеким годам комсомольской юности. Штурмовые ночи по разгрузке оборудования... Едва прибывал очередной состав, как по всему поселку раздавались удары набатного колокола, к ним присоединялись гудки маневровых паровозов.

На разгрузку! На разгрузку! Станки, обшитые досками, бережно сгружались с платформ, потом их установят на размеченных мелом квадратах в новых цехах.

Это он, Сергей Лисин, пришел тогда, весной тридцатого, на комсомольскую конференцию, наскоро написал на клочке бумаги несколько строк и послал записку в президиум, Петру Плотникову.

«Петро! С радостью сообщаю тебе, что борьба началась. Начало прибывать оборудование. Прибыло 14 платформ и уже разгружено, готовимся к встрече 24 платформ в два часа ночи. Комсомолия готова. Коммуны и бараки знают.— Лисин».)

Я. ИЛЬИН — А. СЕВЕРЬЯНОВОЙ

...Вообще, Нюра, ты должна простить мне, что я так мало тебе писал. Но я ничего не могу поделать — просто мало времени. На заводе все работают сверхурочно — некоторые смены по семнадцать — восемнадцать часов. Общая напряженность достигла предела. Мы с девяти утра до глубокой ночи находимся в заводе. В два ночи перед пуском пятитысячного трактора, когда не хватало рабочей силы на сборке моторов, вся наша бригада «Правды» вместе с Сашей Косаревым, с бригадой ЦК работали у конвейера.

На круг в эти двое-трое суток пришлось не больше пяти часов сна. Пришлось выезжать в город, принимать людей, расследовать, в общем, я вертелся и работал до того, пока просто не в силах становилось ходить и работать. Несмотря на эту перегрузку и напряжение, несмотря на дьявольскую жару, на отсутствие по вечерам чая (ты знаешь, как я его люблю!), несмотря даже на то, что я почти не прикасаюсь к своей книге, я чувствую себя бодро и крепко. Это настоящая партийная массовая работа, которая по плечу третьему году пятилетки.

Мы многое на заводе разворошили. Растут прекрасные ударники. Вообще наша энергия и неутомимость здесь высоко ценятся. Мы занимались профсоюзами, комсомолом, кооперацией, — но основное сейчас, понятно, не в них, а в хозяйственном руководстве, которое не справляется с заводом. Директор Г., снятый с Путиловца, — слаб,

растерян, мечется из стороны в сторону... В целом техническое и хозяйственное руководство не годится. Вот уж больше месяца, как изо дня в день мы вскрываем отсутствие элементарного порядка, планирования, хозрасчета.

К сожалению, мне не удалось осуществить свой замысел: вести ежедневные записи о жизни завода. И так разучился писать — строчу одни телеграммы, не высыпаюсь, не справляюсь с тем, что я от себя самого требую. Напитался впечатлениями до отказа. Если после Сталинграда получу возможность работать (писать) и буду с тобой (именно с тобой, родная!)...

Я пишу как в тумане — жара, устал, спать, спать, спать — вот что кричит тело. Но на меня смотрят чуть лукавые, мягкие глаза моей жинки, и новые силы прибывают во мне. Как ни быстро катятся дни, как ни загружены они событиями, как ни велико сознание ответственности и необходимости в нашей работе на заводе — сколько горячих писем, телеграмм я писал тебе по дороге в цех, или вечером на совещании, или дома ночью. Если бы можно было стенографировать мысли, ты могла б еще и еще почувствовать мою любовь к тебе.

Дочка, по твоим письмам я вижу: ты была эти дни одинока, Галька болела, ты также. Но ничего, родная,— осенью я заберу Гальку к себе, или ты ее бери в Иваново, и мы из Гальки сделаем большевичку. Тебя теперь от меня не оторвешь, так же как и меня от тебя. Мы срослись. Твои письма я читаю как собственный голос издалека.

Жду тебя в Сталинграде, вряд ли меня выпустят отсюда в Москву. Пиши встречный план, жду писем, твоих каракуль, ласковых и всегда торопливых. Не веди статистику: сколько писем написал я тебе и сколько ты мне. Заранее сдаюсь. Все мои письма к тебе — это частицы сна, мобилизация последних клочков энергии.

Родная, ведь тебе все с полуслова понятно: мы одной породы,— если работать, так на совесть. Выжимай из себя все, что можешь дать заводу, партии, обществу. Только бы дали мне все это потом продумать, записать. Можно сделать сильную книгу, и я добьюсь этого.

...Тут-то вот меня и перебили. Вообще здесь редко удается больше 15 минут быть одному. Беспрерывно заходят, советуются, ругаются, жалуются — во всех бригадах знакомые люди, и они-то больше всего теребят... Я хотел написать, что это и есть любовь, когда за сотни верст чувствуешь тебя, когда знаешь, что каждое твое слово доходит и помнится.

Прости за редкие письма. Никак, никак не выходит иначе!

Пока есть место в странице, все хочется писать, как я люблю тебя. Пока, родная!

Твой Я.

Нюрка, хорошая моя, как я тебе благодарен за частые письма! Я получаю их в разных местах — то на заседаниях заводкома партии, то в редакции, иногда даже в цеху — ребята захватывают их для меня. Ты ведь знаешь — чтение твоих писем меня

всегда выдает, какие-то неуловимые тени от мыслей и чувств, навеянных тобой, бродят по лицу, и если это в редакции или в заводском парткоме, то мои бригадники подталкивают меня: спрячь, парень, радость с лица, а то улетит. Так глупею я на 10—15 минут, вырываюсь как бы на эти минуты к тебе, решаю немедленно после заседания или прямо из цеха идти писать ответ,— я его уже весь мысленно написал.

Но, дочь,— не всегда удается вырвать время для ответа. Не серчай тогда. Значит, не мог. Дочь, не хочу запоздало объяснять, почему я неполно ответил на первые два письма. Неужто мне тебе рассказывать, что это лишь случайное недоразумение и не столь уж отчаянно-плохое, чтоб о нем вспоминать. Ты сама пишешь, что «крупных сомнений» сейчас уже нет. Да и откуда им быть? Они навеяны болезнью, одиночеством, беспокойством о тебе, разлукой. Стоит ли нам в третьем году нашей совместной жизни (в третьем для нас отнюдь не решающем году, ибо *все вырешилось* у нас в первом же году), стоит ли так жалеть о двух-трех неудачных днях? Дело ведь не в нас и не в наших отношениях и даже не в том, что различие наших работ может уменьшить близость. Это все, дочь, только от одиночества у тебя,— когда мы вместе, такие вопросы даже не возникают. Дело в том, что мы не всегда располагаем собой — и это тяжело. Второй год хотим отдохнуть вместе, и не выходит. Ну, дочка, ну, родная,— брось скучать, твои опасения напрасны, я хотя и заработался, но не болею и с почками даже лучше стало.

Только похудел малость, опять, как у турка,— нос да глаза...

Как бы мне хотелось быть с тобой сейчас! Пишу, передо мной зеркало, и я вижу свою улыбающуюся, глупеющую рожу...

Теперь при встрече я смогу вооружить тебя богатым опытом парт. и комсом. работы на предприятии. Такая работа дает колоссальную жизненную силу, хотя выматывает она сил из наших людей также немало. День проходит в погоне за деталями трактора, в помощи цеховым и заводским организациям. Я до того истомлен, что не могу связно изложить, как и что в заводе делается. Все, все расскажу при встрече. Но когда она будет? Когда я увижу свою ласковую, хорошую девочку, которая вот ущемила мне сердце... Какой прекрасной ты мне кажешься, как хочется махнуть через все эти степи, реки, города — к тебе в Иваново. Взять бы аэроплан, встать часика в четыре утра и к 2 часам дня уже обнимать тебя, видеть Гальку... Галек, Галька, Галена — вот ждешь ее топота, и как хочется, чтобы она повозилась в книжках, кричала «па-па», и пугала, и улыбалась, и смеялась, когда с ней играют...

Дорогая, ты, видно, можешь пересилить во мне всякую усталость. Вчера весь день заседал — бюро заводкома партии, а вечером — бюро горкома о Тракторном заводе. Начали в семь вечера и кончили в четыре утра — да еще час езды до дому (12 верст). Обсуждали вопросы хозяйственные: завод опять идет книзу, нет в заводе твердой руки,

бесконечны планы и резолюции, велика растерянность руководителей; затем была информация Косарева о работе комиссии ЦК по социально-бытовым вопросам.

Спорили, некоторые засыпали от усталости, их будили, и они выступали. Азиатское заседание, на три четверти бесплодное и на одну четверть рыхлое... Выбрали две комиссии, включили меня, значит, опять с ними маяться и принимать решения, которые никто не проталкивает, которыми больше отделываются от дела, чем используют в качестве тарана против безответственности в работе.

Лег я спать часов в 6 утра, а в 8 меня уже разбудили ребята — надо было пересказать им ход заседания, речи, реплики, решения. Спать уж мне не дали, оделся, пошел в завод. На улицах народ. Праздник, выходной день (его не было 6 дней — перенесли с 15-го на 17-е, думали выправить программу к годовщине завода). Сегодня годовщина, но опять сорвались, душит бесплановость, хищническая работа рывками, неумение лечить болезни завода, желание обмануть станки, партию, страну, самих себя — поэтому вот у таких, как мы, хозяев ничего и не выходит.

Для меня ясно, что́ сейчас в заводе главное: крепкая рука хозяйственника, умеющая организовать и использовать инициативу и энергию масс, умелость и знания инженеров. Раскачать народ мы смогли, тянуть завод на помочах месяц также смогли, нащупать болезни, наметить рецепты, организовать движение снизу — все это мы дела-

ем и делали, упирается же вся эта работа в отсутствие твердой хозвласти, элементарного порядка, плановости, хозрасчета.

Пошел домой и дорогой толковал с тобой. Вот я пересказал тебе сжато то, что думал сейчас о заводе. Ко мне часто обращаются люди — «Правде» жалятся на все невзгоды.

Многое подмечаешь, особенно пытливо разгадывая, что́ кроется в сути того или иного события и человека. Очень полезно быть на такой работе, и несмотря на все переутомление (а оно велико), на разлуку с тобой (которую я с каждым днем переношу все нетерпимей и нетерпимей),— я очень рад, что на завод поехал. Это большая школа жизни. Это и есть наша страна, то, чем она сейчас дышит,— борьба за темпы, за трактора, за освоение станков, более умных, чем люди, на них работающие, переделка людей, пришедших из Белоруссии, из Баку, из казацких станиц и еврейских местечек. Многое из виденного отпластовывается в памяти пока незаметно, кое-что урывками записываю — и все же надеюсь, что пребывание и работа на заводе отразятся на книге. Еще не все ясно, не все утряслось, верней, все не ясно и только начинает утрясаться заново,— но книга зато становится крепче, жизненней, менее ходульной (надуманной). Философия и рассуждения мои там останутся, но главное: *как создаются темпы, люди, трактора* — сквозь что проходит страна в третьем году пятилетки, чтобы добиться победы.

При встречах буду рассказывать тебе не очень внятно, даже, наверно, бестолково,— ибо все это

бродит, оседает заметками, страницами глав, набросками,— а потом сквозь всю эту мешанину проступят ребра подлинной диалектики, возникнет полновесная жизнь, строительство, люди наших дней, напряженно-лихорадочных и все же самых лучших во все времена и годы существования земли.

Не ругай меня поэтому, дочь,— я и сам не думал, что так сложен и утомителен (и в то же время увлекателен) процесс писания. И об одном я прошу себя: не торопиться, иметь выдержку, еще и еще раз все взвесить и проверить и лучше все оставить тлеть в ящиках стола, чем подать читателю, как в здешних столовых — непроваренное пшено с солониной.

Посылаю два плохих снимка нашей бригады (снимались недели две назад). Твой носач хитро улыбается. Он здесь плох, худощав, но, очевидно, таков он и есть, ничего не поделаешь.

«ВО НЕННТ МАН ДИ БЕСТЕН НАМЕН...»

Захаживал в редакцию «Даешь трактор!», за одним из столов которой, облепив его с четырех сторон, работала наша бригада, пожилой, тихий инженер, по прозвищу Металл Металлыч.

Металл Металлыч появлялся в нашей шумной комнате — лысая голова, чуть спущенные очки и внимательный, угрюмый взгляд,— вежливо здоровался, терпеливо выжидал, когда стихнет редакционный галдеж, затем не спеша, шаркая подошвами, направлялся к столу «Правды»; из тяжело оттянутых карманов из-

рядно поношенного пиджака он вытаскивал бруски стали с внутренними пороками — сталь эту варили на соседнем металлургическом заводе,— коротко произносил:

— Вот! Полюбуйтесь!

Случилось однажды, что Ильин вернул металлургу брусок «порочной» стали обратно в руки и резко сказал:

— А вы бы сами сварили эту марку стали, показали, как надо попадать в анализ...

— Можно,— хрипло бросил металлург и, ссутулившись, шаркая подошвами, покинул редакцию.

На Якова Ильина все сидевшие за столом дружно накинулись: зачем так грубо разговаривать с этим человеком тяжелой и сложной судьбы...

Но сам инженер-металлург взглянул на этот эпизод в редакции по-деловому — чуть ли не в тот же день он снова появился в нашей комнате, внимательно посмотрел поверх очков на Ильина, сказал негромко, густо окая:

— Вот что, молодой человек. Сталь варить я умею, знакомое мне дело. А вот совсем не умею упрашивать, уговаривать чинуш...

— Это я беру на себя,— быстро и даже радостно сказал Ильин.

Яков отправился с металлургом на соседний завод, стал своего рода подручным сталевара.

Все часы плавки Ильин провел с Металл Металлычем на мартеновской площадке. Он, кажется, больше старого специалиста обрадовался, когда первый лабораторный анализ показал: сварена сталь нужного качества.

С того дня они сблизились, металлург и корреспондент, стали часто встречаться, подолгу беседовать.

На Тракторном Ильин впервые столкнулся со специалистами, людьми инженерского склада,— некоторые из них одно время были связаны с хозяевами старой России. Посылая их на Волгу, на завод, который проходил тяжкую полосу освоения новой техники, ВСНХ предоставил им полную возможность трудом и знаниями активно участвовать в индустриализации СССР.

Яков Ильин с напряженным вниманием приглядывался к этим умным, образованным, отлично знающим свое дело инженерам; особенно он нацелился на этого молчаливого, о чем-то вечно думающего старого металлурга.

Металл Металлыч был человеком деловым и по характеру очень замкнутым. Но вот молодому корреспонденту как-то удалось расшевелить этого скупословного металлурга. Жили они в одном доме — заводском доме приезжих, металлург иногда захаживал к товарищу из газеты «Правда».

Летним вечером инженер-металлург задержался у дверей корпункта «Правды», прочитал сделанную плотничьим карандашом надпись: «Дорогу, дорогу идеям!» — усмехнулся и негромко постучал.

— Я, видите ли, проходил мимо,— хриплым голосом сказал он, обращаясь к Ильину.— И пришла мне в голову одна заманчивая, хотя и обывательская, идейка: пригласить вас откушать со мною чаю...

И вытащил из кармана цибик чая.

— Моя заварка, ваш кипяток.

Ильин сходил за кипятком, Металл Металлыч стал заваривать особым, как он сказал — уральским, способом чай, дал ему настояться, потом, почти священнодействуя, разлил по стаканам.

Понимая отлично, что жизнь металлурга была сложной, запутанной, Ильин в своих беседах с ним поначалу не касался той тонкой и трудной области из биографии инженера, которая так недавно еще связана была с обвинением во вредительстве. И старый металлург, повидимому, ценил эту деликатность молодого товарища из «Правды», как он называл Ильина.

Тихий, сдержанный, он оживал, когда речь заходила о его любимом деле — черной металлургии. Металл Металлыч был влюблен в свою профессию, целыми днями возился в лаборатории или в цехах завода. Только на днях он снова выезжал на соседний завод, давал консультацию по выделке новой сложной марки стали. И там же от теоретической консультации перешел к практической работе — сам сварил эту трудную, капризную сталь.

Металл Металлыч положил перед собою жестяную коробку с табаком, его крепкие, костистые пальцы свернули цигарку.

— Я, конечно, в какой-то степени рисковал, — рассказывал он Ильину, — печь незнакомая... Когда повел плавку, по правде говоря, я не знал, что́ будет с печью, пришлось действовать по указке самой печи, — в некотором отношении не я ею управлял, а печь вроде сама подсказывала и определяла мои действия. Это было, конечно, не совсем нормально. Но ведь каждая печь имеет свой нрав: одна затягивает плавку, другая ведет ее чересчур быстро. Но я не теребил печь и лишь сле-

дил за тем, чтобы она не вышла из пределов намеченного мною режима.

Он поднял голову, улыбнулся.

— Мы, кажется, понимали друг друга. Плавка удалась, сталь попала в анализ...

Разговор перешел к предстоящей на заводе конференции по технике.

— Бесстрашный вы товарищ...— Металлург сощурил глаз.— Иностранных, слыхал, специалистов докладами нагрузил, а теперь и нашего брата беспартийного подбиваешь... А конференция-то партийная!

— Партийно-техническая,— сказал Ильин.

Металлург пристально, поверх очков, посмотрел на Ильина.

— Что молчишь, товарищ «Правда»? Думаешь, наверное, про себя: а как, мол, тебя, черта старого, занесло в ту стаю?..

Ильин было смутился, потом прямо сказал: да, так именно и подумалось.

Металлург встал из-за стола, сунул руки в карманы и не спеша зашагал из угла в угол тесной комнаты корпункта.

— В Москве, на суде,— неторопливо сказал Металл Металлыч,— один крупный инженер-текстильщик, который, если не ошибаюсь, перебывал техническим руководителем многих фабрик России, сделал своего рода обзор долгой своей жизни... Вот что молвил он в последнем слове: «Так, говорит, недавно, так недавно мне вспомнились слова одной старой немецкой песни: «Во неннт ман ди бестен намен, да ист зух мейне генаннт». (Когда по моей области назовут лучшие имена, то и мое имя будет названо...)

Ну, я так далеко не заносился,— усмехнулся металлург.— Но где-то там, в душе, порой бушевало и верилось, что и на моем веку, вернее, в моей области, в металлургии, я сделаю что-то достойное...

В Москве, на суде, обвинитель государственный все поставил на свое место, назвал вещи своими именами: вы, господа, действовали по такому-то и такому-то расчету. Но сухая, точная проза, видите ли, задела инженерское самолюбие... С чувством обиды и попранного достоинства другой инженер, большого масштаба конструктор, полемизировал с государственным обвинителем: зарисовка прокурора отличается, мол, излишней схематичностью, она напоминает персонажей старинных английских романов, где злодей изображается злодеем с ног до головы, а добродетель изображается без единого пятнышка. Но здесь, утверждал конструктор, здесь перед вами не персонажи стилизованные или схематизированные, а живые люди, и поэтому истинная обстановка, истинная картина побуждений, внутренних движений куда сложнее...

Сложнее! — глухо повторил металлург.— А по самой сути: революцией потревожили, вытянули из обжитого гнездышка, лишили — в том числе и вашего покорного слугу — тех выгод жизни, которые мы имели при капитализме. Иных лишили тантьемы... Впрочем, одна идея была, разгуливала по белу свету: власть инженерам! Приподнимало, щекотало самолюбие... чем-то древнегреческим отдавало. Современное государство, опирающееся на высокоразвитую технику, должно управляться инженерами. Вот какая это была мысль! Утешающая души!

...Я все давеча рассказывал вам о режиме плавки

новой стали, о техническом риске,— верите, иногда легче вести плавку, иметь дело с металлом, чем с людьми... Кажется, тот же инженер-текстильщик заметил, взвешивая все содеянное им: шел-де по наклонной плоскости, коготок увяз — всей птичке пропасть. Ну, если он, старый инженер, управляющий многими и многими фабриками, сказал так о себе, то и я, провинциальная сошка, могу это с полным правом отнести и к себе.

Ловцы инженерских душ нагнетали счет обидам, вгоняли людей в скепсис, расставляли ловушки, нашептывая громкие слова о корпоративной чести... Но факты — факты окружающей жизни — заставляли более внимательно оценивать действительность, ширили у многих в душе внутренний разлад.

Рассказывая о своей жизни корреспонденту «Правды», инженер-металлург словно вглядывался в себя со стороны и удивлялся и ужасался тому, что́ свело его — разночинца — с теми инженерами-воротилами, у которых были свои, далеко идущие планы и интересы.

— Какую большую роль играла уверенность старых генералов от инженерии в том, что их мысли находят отзвук в других! На том заводе, где я работал, техническая среда имела свое ярко выраженное лицо. В первый год, когда я приехал на завод, нас было всего лишь два инженерно-технических работника. Все остальные ушли с адмиралом Колчаком, который увез их, как он увозил на платформах части турбин, дизелей и машин. Оборудование завода он бросил в Омске, ин-

женеры и техники постепенно возвратились на завод, который и без них хотя и с трудом, но работал. Перед ними открыли заводские ворота, их встретили как людей, обманутых Колчаком, но многие привезли с собой дух касты, а иные — дух ненависти к новой власти.

Кто окружал меня? Новых инженеров долго на заводе не было, а старые — люди определенных традиций, складывавшихся в давнее время. Это все равно что капли воды, которые долбят камень. С монотонным звуком их падения свыкаешься. По существу, технические разговоры велись только на заводе или по пути с завода домой. Затем каждый начинал жить своей жизнью, сходной с жизнью других; изредка собирались на семейные вечера с картами, роялем и выпивкой. Могли ругаться, спорить, но тогда все принимались мирить, защищать единый дух корпорации.

Многие из нас долгое время не примыкали ни туда, ни сюда, но в действительности трудно, невозможно пребывать в таком неясном положении, и командующие в этой кастовой среде, «обер-офицеры капитала», которым было что вспомнить в прошлом, потянули иных из нас на старое. Примечательно, что этот командующий состав инженерства, который играл в старое время большую роль, переменил свое отношение к так называемым средним инженерам. Раньше они смотрели на них свысока, третировали, держали в черном теле, а после революции стали создавать видимость единой корпорации, в которой — все, все духом единым живы...

Старое на время захлестнуло нас, оно было сильно

до тех пор, пока была корпорация инженерства с прошлыми традициями, но когда в технику вошли новые инженеры и они, новые, молодые, со временем уже не были в меньшинстве, ореол уважения и слепой веры стал рассеиваться, а кумиры — разрушаться. Каждый из нас по-своему прошел этот путь...

Он помолчал, потом спросил корреспондента «Правды»:

— Вы ведь, кажется, историей увлекаетесь? Задумали писать книгу «Жизнь СТЗ»? Поройтесь, прошу вас, в материалах по истории индустриализации — увидите, как господа из «инженерного центра», засевшие благодаря своим знаниям и корпоративным связям в важнейших узлах народного хозяйства, как эти, коллеги мои бывшие, пытались удушить самую идею тракторостроения, в исходном положении удушить. Профессор К. на заседании Госплана при обсуждении наметок первой пятилетки запугивал — времени, дескать, не хватит выполнить этот план. Авторитетом своим давил. Получается, говорил сей ученый муж, такое впечатление возникает, что времени не хватит для того, чтобы выполнить все те проектировки, которые намечены. Особо профессор взял под обстрел планы по машиностроению. Задание необыкновенно колоссальное! Хотят (обратите внимание на эту ироническую манеру — будто речь идет о чем-то чужом, с чем он, профессор, не желает иметь ничего общего!), хотят выпустить сто тысяч тракторов, а в последний год пятилетки — чуть ли не шестьсот тысяч. А что, говорит, есть в действительности? Оказывается, первый (это про наш СТЗ), первый современный тракторный завод будет спроектирован только в конце этого года... Отсюда

резюме: времени не хватит переварить проект, организовать и строить завод. Этот самый господин был профессором МВТУ, до восемнадцатого года он работал в управлении по металлу. «Я ушел,— говорил он,— из этого управления, так как не хотел работать с коллегией из рабочих».

Инженер-металлург распахнул ворот рубашки, налил себе стакан остывшего чаю, залпом выпил.

— Между прочим,— сказал он,— почти такой же вопрос — хочу ли я работать с народом? — мне задал председатель ВСНХ. Его вагон стоял на заводских путях, в нескольких десятках метров от механосборочного корпуса. Я было начал рассказывать ему о себе,— мне казалось, что он должен все узнать от меня лично, а не из бумаг. Но Григорий Константинович Орджоникидзе остановил меня. «Об этом как-нибудь в другой раз,— сказал он.— Вы ведь хотите с нами работать?» И сразу же перешел к вопросам, связанным с производством металла... Мое глубокое убеждение: светлой, щедрой души человек!

— Да, щедрой души,— медленно сказал Ильин. И вдруг, словно вспомнив, смеясь, добавил: — Между прочим, считается «инквизитором по критике»...

— Это кто? — удивленно спросил металлург.— Орджоникидзе?

— Он, он! Калинин так именно однажды и сказал о Серго Орджоникидзе.

Ильин стал рассказывать: на Восьмом съезде Комсомола это было; одно из вечерних заседаний было посвящено проблемам культуры. К делегатам-комсомольцам пришли старые большевики.

Михаил Иванович Калинин начал размышлять

вслух: что́ надо воспитывать в молодом революционере? Скептицизм? Но скептицизм, сказал Михаил Иванович, разовьется самою жизнью — не беспокойтесь! А вот что надо в первую очередь развить у молодежи: творческое начало!

И тут Калинин обратился к опыту жизни Орджоникидзе, который в то время работал председателем ЦКК РКИ. Вот у нас Серго, сказал Калинин, по положению своему является «инквизитором по критике», он все дурное видит в увеличенном виде... А что Серго недавно говорил мне, Калинину? Нехорошо, говорит, только дурное видеть, не выносит этого коммунистическая душа, я хочу видеть и воспевать то творческое, что делается в нашем Советском Союзе... Вот вам диалектика, заметил Калинин, когда, жестоко критикуя, даже бичуя свою собственную деятельность, мы в то же время воспеваем творческую работу...

Инженер-металлург тяжело встал, шершавой ладонью провел по заросшему седой щетиной подбородку.

— Как это там, в песенке одной, поется: «Во неннт ман ди бестен намен...»

МАЯКОВСКИЙ — ДЕЛЕГАТ КОНФЕРЕНЦИИ

Ильин всегда был энергично устремлен в сторону открытий,— сейчас таким открытием была задуманная партийно-техническая конференция.

Выездная редакция «Правды» и партком завода были ее организаторами. В чем выражалась новизна этой интереснейшей конференции по узловым вопросам тех-

ники и науки производства, что принципиально важного она вносила в партийную и хозяйственную работу?

Завод явился исходной точкой изучения и обобщения технических и экономических проблем социалистического строительства. Заводские кадры получили возможность глубже анализировать свою работу; расширялось поле действия для теоретической мысли, сама теория связывалась с жизнью, клокочущей практикой хозяйственного строительства; рождаемые в цехах новый опыт, новые требования, новые проблемы, ранее бывшие достоянием узкого круга лиц, становились достоянием всех передовых людей завода.

Сперва к этой идее, зачинателем которой был Ильин, кое-кто на заводе отнесся с некоторым холодком.

Даже друзья Ильина с иронией говорили ему:

— Ты, Яков, фантазер, тронутый...

Он отвечал со смехом:

— Ну да, «тронутый»...

— Опять же,— наступали скептики,— возьми в соображение: никто никогда конференций по науке и технике на заводах не проводил!

Но и этим его нельзя было смутить. Ну что ж, действительно, не было до сего дня низовых конференций по проблемам науки и техники. А теперь они будут! И начало положит наш Тракторный завод. Кто сказал, что вопросы науки и техники — это прерогатива Академии наук, Госплана, ВСНХ? А теперь это будет стилем работы крупнейших заводов. И мы — первые!

Цеховики упрямились. План! Программа выпуска деталей!

Кто, спрашивается, кто же будет план давать, если добрая сотня инженеров и ударников начнет заседать на конференции, спорить на секциях?!

Да, разумеется, с программой трудно, но ведь весь смысл задуманной конференции именно в том, чтобы легче стало выполнять программу производства. Трудно было вчера, и, может быть, еще труднее будет завтра, когда мы подойдем к решающему этапу освоения проектной мощности. И тут, если хотите знать, сама конференция, ее деловая, с «загадом», мысль должна окрылить людей.

Надо сказать, что обычно Ильин побаивался произносить громкие слова. Он требовал от себя и от своих товарищей по литературному цеху самого осторожного обращения с такими словами, как «энтузиазм», «горение», «ударный труд», Но тут он твердо стоял на своем:

— Да, да, окрылить!

И сразу же, на первом совещании в партийном комитете, возникли десятки вопросов: программа конференции, состав докладчиков, а главное — как пробудить в широкой массе инженеров, техников и ударников интерес к новому творческому зачину? Теоретически, так сказать, ясно было: все должно быть основательно продумано, по-инженерски точно и деловито и, что очень важно, проблемно заострено. Долой шаблон, к черту шпаргалки! Мысли должны быть ясные, глубокие.

Меламед переглянулся с инженерской братией, насмешливо фыркнул: «Ясные и глубокие мысли?! А где их, синьор писатель, взять, эти остро отточенные мысли?.. Ведь мы еще и сегодня работаем на пределе.

Поймите, у нас нет никакого задела: ни в деталях, а тем более — в мыслях».

Инженер Симонов из механосборочного вдруг спросил: а, вообще говоря, нужен ли нам задел — задел деталей?

И тут же, в парткоме, вспыхнул яростный спор именно на эту волновавшую тогда всех, острую техническую тему — нужен ли задел на заводах массово-поточного производства.

Казалось, удивительные превращения произошли с директором и главным инженером, с начальниками цехов, участков, с работниками технических служб... Именно они, занятые бóльшую часть своего времени на производстве и, как говорится, заедаемые текучкой, неожиданно почувствовали острейшую необходимость задуматься, более пристально всмотреться в свою работу, коллективно обсудить, как говорил Ильин, «куда идет жизнь на СТЗ».

На этот раз Яков Ильин без всякого сожаления отодвинул на край стола свою рукопись — рукопись романа,— листы которой уже успели выгореть на волжском солнце.

Он весь ушел в работу по подготовке конференции: собирались силы, вырабатывалась программа, пошли беседы с докладчиками, началась работа над тезисами сообщений...

— В сущности,— лукаво говорил он,— я уже начал работу над одной чертовски заманчивой главой романа. Возвожу для нее леса...

И американских специалистов он втянул в работу.

Ну что, скажем, общего было между молодым Ильиным и американским специалистом-термистом Э. Бласко? Но вот, работая по подготовке партийно-технической конференции, Ильин сумел и Бласко и других американцев вовлечь в эту живую, столь нужную заводу работу.

Он с веселой усмешкой говорил: «А за что деньги мы им платим в золотой валюте, а? Пусть поработают на социализм...»

Американец Э. Бласко оказался на редкость общительным человеком. Придя к Ильину, он с порога обежал глазами маленькую комнату с гравюрой на стене, с грудами книг на столе и подоконниках, потом сбросил свою коричневую шляпу с загнутыми полями, протянул Якову руку, коротко спросил:

— Фирма?

— Газета «Правда»,— в тон ему телеграфным стилем весело ответил Ильин.— Москва, Тверская, сорок восемь. Основное изделие — слово! Word!

Американец пришел не один, его сопровождал худой, долговязый редактор «Искры индустрии» (английской газеты), ее издавали на заводе для иностранных специалистов. Запас русских слов у американца уже был немалый, и разговор с Ильиным пошел в хорошем темпе.

Инженер-термист пристально взглянул на этого горячего и вместе с тем очень молодого человека, который представляет здесь крупную фирму (основное изделие — слово!).

Он был весьма удивлен, этот деловой американец, когда Ильин предложил ему принять участие в работе партийно-технической конференции. Выступить, на-

пример, с докладом на избранную самим американцем тему.

— Меня действительно интересует одна проблема,— сказал Бласко,— качество сталей и термического оборудования. Но...

Инженер-термист вскинул голову. Он хочет понять, всерьез ли берутся русские за новое для них дело, намерены ли они глубоко овладевать современной высокой техникой. Или это,— Бласко осторожно улыбнулся,— вопрос престижа и политики?

Ильин засмеялся, порывисто протянул американцу руку.

— Бьюсь об заклад,— сказал молодой, длинноногий представитель фирмы «Правда», глядя прямо в глаза американскому инженеру-термисту,— я знаю, что́ мистер Бласко сейчас думает...

Американец не сразу уловил смысл его быстрых слов и вопросительно взглянул на Ильина.

— Bet?

— Да-да, bet! — сказал Ильин.— Пари! Мистер Бласко думает сейчас приблизительно так...— Ильин заговорил чуть медленнее, выделяя каждое слово: — «О, эти русские большевики! Какие упрямые люди,— они хотят всем навязать свои доктрины. Но производство всегда остается производством — оно имеет свои законы».

Американец заулыбался и вдруг с силой хлопнул молодого корреспондента по плечу. «Ну что ж, с ним можно иметь дело, с этим представителем фирмы «Правда»...» Он что-то коротко сказал переводчику и карандашом, зажатым в кулаке, описал в воздухе несколько витков. Худой, долговязый редактор «Искры индустрии» тотчас перевел:

— Вы, русские,— говорит мистер Бласко,— расточительны в материалах и в словах.

Ильин со вздохом согласился: да, этот грех, к сожалению, за нами водится. И тут же, встрепенувшись, добавил:

— Но мы, скажите ему, мы учимся быть экономными.

Его карие, с веселой искринкой глаза смотрели открыто, он ждал ответа.

Американец деловито заметил, что он сегодня же приступит к работе над тезисами доклада, который ориентировочно можно назвать так: «Стандартизация производства сталей и термического оборудования».

— Сэнк ю,— сказал Ильин.

— Спа-сибо,— серьезно сказал американец.

И как только дверь за американцем закрылась, Ильин радостно закричал:

— О'кей, ребята!

Неистово забарабанил ладонями по столу, потом отдышался, сказал:

— Помнишь, у Маяковского: американец думает только для работы. Американцу и в голову не придет думать после шести часов... Ну, а этот,— он кивнул на дверь вслед ушедшему американцу,— Бласко будет теперь и после шести думать. На пользу социализму, между прочим.

Ему близка была мысль Маяковского из «Открытия Америки»: в предчувствии далекой борьбы изучать сильные и слабые стороны США.

И, по-мальчишески радуясь, что В. В., как он сказал, В. В. Маяковский сейчас с нами на СТЗ, Ильин стал подбрасывать и на кончики пальцев ловить книжку не-

большого формата, в мягком, бумажном переплете, с броской обложкой.

— Гау-ду-ю-ду, мистер Маяковский!

И очень бережно положил на вершину книжной стопки томик Маяковского издания 1926 года. «Мое открытие Америки». Очерки поэта о поездке в США.

Теперь Ильин по целым дням не расстается с Маяковским. Небольшая книжка в мягком, бумажном переплете вместе с тетрадкой засунута за пояс ремня.

Яков Ильин завидовал поэту, его острому глазу, точности в наблюдениях. Он раскрывал страницы маленького томика:

— Слушайте, слушайте!

«Американцы строят так, как будто бы в тысячный раз разыгрывают интереснейшую, разученнейшую пьесу.

Подымается стройка, вместе с ней подымается кран, как будто дом за косу подымают с земли.

Оторваться от этого зрелища ловкости, сметки — невозможно».

А ведь здорово! — Ильин всей ладонью прижимает томик к груди.— Читаю и вижу Маяковского: стоит на земле американской и «глазами жадными цапает». Хо-ро-шо!

«Мне необходимо ездить,— писал Маяковский в своих очерках.— Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг».

В Детройте «живой вещью» был Форд и его заводы.

Ильин задумывается: каким же был тогда, в двадцать пятом, там, за океаном, Владимир Маяковский, шагавший по Соединенным Штатам Америки? («Ему

тридцать лет, он весит около 215 фунтов, у него смелое, суровое выражение лица»,— Нью-Йорк, газета «Уорлд».) Вот он стоит у заводской проходной в Хайленд-парке, русский поэт из Советского Союза. Высокий, прочный, с очень внимательными, далеко видящими глазами. («На фордовский завод шел в большом волнении».) Маяковский хотел понять: что такое фордизм? Читал Форда и о Форде. (Книга Форда, писал Маяковский, уже имеет пометки — 45-я тысяча; фордизм — популярнейшее слово организаторов труда; о предприятии Форда говорят чуть ли не как о вещи, которую без всяких перемен можно перевести в социализм.)

Быть может, поэт захватил с собою в поездку книгу Форда с предисловием одного нашего профессора, который сверхвосторженно расшаркивался перед Фордом и фордистами.

Маяковский делает подробные выписки из Форда, он как бы на ходу комментирует каждое фордовское положение своим ироническим словом.

Разумеется, в книге есть ценные, интересные мысли, но, как замечает поэт, «о них раструблено достаточно».

Теперь Маяковский увидел эту вещь — Форд и фордизм — в натуре. Он сжато записывает:

> (Пошли. Чистота вылизанная. Никто не остановится ни на секунду. Люди в шляпах ходят, посматривая, и делают постоянные отметки в каких-то листках. Очевидно, учет рабочих движений. Ни голосов, ни отдельных погромыхиваний. Только общий серьезный гул... За инструментальной, за штамповальной и литейной начинается знаменитая фордовская цепь: работа движется пе-

ред рабочим. Садятся голые шасси, как будто автомобили еще без штанов. Кладут надколесные крылья, автомобиль движется с вами вместе к моторщикам, краны сажают кузов, подкатываются колеса, бубликами из-под потолка беспрерывно скатываются шины, рабочие с-под цепи, снизу что-то подбивают молотком. На маленьких низеньких вагонеточках липнут рабочие к бокам. Пройдя через тысячи рук, автомобиль приобретает облик на одном из последних этапов, в авто садится шофер, машина съезжает с цепи и сама выкатывается во двор.)

Потом поэт стоял у ворот фордовского завода, смотрел на выходящую смену, запомнил и записал: «Люди валились в трамваи и тут же засыпали, обессилев».

На обратном пути, на безлюдии, как пишет Маяковский, он стремился оформить американские впечатления. Поэт обдумывает и примеривает — что можно взять для СССР из американской техники. Вот «задача каждого проезжающего Америками».

Ильин мысленно делает прикидку: поэт совершил свое открытие Америки в середине двадцатых годов. Сегодня на дворе год тридцать первый, пятилетие прошло с того дня, когда по американской земле прошел Владимир Владимирович, а мысли поэта, его живые наблюдения поражают и в наши дни.

Если поэт проявил такой жгучий интерес к индустриализации, если его волновало, что́ несет с собою лента конвейера, то нам, людям газетной прозы, сам бог велел этим заниматься. Человек и техника.

Вот кто нужен людям СТЗ: Маяковский! Хорошо бы

его сюда, на Волгу. Делегатом партийно-технической конференции. Владимир Владимирович отлично понимал такие вещи: лента конвейера, поток, индустриальные методы стройки, ритм сборки. Дать бы ему, Владимиру Владимировичу, слово: «Мое открытие Америки». А за Маяковским — сообщения наших инженеров: «Видели в США. Сделали в СССР».

На большом конвейере у Ильина был приятель, недавно вернувшийся на родину из Америки старый русский рабочий-эмигрант Новиков. Это был сухощавый белобрысый мастер с простоватым, добродушно-веселым мужицким лицом, иссеченным морщинами, которого, кажется, не могли переиначить и два десятилетия американской жизни. Он носил мягкое кепи с большим зеленым прозрачным козырьком.

Ильин с самым невинным видом вручил ему книжку о Форде, написанную одним нашим профессором,— ту самую книжку, о которой Маяковский упоминал в своем «Открытии Америки».

Хотелось узнать, чтó скажет Новиков, сверяя свои живые впечатления о Форде и его конвейере, с книжными, профессорскими.

Новиков, который столько лет проработал на сборке у Форда, вдруг читает такое:

«Игра на рояли, где участвует мозг, усилие пальцев и чувств, напоминает вам работу прогрессивной сборки на конвейере, где работа рук, вместо звуков, дает реализованный результат ритмической выделки, заставляя весь интеллект человека работать одинаково и без насилий. Поэтому нельзя сомневаться в интеллигентности этой работы, в противность доказательствам, что она автоматична и действует притупляюще на рабочего».

Когда через несколько дней корреспондент «Правды» зашел в цех, Новиков еще издали закричал:

— Ишь — рояль, говорит... Его бы самого к той рояли приставить!

«КУСОЧЕК БУДУЩЕГО»

Пудалов, технический директор завода, мгновенно уловил суть задуманного и активно включился в подготовку партийно-технической конференции. Крупный специалист машиностроения, он долгие годы работал техноруком на больших заводах страны.

В период реконструкции была такая должность — технический руководитель. Институт техноруков дошел и до дней первой пятилетки. Пудалов был на СТЗ сперва техноруком, потом — директором; это был очень вежливый, корректный, сдержанный человек. Казалось, ему даже трудно повысить голос. И вместе с тем он пользовался огромным авторитетом: «Что Пудалов скажет, то закон». Высокий и, несмотря на годы, стройный, с просторным лбом и седой бородкой, он приходил в заводоуправление всегда чисто выбритый, аккуратно и по тем временам элегантно одетый,— на нем, шутили цеховики, даже синяя полотняная куртка-спецовка сидит как смокинг.

Он, как и все на заводе, недосыпал, глаза были запавшие, усталые, и все же Пудалов урывал часы от своего отдыха и работал с Ильиным по ночам. На гладко отполированном столе Пудалов с Ильиным раскладывали листочки тезисов докладов и выступлений инженеров, мастеров, партработников, читали вслух,

поправляли, корректировали, вчерне набрасывая контуры предстоящей конференции.

Тезисы докладов писались на страницах ученических тетрадей или на служебных записках начальников цехов и технических служб завода, а то и на плотной, специальной выделки бумаге, идущей для прокладки в двигатели.

В одну такую ночь Пудалов признался Ильину:

— Опасался я тебя поначалу,— уж больно молодо ты выглядишь... Стреляющий какой-то!

Ильину же он читал, волнуясь и покашливая, тезисы доклада своего — «Мысли инженера СТЗ».

На СТЗ собрано все лучшее из того, что Америка создала за последние 25 лет. Но техническая мысль должна идти и будет идти дальше. Воспитываясь на первоклассных станках и изучая их детально, мы несомненно будем иметь в ближайшее время такое явление, что у работающих товарищей будут возникать новые мысли. Недолго нам ждать того времени, когда перестанем бояться автоматов или полуавтоматов, на которых скверно работаем; когда мы создадим сами еще более автоматизированное оборудование, путем нажатия кнопки приводящее в движение материалы, передвигающее детали с одного места на другое или соединяющее их.

Всем приходилось читать, как с берега управляют линейным кораблем, находящимся на весьма значительном расстоянии, или как автомобиль передвигается без участия шофера. Силою вещей мы должны будем пойти по пути все большего и

большего усовершенствования техники. Поскольку мы поставили себе задачей не только догнать, но и перегнать передовые европейские и американские страны, мы должны будем создавать такие машины, которые будут значительно опережать по своей производительности, по своему конструктивному замыслу все то, что мы сейчас у себя видим.

Новые нотки прозвучали на самой конференции. Даже на такой старый и так много поработавший в период строительства лозунг «Даешь трактор!» многие ополчились. Время другое. Делать трактор — вот что надо!

Один из инженеров, смуглолицый, в рубашке с закатанными рукавами, с выдвинутым, точно для драки, плечом, «взломал» спокойствие, когда заговорил о стиле работы.

— Это, собственно, узел всех наших проблем: умно, деловито руководить — сверху донизу. И я хочу в связи с этим напомнить вам одно здравое суждение одного американского делового человека. «Мы не терпим,— говорил этот неглупый босс,— не терпим администраторов, которые, вместо того чтобы давать указания рабочим, кричат и мешают делу». Истинное руководство, как правило, непретенциозно, и надо всегда стремиться так сочетать материал и машины и так упростить производственные операции, чтобы не было необходимости ни в каких приказаниях. До этого еще нам далеко. Но стремиться, но учиться надо сегодня! Учиться во всем — в большом и в малом!

Казалось бы, чего проще: останавливать весь меха-

носборочный цех не в один час, а разбить цех на отделы с интервалами, дающими возможность каждой части рабочих пообедать спокойно. Здесь ведь не нужно особое знание техники, здесь нужно только хотя бы некоторое свободное время и желание подумать. Главное — иметь возможность думать, ибо трудно требовать, чтобы мыслили люди, которые чуть ли не месяцами штурмуют в надежде личным нажимом ликвидировать те прорывы, которые возникают на производстве из-за недостатков организации. Но давно уже сказано: «Спазматическое барахтанье людей гениальных дает меньше, чем организованная работа людей обыкновенных». И как бы самоотверженно ни тратили все свои силы работники завода, но до тех пор, пока вся система управления производством не будет переключена на плановую, систематическую работу, на глубокую, вдумчивую подготовку работы, на предварительное обдумывание всех вопросов завтрашнего дня,— до тех пор никаких самых лучших людей не хватит на то, чтобы ежедневно ликвидировать те тысячи мелочей, которые внезапно возникают в производстве и, накапливаясь в сумме, вырастают в огромные величины. Нужно немедленно изменить весь подход к производству. Нужно, наконец, от узких задач сегодняшнего дня перейти к систематическому производству — начать *делать* тракторы.

Яков Ильин жадно слушает инженера, своими карими блестящими глазами он впивается в оратора, одобрительно кивает ему головой или бросает реплики, «задирает»,— одним словом, наслаждается этим замечательным размахом молодой инженерской мысли.

Какие интересные у нас люди!

Надо, чтобы эти деловые, горячего накала доклады и дискуссии дошли до Серго Орджоникидзе. Хорошо, что ведется стенограмма. Он ее пошлет или, еще лучше, сам повезет в Москву, в ВСНХ...

И сразу дерзкое желание появилось: все это взять и, как говорится, «живьем» перенести в роман. Потом в «Большом конвейере» мы читали страницы, написанные по живому следу конференции, которую Ильин так талантливо организовал.

В романе об этом размышляет Газган,— некоторые черты характера самого Ильина отлились в образе культпропа заводской ячейки.

«...У Газгана вспыхнула мысль — наивная, почти детская, от которой он сам улыбнулся: а что, рассердился бы старик или похвалил бы нас за нашу затею? Но ведь *он* работал над планом ГОЭЛРО, он писал заметки о газификации угля в шахтах, он говорил, что экономист должен всегда смотреть в сторону развития техники... Это бесспорно. Партия может (и обязана!) заниматься на своих конференциях специальными техническими и производственными вопросами».

Поздно ночью мы перебрались на лодке на песчаный остров, купались, потом жгли сушняк и долго-долго, чуть ли не до рассвета, глядели на притихшую Волгу, на огни завода и взлетающие искры от нашего костра.

Ильин говорил негромко, будто с самим собою беседовал:

— ...Я благодарен Тракторному за одно то, что он перевернул мои понятия о технике, что он открыл мне «кусочек будущего»... И если говорить прямо и просто,

то, боже мой, какие мы были раньше мануфактурщики, проповедники ремесленного конвейера! Как будто сто лет прошло, когда я, смиренный раб газетный, увидел на «Красном треугольнике», потом на «Скороходе» полотняную ленту, которая казалась мне чудом двадцатого века. Да и статья моя «Лента и цепь» — это, собственно, лепет, это просто-напросто восторженный лепет начинающего индустриалиста. Помнишь — «10 л. с.»? Замордованный конвейером рабочий и во сне скребет руками по одеялу, делает ночью те же движения, что и днем на ленте. Он, по выражению американцев, уже «годен для ничего»...

— А мы — мы еще не начали собирать машины на ленте конвейера, а уже нашлись свои доморощенные философы, которые стали припугивать: «Смотрите, этот железный пастух — принудительный ритм — поработит человека! Свяжет человеческую мысль, сделает ее штампованной, с жесткими допусками». Если вдуматься в ход вещей, то, по существу, конвейером наново ставится глубочайший и волнующий вопрос — о машинах и людях. Ведь все новые заводы — в Нижнем, в Челябе — строятся по принципу непрерывного потока.

Но настоящего изучения новой техники, важнейшей проблемы — человек и машина — у нас до сих пор нет. Философы жуют жеваное-пережеваное, писатели перестраивают свои ряды, а мы, служители газетной однодневной музы, шныряем по поверхности...

С реки потянуло холодом, Ильин накинул на плечи куртку, помолчал и вдруг засмеялся.

— Ты чего?

— Да вот — вспомнилось... Форд замахнулся на нашу Волгу... Сам ли Форд это сказал или кто-то за него, но так или иначе в книге его жизни детройтский редактор Бенсон записал: земля — «лучший кусок сырья в мире». Псалмопевцы Форда говорят почти библейским языком: «Мозг Форда остается в Соединенных Штатах, но мысли его бродят по всему свету». Всюду, где плохо используется водная сила, глаз Форда тут как тут. Безразлично, проносятся ли эти воды рекою Теннесси или Волгой,— слышишь, Волгой! — Амазонкой или Янцзы... Потеря всегда остается потерей. В своем движении от строительства автомобилей к организации мира Форд похож на великана, который смело нащупывает путь в тумане, ища груз, достаточно большой для своих сил...

Я спросил Ильина: интересно, а чем занят сейчас ум нашего «железного бригадира»?

Ильин не сразу отозвался.

— Все тем же,— сказал он тихо.— Пишу урывками и все мечтаю: эх, дорваться бы до настоящего письма, когда ничто газетное не давит, не стоит над душою! Ну, а если...

— Что «если»?

— Увижу, что не по мне ноша...

Он рывком вскочил на ноги, сердито и весело проговорил:

— Пойду в грузчики! И тогда прости-прощай литература!

Мы возвращались с Волги на рассвете, вместе с потоком рабочих первой смены влились в проходные ворота, ведущие на завод с нижнего поселка.

Ильин уверял, что завод музыкален. («Да, да, не смейся, музыкален, нужно только уметь различать разные мелодии и голоса. Они по-своему звучат утром, в полдень, в часы вечерние».)

Земля будто оседала под ногами — это в кузнице, выдерживая свой ритм, давали о себе знать тяжелые молоты. Из раскрытых дверей механосборочного накатывался гул запускаемых моторов.

«ИДИ ЗА МНОЙ!»

Неистовой силы энергия, молодое, веселое трудолюбие, любовь к выдумке, к смелому почину — все это так отвечало натуре большевистского юноши.

Его на все хватало — и газету выпускать на заводе, и листовки-«молнии» редактировать, и техническую конференцию проводить, и в «Правду» писать, и направлять работу бригады, и неустанно думать о своем, работать, писать «Большой конвейер».

Мысль о том, чтобы поделиться своими планами и, кто знает, может быть, почитать Алексею Максимовичу страницу, а то и целую главу из рукописи будущего романа, пришла Ильину в одну из встреч с Горьким.

Но не сразу удалось ему реализовать свой дерзкий замысел.

Горький...

Кто-то из наших ученых сказал о нем: если бы некий биофизик смог сконструировать такой аппарат — конденсатор энергии, который суммировал бы творческую энергию Алексея Максимовича, то этот аппарат

мог бы привести в движение неисчислимое количество двигателей.

По самой сути своей деятельности Горький и был «двигателем двигателей».

В двадцать восьмом году Алексей Максимович Горький приехал в СССР, приехал из Италии — будто солнцем прохваченный — и сразу же с поразительным размахом, с нарастающей энергией, поистине громоподобно обрушил на нас свои идеи, проекты, замыслы.

Все лето того года Горький провел в пути.

В Баку, на нефтяных промыслах, встретились рабкоры, молодые писатели с Алексеем Максимовичем. Кто-то послал ему записку. Вопрос: что должен знать писатель?

Горький прочитал записку вслух, помолчал, и тут вдруг за него ответил один красноармеец:

— Писатель обязан знать все!

Бурной, деятельной жизнью жил Горький в эти годы — годы первых пятилеток. Его тянуло к людям, изменяющим мир. Неустанно, с поразительным чутьем он искал талантливых людей.

Вот где-то «на краю земли», на Севере, он встретился с человеком, который с увлечением поведал ему о своем маленьком, но весьма нужном деле. О, это человек! Из прекрасной породы «схваченных делом за сердце».

В Куряжской детской трудовой колонии Горький «нашел» Макаренко. Удивительный человечище этот Антон Макаренко! Вот набросок портрета, сделанный Горьким после первой же встречи с Макаренко:

«Он — суровый по внешности, малословный человек лет за сорок, с большим носом, с умными и зорки-

ми глазами, он похож на военного и на сельского учителя из «идейных».

К этому человеку и его работе Горький особенно пристально присматривался. И буквально «вцепился»! Горького захватила правда метода, поучительность опыта Антона Макаренко. Надо, чтобы он написал книгу! Книгу, которая должна внедрить и укрепить макаренковский метод воспитания детей. И вскоре Антон Макаренко на себе испытывает горьковский «нажим и невиданной энергии помощь».

Так рождается «Педагогическая поэма» А. С. Макаренко — одна из самых потрясающих книг о нашей жизни!

Через руки Горького прошла первая статья шадринского полевода Терентия Мальцева. Алексей Максимович напечатал ее в журнале «Колхозник». А началось мальцевское с пакетика отборных зерен пшеницы...

Какое великолепное, чисто горьковское, мастерство — искать и находить людей, в которых есть заряд будущего!

Сергеев-Ценский хорошо подметил этот присущий Горькому могучий пафос вторжения в жизнь.

(«Говорил ли я, например:

— Познакомился я с одним рисоводом; представьте, надеется разводить рис под самой Москвой.— Алексей Максимович тут же отзывался на это:

— А? Это на реке Яхроме? Знаю, как же!

Говорил ли я о том, что один старожил нашел в Крыму месторождение шестидесятипроцентной и совсем не пылевидной руды, Алексей Максимович поднимался легко и быстро, подходил к шкафу, доставал

оттуда увесистый кусок железной руды и клал передо мной:

— Вот она! Уже добывают!»)

Ему тесно в рамках только одной литературы,— человек громадной энергии, он устремляется во все области строительства социализма. Читаешь его проекты, планы, его письма к ученым, рабкорам, писателям, конструкторам, колхозникам — и проникаешься величайшим уважением к этой невиданной страсти ломать старое, толкать, давать зачин, утверждать новое.

Как он широко брал жизнь, наш Алексей Максимович!..

Он занимается подсчетами: какие кадры нам необходимы? Тысячи научных исследователей, десятки тысяч медиков, инженеров, агрономов, учителей, сотни тысяч высококвалифицированных рабочих.

«Нужно построить Ангарстрой, Волгострой, оросить приволжские степи и вообще все засушенные места».

В одном письме Алексея Толстого к Горькому мы находим такие строки:

«Около Вас — хочется жить, около Вас жизнь приобретает особые формы — большие и устремляющиеся».

Горьковское «чувство жизни» приходило к нам вместе с его письмами — из Сорренто или Москвы,— звучало на газетных столбцах, запоминалось, внедрялось в наше сознание.

Читаешь его письма тех дней:

> Приехал с Урала один рабочий — восторг, а не человек! Ну, и создает же русская жизнь людей — ах, как хороши!.. Жизнь есть любимый

труд,— как вы думаете?.. Человек мучительно интересует меня, не дает мне покоя, желает, чтоб я его хорошо понял и достойно изобразил... Я — человек жадный на людей... Вообще же наша Русь — самая веселая точка во Вселенной...

Алексею Максимовичу страстно мечталось работать широким писательским фронтом, дружной артелью. Человек советской формации покорил его воображение. Писатели старшего поколения хорошо помнят, как он не раз подбивал, то в Москве, на Малой Никитской, то на веранде подмосковной дачи в Горках, подбивал молодых сотоварищей по литературному цеху — писать научные исследования о советском характере. Павленко рассказывал, как на одной из таких встреч с писателями старый мастер задиристо говорил: «Был бы я помоложе, написал бы книгу портретов. Тридцать или, скажем, пятьдесят. Отборных. И всех бы вас, молодых, обогнал. Догоняйте!»

Называли эти встречи у Горького «академией узнавания». В атмосфере душевного горения в академии у Горького рождались планы и проекты новых идей, смелых замыслов литературного и научного свойства.

Среди могучих начинаний, несущих в себе «заряд будущего», свое, особое место занимает идея создания «энциклопедии нашего строительства».

Душою этого удивительного по размаху почина — люди труда должны писать историю своих заводов и фабрик — был Алексей Максимович.

Осенью тридцать первого года в письме из Сорренто к Ромену Роллану Горький делится задуманным и на-

чатым в России — свою новую поездку в Союз Советов он определяет «поездкой работника».

«Удалось организовать несколько литературных предприятий, из них особенное значение я придаю «Истории гражданской войны» в 15-ти томах и затем «Истории фабрик», которая должна дать полную — насколько это возможно — историю роста промышленности и рабочего класса».

Широту и размах задуманного можно видеть по горьковской наметке. Первая очередь — история 102-х заводов.

Отлично помню, как мы с Ильиным читали и перечитывали вот эти страстные горьковские строки:

> Как же случилось, что вот эта отсталая страна вдруг стала самой яркой точкой на земле, что на ней сосредоточены внимание, симпатии и надежды пролетариев всех стран? Как случилось, что затравленный, замученный народ вдруг встал на ноги и пошел — один, первый — к великой цели пролетариата всего мира? Как развилась и выросла эта сказочная энергия? Сколько усилий затрачено рабочим классом старой царской России для того, чтобы создать из плоти и крови своей партию большевиков, аккумулятор его энергии?
>
> Вот это обязана знать наша молодежь, и на эти вопросы обязана ответить ей «История заводов».

А завершалась статья энергичным призывом Мастера: «За работу, товарищи!»

На зов Горького откликнулись писатели — с именами и еще только обретающие свой почерк, упрямо ищущие главную свою тему в жизни и литературе.

Яков Ильин не остался в стороне от горьковского потока идей — он сразу же примкнул к отряду писателей, ученых, партийных работников, которые сплотились вокруг Алексея Максимовича.

С ним, собственно, случилось то, что так часто происходило с теми, кто в те годы встречался с Горьким: слушая Алексея Максимовича, молодой Ильин полностью отдавался «ворожбе его речи», заряжался электричеством горьковских идей.

В «академии узнавания», Малая Никитская, 6,— адрес этот был хорошо знаком ученым, писателям, инженерам, философам, рационализаторам, ударникам,— услышал Ильин, то ли от самого Алексея Максимовича, то ли от его друзей, об одной заманчивой идее Мастера. Задумал Алексей Максимович серию небольших брошюр под общим названием «Иди за мной!».

Молодежь по природе своей романтична — вот и надо, чтобы стремление ее к познанию жизни было полностью удовлетворено.

Люди большого масштаба, специалисты своего дела, влюбленные в науку, в мастерство, засядут за работу, каждый напишет по своему влечению нужную брошюру, поведает студентам, молодым рабочим, крестьянам самое интересное о себе и о своем ремесле... Увлечет молодого человека: иди за мной!

И вот уже голова Ильина полнится планами, щедро зачерпнутыми в «академии узнавания», молодой правдист на разные лады произносит то голосом звон-

ким, мальчишеским, то низким, густым, в подражание Горькому: «Иди за мной! Иди за мной!»

Вот эта настроенность на «горьковскую волну» высекала в душе Ильина страстное желание создать книгу о современнике, о Человеке Пятилетки. Работать артелью — писателям, журналистам, рабочим, инженерам. Писать биографии, портреты людей Тракторного, начиная историю, например, с биографии плотника Солнышкина, который забивал первые колышки в степи на размеченной геодезистами строительной площадке...

(Потом в романе «Большой конвейер» эту мысль выразил культпроп партийной ячейки Газган: «Если бы я был художником слова, я бы дал десятки, сотни портретов различных людей нашего поколения, я бы дал портреты ударников, инженеров, партработников, лицо ведущего класса».)

Когда работник «Правды» Яков Ильин встретился с Горьким и рассказал ему о стройке у Волги, о муках освоения новой техники, старый Мастер загорелся: вот о чем надо писать!

Он жадно расспрашивал: это где же Тракторный, за рекой Царицей? Постойте, постойте! Но ведь он же сам видел этих ребят — первых строителей, видел на месте действия, в приволжской степи, тогда они только начинали, и трудно было вообразить себе, что будет здесь в будущем.

...В заводской редакции «Даешь трактор!» на стене висел газетный портрет Алексея Максимовича. Горький на Волге — карандашный рисунок, напечатанный в газете «Борьба». Характерный поворот головы. Чуть поднятая в изломе бровь — Алексей Максимович смотрит весело, чуток посмеивается. Выделяются руки. Горький

сидит боком, чуть подавшись вперед, словно ведет с кем-то живую беседу. Собственно, так оно и было: приехал Горький на Волгу в августе и сразу же попал в руки тракторостроителей.

— А нуте-ка, покажите план стройки... Давайте сюда строителей — пусть расскажут, на что замахнулись: способны ли оковать пустыню железом... А железа хватит? А энергии? Должно хватить? Это хорошо! Завтра, работяи, я побываю у вас на Тракторном...

На другой день он поехал на старый металлургический завод «Красный Октябрь», оттуда дальше в степь — на новостройку.

Да, Тракторный жил в емкой памяти Мастера. А тут вот пришел молодой партиец-большевик с такой заманчивой идеей — коллективом, артелью делать книгу... В этом правдисте в синей косоворотке буйствовала энергия пропагандиста и организатора. Еще идет борьба за каждый трактор на большом конвейере, а он, комсомолец этот, охвачен чудесной жаждой писать историю завода. Писать сегодня, пока все живет в памяти людей. Завоеванное должно быть записано.

Возможны самые разнообразные формы в творчестве. История людей одного завода, тридцать или сорок отборных биографий — сама эта задача была Горькому по душе, по духу. Он такие «громоподобные» вещи любил.

Щедрая и добрая на почин горьковская рука «подтолкнула» молодого литератора. Всем молодым своим сердцем Яков Ильин отдался делу создания такой книги, которая будет историей завода, историей глубоко волнующей, ибо события ее происходят на глазах современников...

Яков Ильин много дней находился под впечатлением этой встречи с Мастером: «Ребята, Горький — за!»

Вербуя писателей, журналистов — энтузиастов артельной работы, Ильин глуховатым, окающим голосом на все лады повторял слова Мастера: «Отличная идея! Очень-очень одобряю ваше намерение».

А мы все наступали на Якова, требовали от него — в мельчайших подробностях поведать нам еще и еще свою встречу с Горьким.

— Одному бородатому писателю,— вспоминал Ильин,— А. М. сказал: «Вас, очевидно, хватит надолго и на многое...»

— А тебе?

Ильин медленно сказал:

— Только слушал.— Яков оживился, глаза засверкали.— И надо сказать: великолепно слушал! Расспрашивал про комсомольские дома-коммуны, заинтересовался, что они собою представляют, эти «музыкально-чуткие дома»... Все удивлялся: что за дерзкий — всепоглощающий! — народ эти семитысячники! Станки — черти драповые! — ломают, и при этом — вот что поражает! — совершенно изумительное, почти романтическое отношение к технике...

ПОИСКИ ФОРМЫ

Долгими были поиски «формы» будущей книги. «История завода». В самом этом слове — история! — было заложено что-то солидное, вековое. А на СТЗ — история, можно сказать, стоит прямо перед глазами.

За плечами завода — несколько строительных лет, идет второй год жизни СТЗ.

В нашей артели бытовало веселое присловье: «Да, заварил, заварил старик кашу!..»

Этому предшествовала — в духе Мастера — одна, очень занятная, история. В Ленинграде в издательстве художественной литературы в октябре тридцать первого года состоялось совещание — о приемах и формах работы над материалом по истории заводов. Стенограмма совещания попала на глаза Горькому,— по его словам, она «воспроизводила несколько очень длинных речей».

«Речи эти,— писал Алексей Максимович,— должно быть, утомили участников собрания, и в конце его один из них, вероятно, шутя сказал: «Горький заварил кашу, а мы расхлебывай ее». Шутка — хорошее дело, но «ничто не возникает без основания, почему оно возникло», и на эту шутку я должен ответить. Извиняюсь,— как говорят вежливые люди,— но «кашу заварил» не я, заварило ее стремление рабочего класса к самопознанию, то есть к познанию своего исторического прошлого, что совершенно необходимо для освоения смысла событий, творимых в настоящем, и уяснения прямых путей к целям будущего».

Писать историю завода, разумеется, дело трудное, сложное.

И все-таки «горьковская каша» была очень вкусная, «расхлебывать» ее — записывать Историю, которую делают тысячи людей на берегу Волги,— было захватывающе интересно.

Ядро бригады, или, как ее любил именовать Ильин, артели историков, состояло из правдистов, работавших

в выездной редакции на Тракторном с весны тридцать первого года[1].

Как мы строили свою работу?

Поначалу это было широкое накопление материалов, черновая работа на подступах к будущей истории, которую надо записать. Добровольцы историки — рабкоры, инженеры, экономисты, статистики — дружно работали над хроникой событий заводской жизни. Газетные вырезки, приказы по стройке, стенограммы технических дискуссий, объяснительные записки к проекту завода, переписка с иностранными фирмами, метеосводки погоды, особенно в зимний период строительства, фотографии, стройки, монтажа, пуска завода, сводки движения деталей и узлов, суточные сводки работы конвейера, портреты ударников, первые договоры социалистического соревнования, первые рассказы самих строителей, рабочих-ударников — о себе, о стройке, о заводе.

Так создавался «фонд фактов».

Так постепенно мы стали нащупывать композицию будущей книги.

ЛЮДИ — ЗАВОД — ИСТОРИЯ

Письмо Ильина из Артека в Сталинград как бы вводит нас в атмосферу работы нашей бригады, артели писателей-историков. Он писал мне:

---

[1] Состав бригады, которая работала над коллективной книгой «Люди Сталинградского Тракторного» на протяжении почти трех лет, естественно, менялся. Но неизменным был ее главный костяк: Я. Ильин, В. Соловьев, А. Эрлих, С. Цмыг, Н. Вигилянский, Б. Ялгинг, С. Томарченко, Б. Галин.

Лагерь Артек, 4. V. 32 г.

Бориска! Письмо твое, как и полагается артекскому отшельнику, прочел три или четыре раза и знаю теперь наизусть. Да, друзья, составление истории СТЗ бригадой «правдистов» — дело прекрасное. Я написал сегодня подробное письмо в редакцию. Вот сводка моих предложений.

1. Надо на месте с В. Соловьевым[1] составить своего рода *инвентарную опись основных событий в жизни завода,* которые обязательно должны быть отражены в нашей книге.

Пример: съем пятитысячного трактора, тактика наращивания «по-одному», роль заводских руководителей — Иванова, Мозгалова, Грачева, Михайлова. Приезд Серго Орджоникидзе.

2. Продумать список заводских работников, *планово* привлекаемых к сборнику (перечислить — кого в какой раздел).

3. Проводить беседы со стенограммой (здесь не надо усердствовать — опыт показал, что стенограммное сырье часто плохо поддается обработке).

4. Отработать хронику событий — по ней легче выверять всю книгу. Знаешь, как бывают приложения к разным историческим работам.

Далее — нужны свободные руки в политической оценке прошлых и нынешних деятелей завода. Свободные — понятно — не от пролетарской цензуры, — а от всяких местных счетов. Не делать «божков» из заштатных, «заурядных людей» и не

[1] Бывший редактор «Даешь трактор!».

гадить на голову людям сто́ящим, но не ладящим с тем или иным руководителем завода.

Итак:

имея канву — хронику событий (с 1926 года, со дня постановления о строительстве и до нынешнего дня);

собрав материал путем литературных записей, воспоминаний (устных и письменных) — нашей задачей, задачей организаторов книги, является:

правильно расположить материал;

обеспечить в каждом разделе квалифицированный очерк-статью, не только обобщающий рассказы рабочих, но и выкладывающий *новые факты и наблюдения* («правдисты»!);

освободить книгу от крика, восторженной дребедени и вообще — без «даешь»;

следить чрезвычайно тщательно за языком;

стремиться создать в ходе работы ряд ярких автобиографий (типа Сазанова, Кирилловой, Кубасова и др.);

сделать весь сборник логически ясным, исторически-последовательным.

Горячий привет всем сталинградцам. В июне приеду тебе на смену — обязательно. От берега я оторвался и в море ушел далеко, но до противоположного берега, Борька, ой как еще не близко! Пока все идет хорошо, но мой «Конвейер» дьявольски разрастается...

Книга, действительно, идет «из меня» — за счет и без того ослабленного болезнью организма. Но зато главу я написал такую, за которую не жалко отдать и пять кг. «живого веса». Сейчас делаю пе-

редышку, чуть отдохну, потом возьмусь снова за работу. Глава эта — о наших инженерах в Америке, о их жизни и спорах, о конференции хозяйственников в Москве, о речи Сталина 4 февраля 31 года и вообще — предыстория завода до мая месяца. Взял такой бешеный разгон, что у самого дух захватило. Если выдержу (физически) и сведу концы с концами — то, кажется, будет стоящая книга. И все становится как-то объемней, выпуклей, ярче. Вытяну! Только бы не заболеть. Сейчас пишу тебе после работы — голова кружится. Только бы сколотить эту огромную машину, так чтобы в ней не было рыхлости!

Ты знаешь, от долгой работы стало даже сводить руку. Но настроение чудесное — я бы год безвылазно жил здесь и работал. Давай спишемся, где встретимся, мне очень хочется прочитать тебе написанное. Я буду в Москве 2—3 июня, числа до 10-го все перепечатаю и выправлю, и тогда можно будет читать.

Привет Кате Строговой. Как она? Чем дышит? Как Ваня Бобрышев?

Нашим заводским — Томарченко, Цмыгу и Степанцову — пожми за меня лапы.

Да! Начал читать «Поднятую целину». *Жизненна*. Очень нужна. В ней вкус жизни есть.

...О первой пятилетке мы еще сами напишем немало. Это самые важные годы в истории революции. После «Конвейера» сажусь на пять лет за «Поколение». Но так же, как ты не узнаешь «Конвейера», ты не узнаешь и нового плана «Поколения». В общем, как я думаю — мне работы хватит

до 110 лет. Пока нужно еще 3—4 месяца, чтобы доделать «Конвейер».

Жму руку! *Твой Яша.*

Это Косарев заставил Ильина ранней весной уехать к Черному морю, в пионерский лагерь «Артек». Проводил и дал наказ: «Пиши, Крылатый!»

Ильин смеялся: это верно, остаётся только сесть к столу и работать — писать, писать.

Он поселился на горе, в фанерном домике, установил для себя жесткий режим, редко спускался к морю, работал до одурения. И только знакомые вожатые иногда врывались к нему в зеленый фанерный «кабинет» и вытаскивали на свет божий. Больше всего он любил ходить на большой костер, который зажигали по вечерам на широкой поляне. Он сидел иной раз до рассвета на камне, сцепив руками колени и глядя на языки огня, на искры, взлетавшие к небу.

Из Иваново на короткий срок приезжала Северьянова; Ильин был счастлив — последние три года они так редко виделись. «Семья почти в полном сборе!» — весело говорил Ильин, радуясь встрече с «моим чудесным секретарем обкома».

Потом Северьянова уехала в свое Иваново — и туда полетели письма Ильина. Он весь в этих письмах-записях — со своими раздумьями, жарким желанием шире взглянуть на мир.

Доченька, родная! На другой день после твоего отъезда я обошел все те места, где мы гуляли вместе. Как хорошо мы прожили эти дни! Весь день 19-го я не мог еще освоиться с своим новым

положением (ты права оказалась в открытке — мне надо было создавать новый режим дня) и лишь вчера 20-го начал писать. Сначала шло туго, через силу, но потом разошелся и набросал вчерне «болезнь Селиверстова» (так я зову Михайлова, председателя ВАТО и директора завода, умершего на СТЗ). Сегодня утром доделал — кажется, вышло не плохо. Начал другую главу, и снова идет туго-туго. Несколько раз бросал и снова принимался и сейчас только отложил, чтобы написать тебе письмо. Это самая сложная часть — о ней мы с тобой говорили: соревнование. Я нарочно тороплюсь *записать* (именно записать!) все *вчерне*, с тем чтобы потом весь месяц использовать только на одну отделку рукописи.

И надо тебе сказать, дочка, по совести, что только книга могла хоть отчасти мне возместить твой отъезд. Стало как-то так пустовато вокруг. Ни с кем встречаться неохота — ты занимала столько места в моей жизни, что твой отъезд иссушил весь день...

Как я ни нежен тогда, когда ты со мной рядом,— я, оказывается, во сто крат нежней к тебе отношусь, когда тебя нет. Это не парадокс, это факт,— но из этого отнюдь не следует, что нам лучше жить врозь.

Вчера часов в 10 вечера я пошел перед сном погулять — было совсем светло, и мне так захотелось, так захотелось быть с тобой вместе, бормотать давно известные друг другу слова и целовать украдкой в аллее, где потемней, и глядеть на тебя. Ах, Нюрка, Нюрка! Может, и разъезды наши име-

ют свою прелесть, заставляя нас еще больше ценить дни, прожитые вместе... Но «близок день и ясен путь» — два месяца работы, и потом снова вместе!

...Переезжаю в новую комнату, наверху, над лагерем. Комната там как монашья келья — стол, кровать, табурет. Но я живу сейчас по-монашески и рад уединению и работе — и только по тебе и по дому тоскую...

Все же я дождался своего! Перед обедом так уж на авось зашел в контору, и мне передают два письма от тебя и от Геннадия Каменского. Ну, я, понятно, от конторы до столовой — обычно я шагаю 8—10 минут — шагал минут сорок и дорогой перечитал некоторые страницы по три раза. Понял, понятно, все: и твои волнения, и усталость, и желание поддержки, и то, что возле тебя никого, кто бы мог помочь тебе...

Дочурка, сначала два деловых замечания...

Процент отсева из комсомола по Гусю Хрустальному и по другому району — 35% и 53% — показывает несомненно болезненное и запущенное состояние этих организаций. Туда надо послать сильные бригады и выяснить корни такой большой утечки. Не мешало бы одного из секретарей райкомов или заворгов снять с работы с оглашением в печати за обман и очковтирательство (приписка членов во время роста).

Если можешь — пришли тезисы (краткие) своего доклада на пленуме обкома партии, я постара-

юсь их пополнить своими замечаниями и отослать тебе их в тот же день. В работе над докладом к конференции я помогу тебе обязательно. Числа 3-го июня я вернусь в Москву,— хорошо бы тебе туда заехать на 2-3 дня, вместе просмотрим доклад.

Посылаю тебе очень плохую карточку,— я выгляжу стариком ссохшимся и ехидным. Не брился целую декаду, и потому лицо вытянулось — стало еще худей (и хужей) обычного.

Последние дни работал хуже. Но сделал в Артеке многое. Написал о периоде строительства, о молодежи и — представь, очень лирически.

В следующем письме подробный отчет по дням — о своей работе. Прости за спешку и сухость. Стоят вожатые над душой, трунят, посмеиваются. Отгоняю — не помогает...

Доченька! Тут, на юге, есть такие дикие утки — их называют «нырками». Они вот плавают на поверхности, а потом нырнут и их долго-долго не видно. Так и я вот как эти «нырки» — плавал, плавал на поверхности жизни, а потом как нырнул в книгу и так долго в ней пробыл, не вылезая на поверхность, что чуть было не задохся. Не ругай меня за то, что я мало писал тебе эти дни. Пойми, дочурка, я так много работал, что у меня рука к концу дня переставала действовать и при виде бумаги, ручки и чернил мне хотелось бежать на Аю-Даг и прыгать в море.

Пришлось заменить письма к тебе — устными разговорами с тобой. Я шел под вечер или после

обеда гулять и брал (мысленно) тебя с собой. Я рассказывал тебе, что я написал, как идет работа, жаловался, что чем больше работаешь, тем кажется еще больше работы впереди, иногда, увлеченный, хвастал, что книга бьет в самую точку, расспрашивал тебя подробней о твоей работе, о конференции, об общественных делах. Мы вспоминали с тобой вместе Гальку, и я, придя домой и посмотрев снова на наш портрет (троих), садился работать — я ведь дал тебе слово вернуться с книгой.

Ты знаешь, доченька, я до того уставал, что иногда по два дня не мог прикоснуться к бумаге. И вместе с тем кажется — никогда еще в жизни не было лучше мне работать, чем сейчас. Я все еще снова и снова работаю над второй главой книги (период строительства и пуска) — одна из главных в книге. Без нее книга была б на костылях. Эта главка мне обошлась в три кг. Черт с ними! Я чувствую себя прекрасно — а без этой главы я не мог бы и шагу ступить дальше...

Я почти ничего не читаю и, наверное, заработался бы, но подобралась хорошая компания, которая вытягивает меня на люди.

Сейчас сделал перерыв — рука устала — и перечитал два последних твоих письма. Очень благодарен тебе за новости — они дают мне возможность чувствовать пульс жизни во всей стране. То, что ты пишешь о живой работе Носова [1], меня

---

[1] И. П. Носов — тогда секретарь Ивановского обкома партии.

радует — я «ненавидел» вашу область за то затишье и затхлость, которые одно время были в ней; я это особенно остро ощущал после Сталинграда, Донбасса и поездок по другим областям Союза...

Решил твердо: все другое бросаю — пока не выпущу в свет книгу. Что бы мне ни говорили другие, пока я сам не чувствую, что *вышло*,— я работой остаюсь неудовлетворен. Вот почему пять лет я заполняю стол набросками, статьями, планами и незаконченными романами. Давать продукцию надо хорошую, а не среднюю. Сейчас же я уж в ящик это не сложу! Весь опыт, накопленный за последние годы, я реализую в этой книге. И тебе за каждую ее страницу, за каждую удачную фразу, мысль, главу посылаю тысячи объятий. Ибо ты со мной, ибо ты живешь в ней (не буквально портретом, а ты — как товарищ в работе, как лучший и любимый человек). Пока, родная! Целую, обнимаю, жду.

Як.

Лагерь Артек, 20.V.32 г.

ВЧЕРА БЫЛ У ГОРЬКОГО

Он приехал из «Артека» в начале июня, худой, черный, сияющий: в потертом портфеле, перетянутом ремнями,— рукопись романа. Так мечталось: только бы

не оторвали от стола, только бы дали завершить работу!

Но Москва, родная газета, главная редакция «Истории заводов», наконец, просто друзья и товарищи сразу закружили «артекского отшельника»,— всем хотелось его видеть, у всех было дело к нему.

> Москва затормошила меня,— писал он Северьяновой в Иваново,— беспрерывно ходят люди, звонят, расспрашивают — черт знает что! Я недосыпаю, не работаю, не читаю — хожу, рассказываю, слушаю, и день нанизывается на день, и вот уже скоро десять дней, как я в Москве. Вероятно, 16-го я к тебе приеду, не успев перепечатать рукопись, буду ее доделывать у тебя в Иваново.
>
> Вчера был у Горького — рассказывал о «Конвейере» — и принял и слушал очень хорошо, увлекся моим рассказом о заводе и все говорил: «Здорово, очень здорово,— если вы так написали, как рассказываете,— волнующая книга будет!» На редколлегии «Правды» решается обо мне вопрос — Горький обещал поддержать мое ходатайство о длительном отпуске. Теперь, как говорится, дело только за мной.

Десятого июля Яков Ильин понес к Горькому рукопись своего романа, вернее, несколько глав «Большого конвейера». Он со страхом и трепетом в душе отдавал на суровый и требовательный суд Горького свою работу, отдавал, как и многие писатели, с одной только просьбой — «выслушать сделанную вещь, простукать, потрясти ее хорошенько».

Уважаемый Алексей Максимович!

Посылаю Вам несколько глав из второй части моей книги о Сталинградском Тракторном заводе. Отобрал я главным образом те главы, о которых рассказывал 10/VI, когда был у Вас на Спиридоновке. Прочитав их, Вы сможете сличить, как они написаны, с тем, как они были рассказаны. Эти главы — пока только еще эскизы к задуманному роману, наброски акварелью, но еще не самая книга, не то, что я от себя требую. Во всей книге и в частности в этих главах имеются следующие недостатки:

неэкономный, сырой язык; обилие лишних слов, фраз, даже целых абзацев; налет газетности и худой очерковости.

Все эти недостатки, мне думается, могут быть устранены. Для этого требуется — время. Упорства и желания работать у меня хватит, *единственно в чем я стеснен чрезвычайно* — это во времени, необходимом мне для работы над книгой.

На сбор материалов, изучение завода, ознакомление с техникой поточного производства, с людьми у меня ушло полтора года; *на самый процесс написания книги — всего три месяца* (я получил их как отпуск по болезни). В день я писал 10—12 страниц в среднем. Отсюда все недостатки: я их вижу совершенно отчетливо. Редакция «Правды» предоставила мне месяц на окончание и редактирование книги. Этот месяц на исходе. Самое сознание того, что я снова предельно ограничен в сроках и должен гнать, гнать, гнать, чтобы «раз-

делаться» в срок с книгой,— мешало и мешает мне работать. Сделать книгу хорошо за такой срок (в общей сложности за 4 месяца) *я не могу*. Плохую совестно выпускать. Между тем, я убежден в том, что при наличии свободного времени, отпущенного мне только на книгу и ни на что другое больше,— я смогу сделать книгу художественно более зрелой и экономной. Прошу Вас, А. М., ежели Вы признаете, что над тем, что я Вам рассказывал и что дал прочитать, стоит работать, помочь мне следующим:

провести через главную редакцию «Истории заводов и фабрик» полное мое освобождение от работы в «Правде» до окончания книги; ближайшие 6 месяцев я должен заниматься только книгой и ничем больше;

указать на те недостатки, которые Вы заметили при чтении этих глав. Книгу хочу сделать хорошей. С огромной радостью посидел бы над ней безотрывно полгода. 25 июля собираюсь поехать на 10 дней на Нижегородский Автозавод, а потом на два месяца в Сталинград для выпуска специального номера «Наших достижений». (Октябрьского — о заводе), организации истории СТЗ и для работы над своей книгой. После этого засяду за редактирование и отделку каждой главы, каждого слова.

Жду Вашего ответа.

С коммунистическим приветом

Як. Ильин.

P. S. Спланировал я книгу следующим образом:

Часть первая: *Сутки* (подробное описание всех сил, действующих на заводе, всего сложнейшего переплетения цеховых, общесоюзных и личных проблем, разворачивающихся в одни сутки — 5 мая 1931 года).

Часть вторая: *Тридцать месяцев первой пятилетки* (краткая история строительства и пускового периода; из этой части я и посылаю Вам несколько глав).

Четыре последующие части книги уже вчерне набросаны. Вторая книга — четыре части — захватывает весь период от мая 1931 года до нынешнего времени (выпуск 150 тракторов в день). Часть из рассказанного Вам тогда на Спиридоновке входит во вторую книгу. Как видите — работы еще предстоит много.

И тут для Ильина наступили тяжкие дни сомнений и тревог. Он притих, слонялся по редакционным комнатам или забивался на самый верхний этаж газетного дома, в прохладную библиотеку «Правды».

Иногда, вздыхая, говорил: «Да, ребята, заварил я кашу! Что же мне А. М. ответит?»

Он рисовал себе картину, как Горький листает страницы его рукописи, сердито хмыкая, пишет цветным карандашом на полях едкие замечания: «А рассказываете вы, сударь, лучше, чем пишете!» Или же: «Гм-гм! Посмотрим, как все это в натуре получается...»

Вскоре Ильин получил ответное письмо Горького. В самом верху большого листа стояло: «Якову Ильину».

Когда Ильин вошел в нашу редакционную комнату на четвертом этаже «Правды», я внимательно посмотрел на него и спросил:

— Кажется, что-то хорошее? Вижу по глазам.

— Да,— отрывисто сказал Ильин.— Письмо. Горький.— И поспешил добавить: — Поругивает.

Он отвел со лба косую прядку.

Перед нами на столе лежал лист плотной бумаги в удлиненную клетку, с широким полем, отбитым синей линейкой,— письмо Горького.

— Вот,— сказал Ильин смущенно,— читаю и читаю... Хочу лучше понять его требования.

Он осторожно взял письмо на ладонь, чуть подкинул, будто взвешивая этот большой плотный лист бумаги.

Свое письмо Горький начал с деловой строки. Да, он считает, что Ильину надо помочь освободиться от работы в газете, дать ему возможность завершить роман. И об этом он уже написал письмо в ЦК партии.

А теперь о рукописи.

И с той теплой суровостью, которая отличала Горького, он ведет прямой разговор с молодым литератором. Ведь роман это уже не устные взволнованные рассказы о виденном, а — рукопись!

Мы снова и снова перечитываем письмо, вдумываемся в требовательные и вместе с тем доброжелательные строки Горького.

«Насколько можно судить по отрывкам повести, прочитанным мною, Вам необходимо работать над нею долго и усердно».

Алексей Максимович ставит перед Ильиным несколько вопросов, и среди них главный: во имя чего

пишется книга? Он требует резче подчеркнуть пафос и героизм масс. И вот что примечательно: старый Мастер не делает никаких скидок на молодость автора, на широту замысла будущего романа. Все в его письме пронизано заинтересованностью, советом глубже вдуматься в суть виденного на Тракторном, в делах которого отразились мечты и надежды всей страны.

«...характеры лиц у Вас не сделаны, едва намечены. Все это нужно «проработать». Будете ли Вы читать рукопись на заводе? Мне кажется, что это необходимо сделать».

Горький завершает свое короткое, на одну страницу, письмо таким советом:

«Очень подумайте о политической значимости Вашей работы».

Ильин в течение нескольких дней не расставался с горьковским письмом, увез его с собою, направляясь в новую оперативную командировку.

Все творческие планы Ильина были сломаны. Он ведь собирался на Волгу, в Нижний, в Сталинград!

Но ни в Нижний Новгород, на Автозавод, ни в Сталинград, на Тракторный, он в этот раз не поехал. А был, как принято было говорить в те годы, переброшен на угольный фронт.

Да, срочно нужно было ехать в Донбасс. В экономическом отделе «Правды» ночной разговор с редактором был коротким. На столе лежала еще «теплая» полоса свежего номера газеты. Первая полоса, на которой обычно печатались сводки — по углю, по металлу, по хлебу.

— Ты обратил внимание? — карандаш редактора обвел сводку суточной добычи угля.— Как ты, наверное, догадываешься, уголь нужен стране сегодня. Осо-

бенно коксующийся. И, как ты, наверно, понимаешь, от повышения добычи угля зависит, между прочим, и работа твоего Сталинградского Тракторного...

Ильин засмеялся и спросил, когда ехать-то.

Ему тут же протянули командировочное удостоверение: езжай, дружок, хоть сегодня!

Я, кажется, впервые увидел Ильина таким грустным, посеревшим, даже блеск в его глазах исчез и голос стал глухим. И, глядя на него, я понял: вот что значит оторвать человека от задуманного, от любимого дела! А он тогда жил только книгой. Прошло всего лишь несколько недель после встречи с Горьким, когда рассказывал Мастеру о Тракторном, о своей задумке. Еще меньше дней прошло после того, как Горький прочел девять глав рукописи и написал Якову Ильину письмо со сжатым разбором прочитанного (письмо Алексея Максимовича Ильин знал наизусть.) И вот — новое задание газеты. И это — в самый разгар работы над романом.

Ему стало казаться, что окружающие, даже близкие по редакции товарищи, смотрят на его тягу к художественной, писательской работе с превеликой насмешкой. «Беллетристика!» А тут — зримый уголь, и за него драться надо на газетном листе!

Он с тоскою поглядел на письменный стол, на стопку листов своей рукописи и горько усмехнулся: «Прости-прощай!»

Он побаивался, что, как это уже не раз бывало, его закружит река газетной жизни, уведет от мыслей о романе.

— В свое утешение,— говорил Ильин,— я могу сказать, ссылаясь на старого Эдисона. Когда в процессе

опытов он наталкивался на каменную стену, то раньше, чем возобновить атаку, переходил к другой работе, чтобы дать отдых своему мозгу... Я, конечно, не Томас Альва Эдисон, но прежде, чем «возобновить атаку» на «Большой конвейер», займусь коксующимся углем!

Накануне Ильин написал письмо Алексею Максимовичу:

> Выезжаю завтра по заданию «Правды» в Донбасс и потому не смогу, несмотря на горячее мое желание,— повидать Вас лично. Мне бы хотелось ответить следующими замечаниями на Ваше письмо ко мне:
>
> То, что я пишу о СТЗ,— это не повесть и не отчет — это литературная хроника — пуска и налаживания нового производства, имеющего громадное значение для нашей страны. Эта форма чрезвычайно сложна и в то же время, как мне верится, богата возможностями.
>
> Критику Вашу и замечания (особенно по первым двум главам) учту и переделаю их *начисто*.
>
> Политическую линию книги я представляю себе — как борьбу за правильную организацию производства, за социалистические формы и методы труда, за воспитание и переделку кадров и «отсечение» негодных методов — против толкачества, штурмовщины, руководства аварийного.
>
> ...С этой точки зрения я стремлюсь показать период строительства, героику жизни, и вместе с тем я обязан показывать и то, что у нас тут было плохого, чтобы другие на этом учились.
>
> О языке. Да, надо мной довлеет газета и «очер-

кизм». Язык передовых статей въедается. Вот сейчас поеду по Донбассу — буду писать телеграммы, статьи, письма, и если потом придется писать книгу — месяц буду производить брак, пока язык не очистится. Несмотря на то, что отпуска для окончания книги я пока еще не получил,— я надеюсь к ноябрю книгу кончить. И тогда — уверен — Вам не придется ругать меня.

С коммунистическим приветом *Як. Ильин.*

Уезжал Ильин ночным поездом. Быстро снарядился в путь-дорогу. В большой комнате было пустынно — тахта, стол, полка с книгами.

Он поставил тяжелый чемодан на табурет, присев на корточки, стал выбирать хранившиеся в нем бумаги.

Старый, в трещинах чемодан был набит газетными вырезками и журналами, черновиками статей, толстыми тетрадями, рукописью начатого несколько лет назад романа «Наше поколение»; среди бумаг, которые Ильин выкладывал из чемодана, была одна тоненькая связка — ее Ильин особенно бережно отложил в сторону. Из этой связки он вынул один листок, сложенный вчетверо, развернул и, повернувшись к свету, улыбаясь, стал разглядывать эту, видимо, очень дорогую ему бумагу.

— Сей листок,— сказал он, передавая мне бумагу с фирменным штампом бывшего «Товарищества Грачев и К°»,— ведет меня ко дням моей юности. Писали ребята из республики Пионерия...

Ильин старался отвлечь мое внимание от этого листка («Гляди-ка, вот какую продукцию мы давали! Тор-

фяные пресса «Анреп», «Денис-измененный». Крахмальные машины и хлопковые прессы. Трансмиссии. Чугунное и бронзовое литье!»). Но по всему было видно, что его глубоко взволновал этот листок бумаги, подписанный советом вожатых 18-го отряда юных пионеров, подшефного машиностроительному заводу «Красная Пресня».

А дело было так. Осенью двадцать четвертого года Ильин по комсомольской путевке был направлен в Сергиевский уком. Пионеры Красной Пресни, прощаясь с Яшей, выдали ему на слете вожатых «историческую,— смеясь, сказал Ильин, — характеристику».

При Центральном Клубе РЛКСМ «Молодых ленинцев» Красной Пресни, помимо взрослых ребят клубистов, всегда собиралось много и нас, детворы, которая с завистью смотрела на все занятия и работы наших старших братьев и товарищей. Нам тоже хотелось организоваться и заниматься в клубе, но клубисты были заняты своими делами и на нас мало обращали внимания. А когда мы чересчур сильно показывали свое присутствие, то нас даже просили о выходе, так как мы мешали занятиям. Но вот один из клубистов, которого звали Яшкой Ильиным, обратил на нас внимание и начал с нами беседовать о мировой организации юных пионеров, о тех ребятах, которые носят красные галстуки и там на далеком Западе расклеивают листовки о том, что никто из пролетариев не должен идти на войну против Советской России... Ясно, что мы и захотели быть этими самыми пионерами. Яшка не только говорил, но и делал —

и благодаря ему в клубе стал вопрос об организации пионеротряда. Наконец из райбюро был прислан для организации и руководства отрядом вожатый, и отряд был организован. И так исполнилась наша заветная мысль: мы стали пионерами, нам дали помещение, и закипела работа. Было плохо в материальном отношении, но наш Ильин не забывал о нас, и, благодаря его хлопотам и заботе об отряде, над нами принял шефство завод «Красная Пресня», на котором и работал Яшка.

С этого времени для отряда наступила весна, отряд наш постепенно укреплялся и налаживал свою работу.

Этим летом мы поехали в лагерь, и здесь у нас Ильин был первым гостем. Всегда отзывчивый и внимательный, Яшка был лучшим нашим другом — за что ему был торжественно надет красный галстук.

Ильин был таким комсомольцем, который нужен пионерской организации и которых наш отряд за все время существования редко встречал...

— Черти! — пробормотал Ильин.— Писали так, будто Яшка ихний за тридевять земель уезжал...

Он загрузил чемодан нужными в дорогу вещами, пачкой книг и тетрадей.

Хлынул летний стремительный дождь, синий в вечерних сумерках, кто-то из провожавших товарищей предложил Ильину свою шляпу, он даже примерил ее, но потом с какой-то виноватой улыбкой вернул владельцу. Он стал искать куда-то запропастившуюся кеп-

ку, обрадовался, найдя свой «заслуженный» головной убор, сказал со смехом:

Кепка и мягше
и много красивше.

В ту же ночь с бригадой «Правды» Ильин выехал в Донбасс.

Все, чем жила страна, немедленно отражалось на газетном листе. Напоминаю: шел тридцать второй год, лето было трудное, и то, что вчера еще тревожило и занимало первую полосу газеты в сводках и передовых статьях,— положение дел на Сталинградском Тракторном, на Нижегородском автомобильном, на Харьковском тракторном,— начинало уступать новым проблемам хозяйственной жизни. Страна вплотную занялась угольным фронтом. Две сводки вышли на передний край индустрии. Уголь и Металл.

Работе спецкора у Ильина всегда предшествовала исследовательская работа. Донбасс имел генеральный план развития угольной промышленности. И теперь, получив командировку в Донецкий бассейн, специальный корреспондент погрузился в чтение книг и газет, в пристальное изучение технико-экономической стороны угольной проблемы.

Спецкор «Правды» едет в Кадиевку, на шахту «Голубовка-22», там он долго беседует с главным инженером Карташовым, с начальником участка Касауровым. Удивительная вещь: в самой трудной и тяжелой области народного хозяйства — в угольной! — рождается идея непрерывного потока. Это было тем более поразительно, что в шахтах, глубоко под землей, в те годы

еще терпеливо трудились лошади. («Кстати о лошадях,— писал Ильин.— По одному Артемуглю за 25 дней июля пало и покалечено 211 лошадей. До получения транспортеров и электровозов многим шахтам угрожает полная безлошадность, срыв откатки... Небрежное отношение к шахтному конскому поголовью, в надежде, что скоро лошади не станут нужны,— преступление, самая безобразная и дикая расточительность».)

Ильин с Касауровым спускается в шахту, потом в бане, смыв с себя угольную пыль, оба распаренные, с мокрыми головами, они долго сидят на деревянной скамье, и Касауров, крупный, могучего сложения горный техник, мелом на бетонном полу рисует спецкору картину угольной добычи непрерывным потоком.

В самой шахте и на поверхности можно было увидеть только отдельные звенья высокой механизации: появились в лаве транспортеры, отбойные молотки, а на штреках — электровозы. Но Карташов и Касауров с «Голубовки-22» смотрели дальше: будущее — за идеей непрерывного потока, за комплексной механизацией.

Спецкор посылает в «Правду» статью — «Завершить механизацию Донбасса».

Он пишет: рывками, толкачеством, штурмом положение на угольном фронте не выправишь. Ильин ссылается на опыт Сталинграда, Нижнего, Московского автозавода — штурмовые методы мешают нормальному ходу производства. Нужно более решительно и деловито вводить механизацию. Завершение механизации Донбасса осовременит шахты, повысит производительность труда, сделает труд в шахтах таким же индустриальным, как и в любой другой отрасли промышленности.

Статью печатают на второй полосе, а на первой — сводка со Сталинградского Тракторного. Сводка за пять дней. Завод работает ритмично, он дает тракторов день за днем: 140, 140, 140, 140, 140.

МАСТЕР: САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ И ХАРАКТЕРНОЕ!

В августе Ильин загружает свой старый походный чемодан книгами, тетрадями, рукописью романа, стенограммами и черновыми набросками будущей коллективной книги «Люди СТЗ». На Волгу! На Тракторный! «Там и стены вдохновляют...»

Он поселился в нижнем поселке, у самой Волги. Но Волгу он может увидеть только из окна своей комнаты — заводские врачи уложили его в постель, приказали вести спокойный образ жизни.

Какой это был образ жизни, мы узнаем из его письма к Анне Северьяновой,— у нее новость: по путевке ЦК она едет в Москву, будет учиться на курсах марксизма.

30 августа 1932 г.

Нюра, родная, любимая! Я получил только одно письмо от тебя... Сам же я не писал потому, что расклеился; по приезде в Сталинград на третий день слег — острое желудочное расстройство и еще что-то вроде малярии. Пять дней полежал и сейчас уже совсем выздоровел. Живу в условиях отличных: дали мне отдельную комнату на нижнем поселке, очень хорошую — только работай.

Почти всю организационную работу по истории

завода я уже проделал — сейчас товарищи сели писать. Трудно, понятно, в короткие сроки сделать историю завода, но — нажимаем на все педали. Я уже начал со вчерашнего дня работать над своей книгой — сокращаю, переделываю — за месяц успею сделать многое, а 1 октября лягу в больницу и там *закончу*.

Сентябрь пробуду на Тракторном, октябрь — в больнице, в ноябре, наконец, все «святое семейство», мать, отец и дочь, после двухлетних разъездов, съедутся жить вместе. Вот и весь мой план. После Донбасса и Нижнего — Тракторный кажется лучшим местом в СССР, несмотря на прорыв. Понятно — общее тяжелое состояние страны отражается и здесь, но здесь уже стиль и уровень жизни значительно выше, чем где бы то ни было.

Очень жду от тебя вестей. Хочу тебя видеть, соскучился чрезвычайно, хочется страшно видеть Галюшку — ведь уже совсем большая дочь — 2 года 7 месяцев!..

Сейчас хожу заросший, страшный — как индус после голодовки. 4 дня нельзя было ничего есть — зато теперь я отъедаюсь.

1 сентября.

Нюрка! Родненькая! Только одно извинение есть моему неписанию — затянувшееся болезненное состояние. Сейчас я хотя и поправился, но еще никуда не хожу, сижу дома. Просто ослаб. Настроение хорошее, страшно хочется работать, все усло-

вия для работы есть — остановка только за мной — надо окрепнуть.

Свой план я изложил в предыдущем письме. Тракторный — книга — больница. Дочь — отдать маме до общего съезда в ноябре. Мы тогда реорганизуем нашу домашнюю жизнь, заведем порядок, будем «жить культурно», «производительно работать». Сейчас вот помимо истории и книги занимаюсь писанием статьи для «Правды»: «Из чего складывается порядок». Ты помнишь, когда на Тракторный назначали директором Михайлова (который умер на заводе), в приказе ВСНХ писали, что ему поручается «навести порядок на заводе и довести выпуск тракторов до ста в день».

«Навести порядок» — это означало создать условия для производительной работы. Мы создали гигантские предприятия, вложили сотни миллионов рублей — а они работают беспорядочно, дорого, малопроизводительно. Главный лозунг: использовать полностью все наши возможности, в центре всей работы поставить вопросы организации производства и производительности труда. В статье «Из чего складывается порядок» я хочу на материале и опыте Сталинградского Тракторного, Нижегородского автозавода, Донбасса — показать, из каких элементов создается порядок, условия для производительной работы. Пишу вечерами — в дополнение к основной своей работе над «Конвейером».

Я сегодня выспался, чувствую себя хорошо, и жизнь мне кажется весьма желанной и привлекательной...

А между тем какой широкий «фронт работы» он развернул в эти два месяца — август и сентябрь! Только диву даешься этой стремительной энергии, деловой напористости, всех и вся заражающей активности. Вполнакала Ильин не умел работать, и то, что именовалось «дополнением к основной», увлекало и захватывало «большевистского юношу».

Он получил задание из рук Горького: организовать специальный Октябрьский номер «Наших достижений», посвященный Тракторному. Ильин вместе с приехавшими на завод Н. Вигилянским и Б. Яглингом горячо взялся за работу.

Горький предупреждал, что работа предстоит большая, сложная.

«В короткий срок,— писал Алексей Максимович,— надо опросить людей, могущих рассказать замечательные вещи как о себе, так и о работе завода, надо записать и отобрать сотни страниц, а прежде всего из всего многообразия жизни первого социалистического предприятия-гиганта надо увидеть и выбрать самое интересное, характерное, нужное».

26 августа в газете «Даешь трактор!» было напечатано письмо Алексея Максимовича к рабочим СТЗ.

«Номер этот выйдет накануне пятнадцатой годовщины Октября, когда рабочий класс Страны Советов будет подводить итоги величайшего в истории человечества полутора десятилетия».

Итак, работа бригадой над историей завода; выпуск специального номера «Наших достижений»; работа над проблемной статьей для «Правды». И основная, главная работа — роман «Большой конвейер».

Рукописи буквально хлынули в нашу заводскую ре-

дакцию. Но вот что удивляло и смущало при чтении иной рукописи — это полный отрыв от действительности, от того живого дела, которое составляет самую суть человеческого бытия.

Авторы биографических записок и рассказов были строителями, инструментальщиками, литейщиками, кузнецами, слесарями-сборщиками, мастерами, инженерами... А между тем иногда создавалось впечатление, что человек, взяв в руки карандаш, напрочь отходит от всего будничного и пишет не то чтобы сухо и деловито — это еще не беда! — а как будто старательно обходит или совершенно не придает значения той части своей биографии, которая больше всего должна запоминаться драматическими коллизиями, трудностями и радостями и которая конечно же должна оставить глубокий след в жизни человека.

Казалось, что при соприкосновении карандаша с листом бумаги простое, насыщенное жизнью слово куда-то исчезало и на бумагу ложилось восторженно казенное, а то и просто скучное писание.

Слесарь-сборщик Яков Френкель поначалу доставил немало хлопот «беседчикам», — не так-то легко было сдвинуть его с накатанных рельсов общих воспоминаний. Ильин, кажется, первый заметил, что запись под стенограмму почти мгновенно «ломает» веселого, жизнерадостного слесаря — он становится серьезным, хмурым, мучительно долго рассказывает о себе весьма скучные вещи, даже голос у него начинает соответствовать торжественности момента («Меня записывают для истории!»).

Как-то в одну из встреч-бесед со слесарем (без стенограммы) хворый Ильин, сидя на диване, обхватив ру-

ками колени, слушал быстрый, горячий рассказ Френкеля о делах на большом конвейере.

— Слушай, тезка,— вдруг тихо спросил Ильин,— припомни-ка: что ты делал в день пуска завода — семнадцатого июня тридцатого года?

— Проспал торжество,— мрачно ответил молодой слесарь.

— Вот оно как,— оживился Ильин: — Проспал? Как же это случилось, дорогой семитысячник?

— А вот так и случилось,— сердитым голосом сказал слесарь,— проспал и проспал.

Он соскочил с подоконника, удивленно спросил себя: в самом деле, как же это вышло?

— Ведь я... Понимаешь, Яша, я должен был повести первый трактор с конвейера. Наша бригада сборщиков не спала три последние ночи перед пуском. Мы собрали первый трактор еще пятнадцатого июня. Собрали, а затем разобрали, разложили детали и снова стали собирать. Помню, рано утром семнадцатого мотор трактора был окончательно готов. Кажется, уже с закрытыми глазами я выбивал зубилом в бруске какой-то прилив, мешавший масляному насосу стать на свое место... Веришь, меня точно былинку раскачивало, когда я пошел в дом-коммуну. Мои соседи по комнате спали. Кое-как растолкал одного хлопца и взял с него слово разбудить меня к двум часам дня — к началу торжества — и тут же провалился в сон... И никто меня не разбудил. Вот, брат, какая история со мною приключилась...

— Стоп! — закричал Ильин, потянувшись за карандашом и тетрадью.— Стоп! Начнем с подробностей...

И запись рассказа слесаря-сборщика начинается с этой фразы:

«Я проспал торжество».

Работа литератора-беседчика требовала большой внутренней мобилизации. Нужно было завязать дружеские связи с тем рабочим, наладчиком, инженером, чью биографию будешь записывать. Нужно было в процессе работы пробудить в собеседнике ответную волну взаимопонимания, желание полностью открыться тебе. И очень важно было уловить интонацию героя, точно «записать» ее, памятуя горьковский совет — увидеть и выбрать самое интересное, характерное, важное.

(Армия горьковских беседчиков действовала по всей стране, и это радовало Мастера. Он писал в те годы Федину: «Очень дружно и горячо взялись рабочие за историю заводов... Идут опросы старых рабочих, стенографирование их рассказов о прошлом».)

Мы знали людей Тракторного, а они знали нас, — вот это и помогало, вносило в работу живой элемент товарищества и дружбы.

А когда у кого-нибудь из беседчиков не ладилось, мы шли к бригадиру: послушай, Ильин!

Так было и у меня.

Я работал с Анатолием Левандовским, старшим мастером большого конвейера. Его сухое, будто выточенное лицо, коротко стриженные волосы, резкие морщины у губ, — весь облик Левандовского, человека трудного, колючего, привлекал к себе...

Левандовский понимал свою задачу весьма просто: в один прекрасный день он принес и положил на редакционный стол выцветшую кумачовую повязку бойца Красной гвардии, старую, поблекшую фотографию со сбитыми краями — у броневика стоит молодой солдат,

трудовую книжку, отзывы о работе на сборочных линиях Форда в Детройте.

С ним мы здорово помучались. Мастер сборки произносил краткие жаркие речи о революции, о гражданской войне, об атаках и затем такими же возвышенными словами рисовал строительство и те дни, когда он работал на стройке. Очень трудно было повернуть его к земным, простым вещам, он как будто презирал все обыденное, твердо полагая, что биография человека — это биография эпохи, а потому — никаких мелких, засоряющих историю подробностей.

Однажды мы сидели с Ильиным в конторке мастера — Левандовский сам предложил встретиться у большого конвейера.

Обитая железом дверь распахнулась, мастер с разбегу вскочил в конторку, сердито замотал головою: «Ничего, ребята, не выйдет!»

Он рывком вскинул очки на лоб, жесткой ладонью потер усталые, злые, красные после штурмовой ночи глаза.

Потом вдруг шагнул вперед, глянул хитрющими глазами, сказал хриплым голосом:

— Вот что, ребята! Вот что, писатели! Давайте условимся: я вам с полным удовольствием выкладываю биографию, а вы мне со всем усердием подкинете дефицитные детали на сборку... Вот — по списочку!

Он задержал мою руку в жестковатой своей ладони.

— Ну как, по рукам? — сказал Левандовский с веселой угрозой, беря в свидетели Ильина.— Стало быть, вы мне — дефицитные детали, а уж я вам со всею

охотою доложу про свою прекрасную жизнь — биографию...

Ильин с размаху хлопнул его по плечу:

— Согласны!

И, веселый, чуть ли не пританцовывая, Яков Ильин со списочком дефицитных деталей понесся из конторки по главному проходу корпуса.

— Великолепный урок! И мы с тобой хороши — толкаем, заставляем мастера сборки ступить на «тропу воспоминаний»... А у Левандовского в душе сейчас свое горит, остродефицитное...

(Я пишу эти строки о Левандовском, портрет-биографию которого мы дали в книге «Люди Сталинградского Тракторного», пишу и вспоминаю другую, более позднюю встречу с ним. Произошло это четверть века спустя после выхода книги — в пятьдесят седьмом году. Левандовский работал после Отечественной войны начальником опытного производства; на первый взгляд, это был все тот же неугомонный Анатолий Левандовский, сухощавый, в короткой кожаной тужурке, облегающей его худые плечи. Правда, он поседел, мой старый товарищ, и только глаза за очками по-прежнему молодо блестели, особенно когда мы коснулись былого, того, что мы называли Тридцатыми Годами. Чуть ли не в первые же минуты нашей встречи Левандовский увлек меня на большой конвейер, а затем усадил в свою машину и повез в волжскую степь, в те места, где за рекой Мечеткой стояли врытые в землю старые боевые танки с залатанными пробоинами, танки, которые обозначали рубежи обороны в страшные дни прорыва немцев на Сталинград...)

Работа у беседчиков ладилась, артель жила в ритме веселой, полной энергии деловой жизни.

В сентябре Ильин писал Северьяновой:

> ...Я широко развернул работу по сбору материалов к истории завода — ежедневно проводятся беседы с работниками завода, пишется хроника (вернее, краткая история СТЗ)... Я лежу в постели, а ко мне беспрерывно ходят люди, звонят по телефону, я диктую статьи, правлю материалы, как дирижер симфонического оркестра я управляю своими «историками». Квартира, в которой я живу, называется «штабной». Материал собирается великолепный — историю завода можно написать совершенно потрясающую, яркую и увлекательную.

Ильина буквально заворожил рассказ начальника кузницы о том, как у Смита в Мильвоки делают автомобильные рамы на конвейере.

Ильин с уважением и даже завистью смотрит на Илью Борисовича: «Какой цепкий инженерский глаз!» Всё! Теперь он уже не отпустит этого невысокого, тихого, черноволосого инженера. Он сумеет убедить, а если надо, заставит его засесть за работу. Ильин уже набрасывает черновое название инженерских записок. Ах, если бы удалось дать в запеве ударное, активное звучание будущей книге!

— «Что я видел в Америке»? — осторожно спрашивает Илья Борисович.

Ильин повторяет про себя эти слова, — кажется, что-

то нащупывается. Ладонью он рассекает воздух, как бы подводит черту, затем в тон инженеру продолжает:

— «Что я сделал в СССР»[1].

Ильин вбирал в себя рассказы рабочих, мастеров, инженеров и проектировщиков, проходивших практику за океаном, жадно расспрашивал американцев, работавших на СТЗ, с карандашом в руке читал книги наших и зарубежных историков, экономистов.

Книги он читал так, словно это были беседы с живыми людьми («Знаешь, встретился с Чейзом. Интереснейшая личность... Ратует за «экономного человека»).

То, что читалось, изучалось по книгам, вдруг оживало, приобретало цвет, краски, интонацию в биографиях американских специалистов, в кусочке «живой американской жизни», разворачивавшейся у Волги. Да и сами книги порою как бы являлись продолжением бесед с законтрактованными американцами.

Однажды он так и сказал мне, хлопнув ладонью по листам раскрытой книги: «Вот, с американскими сенаторами-зубрами беседую... Ох и народец!»

Ильин дорожил этой книгой — «Октябрьская революция перед судом американских сенаторов» (ее издали у нас в русском переводе в 1927 году). Это был отчет так называемой Овермэнской комиссии сената Соединенных Штатов, заседавшей в феврале — марте 1919 года.

Заседания комиссии имели целью выставить перед

---

[1] Книга инженера И. Б. Шейнмана «Что я видел в Америке. Что я сделал в СССР» была издана в Москве в 1934 году. В своем посвящении автор писал: «Идея создания этих записок истории нашей борьбы за технику принадлежит большевику Яше Ильину».

всем миром в черном свете Великую Октябрьскую революцию в России. Перед сенатором Овермэном и достойными этого зубра коллегами прошли такие свидетели: американский посол в Петрограде, вице-консул, пастор англиканской церкви, представители американского Союза христианской молодежи, старая-престарая Брешко-Брешковская — люди озлобленные и ослепленные молнией революции, сверкнувшей где-то далеко в России...

Но не только послы, вице-консулы, лесоторговцы и священники давали показания перед сенатской комиссией конгресса. Здесь раздался голос пламенного Джона Рида, под перекрестным огнем злобных вопросов перед кучкой сенаторов с большим достоинством выступили Альберт Рис Вильямс, Луиза Брайант, полковник Раймонд Робинс... Эти американцы своими глазами видели Ленина, внимательно всматривались в первые, смелые и решительные шаги Октября в Советской России.

Мы не просто читали эту историческую книгу — Ильин втянул нас в увлекательную игру: по его настоянию мы стали в лицах представлять тех самых людей, которые давали показания перед сенатской комиссией. Большая редакционная комната на первом этаже заводоуправления на несколько часов превратилась в клокочущий страстями зал заседаний Овермэнской комиссии сената Соединенных Штатов Америки. Сам Ильин мастерски читал протоколы допроса Джона Рида и Альберта Риса Вильямса; один из нас бросал ему реплики сенаторов, ведших перекрестный допрос, а Ильин отвечал за своих подопечных.

Выступления американцев перед Овермэнской комиссией рисовали строй мыслей посла, вице-консула,

лесопромышленника, представителя Союза христианской молодежи... Роберт Ф. Леонард покинул Петроград 16 ноября 1917 года. В Россию, по его словам, он отправился по поручению христианской ассоциации молодых людей, чтобы работать среди русских солдат на театре военных действий, потом стал вице-консулом.

Вот кусок диалога между сенатором Овермэном и Р. Ф. Леонардом:

Овермэн. Каково ваше мнение о нравственности их мужчин и женщин?

Леонард. У них другие понятия, чем у нас, в Америке.

Овермэн. Безнравственны ли они?

Леонард. По своему нравственному складу они напоминают скорее восточные народы.

В перекрестный допрос врывается сенатор Нельсон. Он тоже считает своим долгом поговорить о нравственности большевиков и одного из тех, кто идет за ними.

Нельсон. Этот человек, которого они привлекли в свою шайку,— если я не ошибаюсь, его зовут Максим Горький,— уже достиг последней степени их безнравственности?

Леонард. Там была большая радость, когда он вернулся в их шайку.

Нельсон. Он достаточно развращен, чтобы заразить всю большевистскую массу?

Леонард. Не думаю, чтобы их нужно было еще заражать.

Овермэн. Но они радовались, когда он вернулся?

Леонард. Да, сэр.

20 февраля перед комиссией сената выступила мисс Луиза Брайант.

Сенатор Кинг спросил ее: Верите ли вы, что существует бог?

Луиза Брайант. Я думаю, что бог существует, но не в состоянии проверить это.

Кинг. С мистером Ридом вы поехали в Россию?

Брайант. Да.

Луиза Брайант остроумно парировала все наскоки сенаторов. Дошло до того, что сенаторы предложили публике, горячо аплодировавшей Брайант, оставить помещение.

Брайант. Я прошу, чтобы публике было разрешено остаться.

Овермэн. Я приказываю им покинуть помещение!

Брайант. Ведь я пока что единственный свидетель другой стороны, единственный свидетель, который желал бы, чтобы были налажены дружеские отношения между Россией и Америкой.

Джон Рид. Могу ли я остаться? Я — Джон Рид, муж мисс Брайант.

Джону Риду разрешили остаться, допрос Луизы Брайант продолжался. Ее спросили: какое жалованье получал Джон Рид, находясь на службе в Советской России?

Брайант ответила: То же жалованье, которое получают все большевики, в том числе Ленин,— пятьдесят долларов в месяц.

50 долларов... Эта более чем скромная оплата труда удивила сенаторов. Овермэн ехидно спросил:

— ...Да в придачу то, что им удавалось стянуть на стороне?

Брайант. Нет, они не могли стянуть. Было очень

опасно, сенатор Овермэн, «стянуть» что бы то ни было в России...

21 февраля перед комиссией выступал Джон Рид. В протоколе заседания записано: свидетель отказывается принести присягу и вместо нее дает торжественное обещание говорить правду. И Джон Рид сказал всю правду об Октябрьской революции, о Ленине, о большевиках.

...Мы читали вслух страницы этой поразительной по накалу страстей книги и так втянулись в историческое действо — Октябрьская революция перед судом американских сенаторов! — что не сразу заметили, как на пороге редакции выросла высокая фигура директора завода Пудалова.

— Что здесь у вас происходит? — удивленно и чуть тревожно спросил Пудалов.

— Заседание комиссии Овермэна,— подняв голову от книги, ответил Яков Ильин и быстро ввел инженера в курс событий: — Америка. Год девятнадцатый. Февраль. Сенаторы осмелились судить Октябрьскую революцию.

Пудалов присел у окна, на коленях он держал туго набитый портфель.

— Метизы? — покосившись на портфель, сказал Ильин.

— Они самые,— шепотом ответил Пудалов.

«Заседание» комиссии Овермэна продолжалось. Под перекрестным допросом сенаторам отвечал Альберт Рис Вильямс.

Овермэн. Каково точное значение слова «большевики»?

Вильямс. Я спросил у одного русского, как он по-

нимает слово «большевизм», и он ответил: «Это кратчайший путь к социализму»... Помню, группа рабочих одной фабрики пришла как-то к Ленину и спросила его, как наладить работу фабрики. Он развел руками и сказал: «Откуда мне знать, как пустить в ход фабрику? Пойдите и попробуйте, а затем возвращайтесь и расскажите, что вы сделали, и тогда я постараюсь кое-чему научиться на ваших промахах и ошибках и,— прибавил он шутя,— напишу об этом книгу»...

Ильин стремительно вскочил на ноги.

— Ребята! Товарищи! Да ведь в этом — весь Ленин! «Пойдите и попробуйте»...

Заседание продолжалось...

Робинс. Я бы хотел, чтобы столь ответственная организация, как комитет, образованный сенатом, вник в сущность русской революции, разобрался, к чему ведет ее развитие, каково ее значение и будущие последствия для мировой истории.

Вспоминая свои встречи с русскими, Раймонд Робинс сказал сенаторам: ни одна аудитория на свете не способна извлечь от оратора столько, сколько русская аудитория.

Как-то в беседе с американцами на СТЗ Ильин назвал имя Раймонда Робинса и привел эти слова, сказанные полковником на сенатской комиссии Овермэна. Наладчики и инженеры из США смутились. Большинство из них просто-напросто очень мало знали о своем земляке из Флориды, который, по слухам, был филантропом и занимался таким сложным бизнесом, как политика...

(Я дошел до этого места своих воспоминаний — и вижу Ильина, который осенним вечером нам читает сте-

нограмму отчета американской сенатской комиссии,— и память моя продолжает разматывать ленту жизни. Полковник Раймонд Робинс... В биографии Робинса, в жизни этого делового, дальновидного американца, есть еще одна страничка, близкая нам, людям СТЗ. В мае тридцать третьего года Робинс приехал в нашу страну, побывал на многих заводах, в том числе и на Волге.

Робинс, подтянутый, аккуратный американец с гладко выбритым, в морщинках лицом, в течение долгого летнего дня неутомимо вышагивал по заводу; начал он со склада сталей, а завершил обход в инструментальном цехе. Он спросил сопровождавших его заводских работников: «Есть ли в вашей фирме на руководящей работе те, кто строил завод?» Ему назвали многих бывших рабочих, которые раньше строили Тракторный, затем работали в его цехах, работали и учились, а теперь руководят участками, отделениями, цехами. Среди других ему назвали бывшего бетонщика, а затем кузнеца Якова Липкина — он сейчас помощник директора завода.

Яков Липкин (его биография вошла в книгу «Люди Сталинградского Тракторного») работал помдиректора, полный титул его должности гласил так: помощник директора по производственным совещаниям. Робинс оживился: во-первых, его заинтересовал сам молодой человек (возраст — двадцать два года!), помдиректора крупной тракторной фирмы, а во-вторых, ему хотелось полнее представить себе, что́ значат в жизни завода производственные совещания рабочих.

Робинс долго беседовал с Яковом Липкиным.

Помощник директора принимал американца в своем кабинете на третьем этаже заводоуправления,— напо-

мню, что только год назад мы с Ильиным читали книгу протоколов заседаний овермэнской комиссии на первом этаже в редакции «Даешь трактор!».

Раймонд Робинс счел своим долгом сказать молодому красному хозяйственнику — длинное слово «хозяйственник» полковник произнес медленно, протяжно, по-русски — сказать то, что он говорит всем в России: я, Раймонд Робинс, приехал в качестве совершенно частного гражданина и говорю только от своего имени.

Яков Липкин улыбнулся и сказал, что он полностью к услугам «частного гражданина Америки». Робинса интересовали факты — действительные факты умения работать, творческой изобретательской способности русских рабочих.

— Действительные факты, — сказал Липкин. — Рил фэктс...

Робинс спросил, где Липкин изучал английский.

— В кузнечном цехе, — ответил Липкин, — у американских наладчиков Уэбба и Болла.

Разговор сразу пошел живее и быстрее.

Робинс, по его словам, внимательно присматривался к великому дерзанию русских, дерзанию, начало которого он видел в семнадцатом году в Петрограде. Вот тут американец и задал помдиректора по производственным совещаниям те самые вопросы, которые он несколько дней спустя в Кремле поставил перед другим своим собеседником.

В Америке, говорил Робинс, разрешается два типа творчества: одно — кабинетное и другое — широкое жизненное творчество, связанное с проявлением творческого духа в жизни. Здесь у вас, в России, продолжал Робинс, создается новый пыл, новое стремление: то,

чего *деньги* никогда купить не смогут. Рабочие ожидают от своей работы чего-то лучшего и большего, чем то, что могут дать деньги.

По-видимому, не одному Якову Липкину полковник Робинс задавал этот вопрос — о стимулах, которые владеют рабочими.

Яков Липкин, придвинув к себе блокнот, выписал на листке те самые слова, которые ему и год и особенно два года назад приходилось слышать от американских специалистов на СТЗ, порою даже от самых добросовестных: мэйк мани. Делать деньги.

Если бы можно было, говорил бетонщик, кузнец, помдиректора, если бы можно было заложить в человека вот так, как закладывают в проект завода современную технологию, сразу заложить и высокую сознательность, и культуру, и опрятность,— одним словом, все то, что мы именуем «стимулейшн советского человека», то мы значительно убыстрили бы свое движение. Но так в жизни не бывает. Все эти качества, все то, что мы называем «стимулейшн», приходят в работе, в самой борьбе человека с трудностями и со всем тем старьем, что гнездится в душе каждого из нас...

— А что это за «стимулейшн»? — спросил Робинс.— Мэйк мани?

Липкин замотал головою:

— ...То, что делает человека человеком.)

«ГИВ АС ТРЭКТОРС...»

Появилась у Ильина откуда-то толстая пачка дореволюционных бланков одной московской купеческой фирмы.

На больших листах глянцевой бумаги с фирменными знаками крупно было напечатано:

«М. Г. (Милостивый государь!)

Отправили мы, согласно заказа, за Ваш счет и страх нижепоименованные товары».

В этом месте Ильин вписывал от руки чернилами или карандашом, о каких именно «товарах» — стенограммах бесед — идет речь.

Затем снова следовал фирменный текст:

«С совершенным почтением

Директор правления».

И подпись: «Яков Ильин».

Наш «директор правления» хорошо знал и тонко умел направлять интересы, особенности каждого литератора-беседчика. Однажды получил я от него знаменитую бумагу с фирменными знаками: «Милостивый государь!» Директор правления советовал мне присмотреться к лекальщику Гульману, «расшевелить, растревожить этого мастерового человека».

Лекальщик Алексей Васильевич Гульман работал в инструментальном цехе — фигура тихая, незаметная.

Гульман по партийной путевке приехал из Николаева на Волгу. На СТЗ он быстро укоренился.

Я добровольно прикрепился к Гульману, часто стал сворачивать в тот уголок инструментального цеха, где работал Алексей Васильевич. Мне приятно было просто постоять рядом с лекальщиком и, ни о чем не спрашивая и вместе с тем не мешая, наблюдать его неторопливую работу на шлифовальном станке.

Я любовался гульмановской мудрой работой, с восхищением смотрел на руки лекальщика. Мне казалось, что они обладают особой чуткостью, тонким чувством соразмерности.

Собратья по профессии уважали Гульмана, его негромкое слово обладало добрым весом, хотя по натуре своей лекальщик был малоразговорчивым. И сердился он по-своему, по-гульмановски — бросит коротко слово-другое, а чаще делал так: приспустит дужку очков, отведет их чуть в сторону и глянет в упор серьезным, внимательным взглядом.

Алексей Васильевич постепенно привык ко мне, мне даже чудилось, что он всегда ждал моего прихода и что мое внимание не было ему в тягость.

Гульман, профессия которого требовала большой сосредоточенности, и в беседах был нетороплив и точен.

Вот начало его рассказа о себе, о лекальном деле:

— Почему я люблю шлифовальное дело? Шлифовщик поправляет все грехи предыдущих операций. Ведь речь идет о микронах, о тысячных долях миллиметра. И вот с этой тысячной долей я веду, можно сказать, спор один на один. Металл во время работы деформируется, и я должен, как мы, лекальщики, считаем, уметь с материалом разговаривать. Материал раздражен, шлифовка нагоняет ему температуру, а потом он начинает «успокаиваться», и тут я стремлюсь уловить, насколько же он может сесть... Я думаю, что умею «разговаривать» с материалом, но, повторяю, очень трудно изучить его посадку. Посадка эта определяется по искре. Хорошая искра — белая, это значит — посадка будет в самый раз, обработка будет точная.

Гульман улыбнулся.

— Одним словом, товарищ,— светлой искре почет!

Записывая рассказы лекальщика Гульмана, я не придерживался той последовательности событий, какая имела место в действительности: кое-что из услышанного я счел нужным выдвинуть на «передний план»,— одним словом, старался внести в «цикл подробностей» зерно раздумья и воображения.

Но одно могу твердо сказать — что я ничуть не погрешил против правды. Мое вмешательство заключалось в том, что я, сообразуясь с невыдуманной историей жизни лекальщика, только несколько по-другому расположил факты.

(После войны, в первый же свой приезд на Тракторный, я пошел в инструментальный цех, отстроенный вместо сожженного,— надеялся повидать лекальщика Алексея Гульмана. Но увидеть Светлую Искру уже не пришлось. Война сделала свое страшное дело — Гульман лежал в братской могиле в десяти шагах от завода. Потом, в другой свой приезд, я узнал, что останки тракторозаводских рабочих, воевавших в отрядах народного ополчения и отдавших свою жизнь за пядь заводской земли, перенесли на Мамаев курган — оттуда виден весь город, Волга и Заволжье.)

Среди двухсот американских специалистов, приехавших в СССР и работавших на Тракторном, было два негра. Один из негров, тоненький, большеглазый и молчаливый Роберт Робинсон, работал наладчиком в инструментальном цехе. С ним однажды приключилась история, которая всколыхнула весь завод.

История эта, обычная для Америки, выглядела чу-

довищно дикой на нашей земле. Суть ее такова: два белых американца, Луис и Браун, стали задирать в столовой негра Роберта Робинсона.

За него заступился другой американец, белый, Франк Хоней; на защиту негра стал и наладчик пролета «глиссонов», толстый, добродушный Ролло Уорд.

Маленькие добрые глазки Ролло Уорда гневно засверкали. Он сказал Луису, что надо уважать обычаи и нравы страны, которая тебя пригласила на работу.

Луис покачал головой.

— Я говорю только то, что думаю. Ни больше и ни меньше. Например, чтобы хорошо работать, надо сперва избавиться от мух.

И, вспомнив о мухах, которые не давали ему покоя, он сердито сказал:

— Я не хочу обедать в обществе мух. С меня хватит негров...

Тут Браун с усмешкой сказал Луису: «Смотри, вот идет твой нигер...» Луис вскочил и злобно крикнул Робинсону: «Эй ты, откуда ты приехал сюда?» — «Оттуда, откуда и все американцы»,— спокойно ответил Робинсон. «Не забывай, что ты черный! — закричал Луис.— И ты должен отвечать так, как черный обязан говорить с белым. Черная собака! Слушай и запомни: если через три дня ты отсюда не уберешься, твоя могила будет в Волге...»

И тут Браун снова стал подбивать своего дружка: «Луис, докажи, что ты настоящий американец...» И оба они ринулись на стоявшего у стены Робинсона.

Они вздумали, эти два белых, перенести на нашу землю привычные американские порядки.

Люди Тракторного, тысячи людей, вместе с наиболее

сознательной частью американских специалистов поднялись на защиту Роберта Робинсона.

«Это вам не капиталистическая Америка,— писала газета «Даешь трактор!».— Роберт Робинсон находится, к счастью, не в той стране, где людей линчуют, где устраивают обезьяньи процессы, где верхом гуманности является электрический стул, где возможны убийства во имя «законности»...»

Луиса и Брауна судили общественным судом и выслали из пределов СССР.

Роберт Робинсон остался жить в нашей стране. Его биография вошла в книгу «Люди СТЗ» [1].

Начал записывать ее, биографию инструментальщика Робинсона, бригадир Яков Ильин. Собственно, это не было обычной записью — Ильин спрашивает, Робинсон отвечает. Со стороны казалось: сидят у Волги два человека — черный и белый. Молчат, смотрят на Волгу; иногда поют — большею частью Ильин. Иногда Робинсон что-то тихо скажет: о матери, оставшейся на Кубе, о себе — как он в двадцать четвертом раздобыл денег на дорогу и уехал в Америку. («Не хочу больше жить ни на Кубе, ни на Ямайке,— сказал я матери.— Я хочу жить decent — чисто и культурно!»)

О, «дисент»! Ильин на все лады стал произносить это слово, за которым вдруг открылась судьба молодого негра.

К той жизни, к которой тянулся Роберт Робинсон,— дисент! — лежал трудный, тяжелый путь через всю Америку.

---

[1] Инженер-конструктор Роберт Робинсон работает сейчас в Москве на заводе «Шарикоподшипник».

Он прокладывал дороги в штате Пенсильвания — там Роберт Робинсон стал одним из тех, для кого в Америке есть кличка «раф нэк» («грубая шея»); потом он стал одним из тех, кого в Штатах именуют «гэнг» — сброд, толпа, люди, годные только для черной работы; и, наконец, в двадцать восьмом году он попал к Форду — единственный негр среди семисот инструментальщиков.

> Я проработал у Форда два с половиной года и ни разу не сделал брака. Ни разу. И все это время я продолжал посещать вечерние курсы и техникум, углубляя свои технические знания. Это было нелегко. Наверно, с тех пор у меня осталась привычка мало спать — иногда всего пять часов в сутки. И еще я стал необщительным. Вам это станет понятно, если я скажу следующее: за все время работы у Форда я был окружен молчанием. Был только один рабочий, бывший матрос, католик, с которым я разговаривал. Он ненавидел тех, кто кичится, кто называет себя «стопроцентным американцем».

Были среди американцев на СТЗ и такие работники, в чьем сознании что-то стронулось при первом же соприкосновении с нашей действительностью,— с удивлением и глубоким интересом они всматривались в открывшийся новый заводской мир, совсем не похожий на их собственный.

В пружинном отделении работал один американец, к которому Ильин проявил глубочайший интерес: этот человек видел Джона Рида и Билля Хейвуда!

Американца звали Франк Хоней, он приехал к нам из Детройта; его отец был организатором Социалистической партии в городе Эри штата Пенсильвания.

В апреле тридцатого года Хоней, специалист пружинного дела, сошел с парохода в Сталинграде; высокий, худощавый, в кепке, Франк Хоней забрался в грузовую машину и всю дорогу к заводу с удивлением смотрел на крохотные деревья, высаженные прямо в степи. Казалось — на чертежном листе разметили будущие улицы нового города.

Суровый внешне, скупой на слова, Франк Хоней ожил у нас на СТЗ. Не нужно прятать своих социалистических убеждений, можно открыто вести общественную работу, спорить со своими земляками, перетягивать их на свою сторону, можно создать общество, пусть маленькое (поначалу 12 человек!), американское общество технической помощи России, вместе с русскими подписываться на заем индустриализации, вместе с русскими участвовать в воскресниках, петь революционные песни, читать книги, которые там, дома, являются запрещенными книгами... Одним словом, жить по Джону Риду и Биллю Хейвуду!

Он внимательно присматривался к этим новым для него людям, русским, советским рабочим.

«Пайониры» — вот то слово, которое к ним больше всего подходит. Они, русские, идут нехожеными тропами с той смелостью и дерзостью, которая позволяет им выиграть во времени, в темпах движения вперед. «Темпо!» Кажется, это одно из самых популярных слов на заводе. Или, как они еще любят говорить: «Даешь!» И газета у них так и зовется — «Даешь трактор!» («Гив ас трэкторс!»).

В тридцать первом году Франк Хоней поехал в Детройт за семьей. Вернувшись на Волгу, он первым долгом пошел на сборку — взглянуть на большой конвейер. Работа шла в налаженном темпе. Русские рабочие окружили его.

— Движется, Хоней, движется!

И Франк Хоней с еще большей энергией окунулся в общественную работу, стал писать в русскую газету «Даешь трактор!» и в газету, которую выпускали на заводе для американцев,— «Искра индустрии».

Человек твердых социалистических убеждений (позже он вступил в Коммунистическую партию), Франк Хоней выдержал большую борьбу с теми своими земляками, которые посмеивались над ним («Одержимый Франк!») и уговаривали его уехать с ними по завершении контракта домой, в Штаты.

В самой семье Франка назревал острый конфликт — жена потребовала скорейшего возвращения в Штаты. Но Хоней все больше обдумывал мысль — навсегда остаться в СССР. Он любил семью — жену и двух сыновей, но, как говорил нам Хоней, он полюбил свою новую родину — СССР, Тракторный завод.

— Я нужен здесь,— отвечал он жене и землякам-американцам.

Он честно и прямо спросил своих мальчиков, Ника и Джима,— с кем они хотят жить, с матерью, которая собирается домой, в Штаты, или с ним, отцом, который останется здесь, на Волге... И он понял состояние своих дорогих ребят, которым тяжело было расстаться с матерью и которые конечно же любили отца. Они взяли с отца слово, что он будет приезжать к ним туда, в Штаты, на каникулы. И он обещал им это.

Тяжело было ломать семью, но что решено, то решено — Хоней остался в СССР.

Теперь, когда он остался один, остался по собственному выбору, он с еще большим рвением стал работать в цехе, отказался от оплаты своего труда в долларах, обратился через газету к землякам: ребята, откажитесь и вы, наладчики и мастера, ведь русские строят свою индустрию, индустрию социализма!..

(В 1962 году по заданию «Правды» я приехал в Волгоград и сразу же стал искать старых знакомых, ветеранов Тракторного. В доме на проспекте Мира я встретился с Франком Хонеем, тем самым американским мастером, биографию которого мы когда-то записывали вместе с Ильиным для книги истории «Люди СТЗ».

Он сильно постарел, Франк Брунович Хоней, его лицо избороздили глубокие морщины, плечи ссутулились, но иногда, в иную минуту, из-под густых нахмуренных бровей вдруг пробивался молодой Хоней тридцатых годов, внутренне собранный, энергичный, пружинистый.

Я положил на стол старую, с обитыми краями, книгу в холщовом переплете, с заводской маркой «ИЗ». Это была знакомая Хонею книга: «Люди Сталинградского Тракторного». На 399-й странице этой книги была записана жизнь американского инструментальщика. «Движется, Хоней, движется!..»

В эту встречу я узнал некоторые подробности из дальнейшей биографии Хонея. Было и хорошее, было и грустное, тяжелое.

Одно время над Хонеем нависли грозные тучи. Люди недалекие, которым всюду чудились враги, стали вдруг подозрительно вопрошать Хонея: почему остал-

ся в России, а нет ли тут каких-то особых, тайных причин?.. Защищаться было нелегко. Но Франку Хонею неожиданно повезло. Телеграфным приказом из Наркомтяжпрома талантливый мастер-инструментальщик был откомандирован в Харьков. И там он работал несколько лет, тоскуя по своему первому советскому заводу, где он вступил в партию, где он так был нужен производству и, как он верил,— людям. Перед самой войной Хоней вернулся в город на Волге, стал работать на метизном заводе все по той же любимой специальности и трудился до самой осени сорок второго...

Метизный завод (филиал Тракторного) расположился у подножья Мамаева кургана, господствовавшего над городом. День и ночь вокруг шли бои, маленький завод делал свое дело до той последней минуты, когда все вблизи запылало огнем. Снаряды рвались на заводской территории, загорелись стены цехов, дым закрывал небо.

В осенних сумерках Франк Хоней прощался с заводом, с землей, которая стала его родной землей; он сунул в заплечный мешок сухари, банку с консервами, дорогие сердцу документы — книжку ударника тридцатых годов, письма, фотографии детей, завернутый в газетный лист орден Ленина, которым его наградили на Тракторном,— орден за № 479.

Под свист мин и снарядов Хоней пополз к Волге, он ободрал руки, колени и все-таки добрался до переправы у «Красного Октября». Там он помогал грузить раненых бойцов, а затем с группой заводских работников перебрался за Волгу.

Хоней работал на Алтае, а ранней весной сорок третьего, с первой же «стайкой» ветеранов тракторозаводцев, вернулся на Волгу. И снова на метизный.

...Вот лежит на столе перед Франком Хонеем и беседчиком из редакции старая, с высветлившимся шрифтом, истонченная временем, дорогая и милая сердцу заводская газетина тридцатых годов. Хоней негромко произносит по-английски: «Гив ас трэкторс...»)

ЭТО И ЕСТЬ ЖИЗНЬ

Сентябрь был на исходе. В «штаб» к Ильину стягивались все нити широко развернувшей свою деятельность бригады: отрабатывалась хроника заводских событий и фактов, накапливались важные документы заводской истории, записывались биографии людей СТЗ.

Ильин страстно увлечен был работой, его так захватил своей новизной сложный и тонкий процесс организации «материала жизни» — запись биографий людей СТЗ,— что невольно думалось: роман, наверное, отодвинут. Но в действительности было другое. Никогда он так азартно не работал над своей книгой, как именно в эти осенние дни на Волге...

— Знаешь — пишется! — говорил он с веселым удивлением.— Открываю Америку: начало полезно писать и в начале, и в конце, и в середине книги. Правда, нет еще должной вязкости в первой главе... Но я поставил наглый заголовок: «Сутки». Сутки завода — в цехах, в американской столовой, в коммуне у ребят, в поселке, в кабинете директора, на конвейере. Разворачиваю огромной лентой жизнь завода... И, знаешь, во многом изменился у меня метод писания. Несмотря на ряд совершенно наивных сценок, я твердо усвоил: нельзя,

понимаешь, нельзя показывать завод и новую технику *скучно*, так сказать, рассуждениями в прозе. Все нужно — и рассуждения, и мысль, и философия... Но лишь в таких же дозах, в каких к золоту примешивают другие металлы для большей крепости. Должно «хотеться» читать! Мясо, мясо должно быть,— иначе это будет не литература, а немецкая статистика военных лет — о большей питательности бураков, нежели масла и телятины...

И с грустной улыбкой вдруг сказал, оглядывая свой рабочий стол:

— Эх, владеть бы мне пером «быстрым, живописным и пламенным»! И — время! Иметь бы свободное время. И еще — упорство в мастерстве... Вон гляди! Под рассказом «Иван да Марья» стоит дата — «1920 — 1928». Это сроки бабелевские... Меня не страшат ни полгода, ни год, ни полтора. Самый факт, что я охватил размеры книги, проложил первые краски и увидел уже подобие того, чего я добиваюсь,— вот это больше всего меня сейчас радует. Теперь дело только за временем. Основа, как говорится, найдена, но «доделки» громадны...

Он прыснул со смеху.

— О-о, «доделки»! На Магнитке «доделками» знаешь что называется? Пристроить к одной домне — еще три домны, два мартена и один блюминг. Примерно такие же «доделки» предстоят мне. Не хочется повторять историю СТЗ и пустить роман даже в журнал недоделанным,— чтобы потом на глазах у всех его доделывать. Вышло так: я загрунтовал огромный сюжет, еще не думая о его размерах. И вот первая же прорисовка композиции показала мне такое богатство воз-

можностей, что я чуть не задохся от раскрывшихся передо мной масштабов. И чем больше я работаю, тем сильнее я чувствую, как отдельные, разрозненные эпизоды, мелкие сцены, черты людей, фразы, события,— все становится на свое место. Это не механически скрепленные подробности — это уже детали задуманного целого... Все более отчетливо живет во мне мысль — собственно, над этим я сейчас бьюсь! — мысль, которая должна пройти через весь «Конвейер»,— это резкое противопоставление тех, кто делает жизнь, тем, кого тащит жизнь...

Он ввязывался в самые острые споры, а в них тогда недостатка не было, время было такое — одно отходило, другое, новое, стремительно врывалось в жизнь, ломая, атакуя старое. И закипали эти споры не где-то там, в стороне, в тиши, а яростно разгорались в заводском или студенческом общежитии, в доме-коммуне молодых рабочих, в редакциях газет, в Институте красной профессуры, где Ильин одновременно с работой в «Правде» учился.

И все это живое, злободневное, начиненное политикой, будто порохом, страстное, размашистое, порою угловатое, с перехлестами, переносилось Ильиным на страницы романа.

Был у Якова Ильина в Москве хороший знакомый, историк по профессии. Молодой, острый, насмешливый, «икапист-историк» уверенно шел своей, как говорил Ильин, профессорской дорогой и ни на что другое не считал нужным тратить драгоценное время. «Оно мне дорого!» — любил говорить историк.

Вот с ним-то однажды Ильин крепко заспорил. Речь шла о том, что так волновало в ту пору многих:

о жизни только «для себя» и о жизни для общества. Историк (в романе — Полкинс) с иронией относился к широкой деятельности Якова Ильина. Он высмеивал «ильинский прагматизм»: газетчик, организатор, слушатель Института красной профессуры и будущий писатель (это с особой иронией). В его чистой, опрятной комнате, полной книг, царила особая атмосфера циничного острословия; то ли с усмешкой, то ли и впрямь так думая, он называл себя «ценным человеческим агрегатом». А посему — надо жить, обходя все текущее, злободневное, накопляя знания для завтрашнего дня.

Он так и говорил Ильину:

— Что ты все заладил: «делись»! А по-моему, сперва накопляй знания, а потом уже отдавай...

Ильину трудно, просто трудно было понять таких людей: а ведь умные, черти, горы книг перечитали — и сделали себе из книг щит от сегодняшней, забитой строительной пылью жизни...

Вот эта способность уйти от дня сегодняшнего, от тех забот, которыми живут люди, делающие тракторы, приводила Ильина в ярость.

— Ну да,— усмехаясь, говорил Ильин,— все эти грабари, полуграмотные, обутые в лапти,— только «подсобный материал» истории. А вот люди типа нашего вольноопределяющегося — это «основной материал», направляющий движение эпохи... Они, «вольноопределяющиеся эпохи», считают, что тысячи должны напрягаться, уставать, дышать строительной пылью, чтобы единицы могли наслаждаться, читая спокойно Фихте и Гейне. И вот что поразительно — они за индустрию, ибо

связывают с ней блага своего, так сказать, личного бытия... Какой подлый, пенкоснимательский подход к жизни!

В письмах к Северьяновой в ту же сталинградскую осень он размышляет о своих планах, о том, что именуется «личной жизнью». Какая она будет, эта личная жизнь, и вообще, что ждет его впереди...

23 сентября 32 г.

Вернусь в Москву в начале октября, числа 10-го. Тянет к тебе, к Гальке чрезвычайно. Как же ты себя чувствуешь? Будут ли у тебя экзамены? Доченька, без тебя все-таки жить мне тяжело. Ночью — не спится, вспоминаю тебя, Москву. Вероятно, зима эта будет у меня тяжелой. Придется с месяц полежать в больнице, забросить ИКП, мучительно долго снова и снова работать над книгой, писать историю, работать долго и упорно. Во всем этом нужна мне твоя помощь. Я растерял остатки молодости, Нюра! Я стал малоподвижен, задумчив, даже угрюм и притом дьявольски вежлив. Литература и болезни — тяжелые профессии. Все силы, какие есть во мне, собраны в одну точку.

Понимаешь, Нюрок, родная моя и любимая девушка,— Тракторный был школой не только для нашей промышленности, но и для меня лично. Он меня научил по-иному глядеть на многие вещи.

Я работаю над книгой два с половиной года. Я от нее устал, я ею измучен. И вместе с тем я в

нее влюблен, как в тебя, и буду еще и еще работать. Она — то разрастается, то уменьшается — то 3 раза переписывается, то 15 раз перекраивается, и все же я вижу, я убежден, что раз от разу она становится лучше. Махни на меня рукой — на эту зиму я еще прошу у тебя отсрочки. Собственно говоря, эта отсрочка относительная — я здесь помимо всего прочего написал 3 статьи и на днях закончу еще две, организовал сборник «Люди Тракторного завода» — рассказы мастеров, инженеров и рабочих о себе, о своей жизни и о заводе; организовал по заданию А. М. специальный номер «Наших достижений» и сильно продвинул вперед работу над «Конвейером».

И мне, как маленькому мальчику, часто кажется, что вот я закончу эти работы и тогда окрепну, поздоровею, вернусь в молодость. Но в молодость дороги уже нам заказаны. Мы будем, вероятно, еще много и хорошо жить, но въехать обратно в 1928 год, в годы юности, мы сможем лишь на моторе воспоминаний. Но я не жалею молодости — настоящее не хуже. Это и есть жизнь — любовь, работа, напряжение всех сил для достижения определенной цели, борьба за взгляды партии, за жизнь, в которой все бы могли быть освобождены от тяжких и ненужных страданий.

Мои ребята, Газган или Рожков из «Конвейера», и сотни им подобных могли бы о себе сказать: «Вся моя личная жизнь, вся обстановка моей личной жизни, начиная с 14—15 лет, т. е. с того времени, когда мы начали мыслить и действовать, проходила в постоянной и напряженной работе по пере-

делке окружающей нас среды. Может, иногда, сами того не понимая (разрядка в данном случае моя.— *Я.*), мы шли на поводу у ошибочных идей и взглядов. Но мы прошлое свое берем не как единый цельный кусок, *мы его разделяем,* мы отбираем те *из внедренных качеств,* которые могут быть полезны нам в дальнейшей работе, и отбрасываем те, что вредны, чужды нам».

Доченька! Скоро наше четырехлетие. Начинается наша вторая пятилетка. И я думаю — мы ее, как и вся страна, проживем в 2-3 раза лучше, чем первую. Но и первую — я ни на какую другую не сменяю! Привет тебе, Нюра, целую тебя крепко, но все же с некоторой опаской — как-никак ты теперь слушатель курсов марксизма!

Твой Я.

...Поздно вечером я перечитал перепечатанные главы первой задуманной книги — «Наше поколение». Представь, прочел неотрывно, с увлечением. Оказывается, мною сделано свыше 120 страниц, перепечатано и написано еще столько же, помимо трех папок заготовленного материала. И я опять загорелся! Это должна быть книга о нас, о нашем поколении, которому сейчас четверть века,— о поколении, выращенном революцией. Хочу до крайности реально выписать (вернее, выявить) наши споры, деятельность, увлечения, переживания, рост. Книга о годах нэпа, о нашем формировании — с 15 лет (т. е. с подростковых) до 25 лет — до дней расцвета жизни. Какая это может быть

увлекательная и хорошая книга! Я ее вижу всю, я ее читаю, она стоит передо мною.

И ты и я выросли в комсомоле и по существу созданы им. Всем, что есть во мне хорошего, я обязан комсомолу и партии. Вторая книга, над которой мне придется много больше и много мучительнее работать, чем над первой, будет посвящена именно тому, что ты пишешь,— как превращаются Нюрки 1923 года в Нюрок 1932 года, как превращаются Яшки, выходцы из мелкобуржуазной, затхлой среды, в Яшек-коммунистов, очищенных от всего этого частнособственнического, индивидуалистического зуда, как растут наши люди, почему они не могут иначе расти в наших условиях, и почему, следовательно, необходима и непобедима революция. И если я напишу эту книгу, то я вложу в нее все, все, что во мне есть,— я рад бы сгореть, чтобы передать то, что чувствую в отношении нашей партии и революции.

Он дописывал последние строки письма, когда под распахнутыми настежь окнами его комнаты появился сияющий Гурко в матросском бушлате. Могучим, трубным голосом Гурко закричал:

— Эй, Крылатый! Слушай, братишка, шаги истории!..

Ильин на лету поймал свежий, только что сошедший с печатного вала номер газеты «Даешь трактор!». На двух страницах вкладки была напечатана краткая хроника строительства, монтажа и пуска СТЗ.

«Крылатый» читал вслух эту свежую хронику, читал медленно и торжественно, словно стихи это были.

Год тысяча девятьсот девятнадцатый. Сражение с белыми армиями на месте нынешнего СТЗ. Сергеев (начальник ОКСа), Букатин (склад) наступают в цепи красных в районе будущей заводской площадки. Федотов (завком) копает окоп как раз на месте его будущего дома возле цирка. Летчик Бельц (библиотека) бросает бомбы на белых. Левандовский (большой конвейер) ведет в бой бронемашины.

В этом же году издается декрет о едином тракторном хозяйстве РСФСР.

Тысяча девятьсот двадцать шестой год. В день Первого мая заложен первый камень завода.

Тысяча девятьсот двадцать восьмой год. В апреле Гипромезом рассмотрен и утвержден предварительный проект завода. В Ленинградский порт прибыл из Америки, от фирмы «Маккормик», трактор типа «Интернационал». Работники Ленинградского отделения Гипромеза товарищи Дюфур и Меламед проехали на нем по Невскому проспекту к проектной конторе на Староконюшенной и в тот же день приступили к детальному изучению машины.

«И ПЛЮС МОЯ ЖИЗНЬ...»

В октябре он уже был в Москве, на воле походил недолго — предстояла операция, нужно было лечь на больничную койку.

Сказалось страшное напряжение этих трудных лет. «Жизнь на колесах», беспокойная жизнь разъездного публициста-исследователя — сегодня Донбасс, завтра

Нижний, потом Урал, потом Сормово, потом Питер, Орехово-Зуево, Саратов, Сталинград и снова Донбасс, и снова Сталинград,— такая жизнь требовала бешеного напора и деловитости, полной отдачи во всем. Его надломила малярия, скрутила дизентерия, подхваченная на Волге, а тут еще обрушилась тяжелая болезнь.

И все-таки он верил, что сумеет отбиться,— ну что ж, пришлось взять командировку в больницу, но он постарается использовать эту вынужденную передышку. Надо завершить работу над романом, в который столько вложено. Надо сдать Мастеру, в главную редакцию «Истории фабрик и заводов», коллективный труд — «Люди Сталинградского Тракторного».

Свою палату в Кремлевской больнице Ильин превратил в литературно-издательский штаб.

Его, кажется, ни на одну минуту не оставляли одного — из других палат к нему тянулись находившиеся на излечении в этой больнице работники ВСНХ, госплановцы, хозяйственники с новостроек и заводов. Чем-то их притягивал к себе этот неунывающий, остроглазый молодой правдист!

Ильинская палата стала своего рода деловым клубом. По вечерам, а то и днем хозяйственники сходились в его узенькой белоснежной палате — строители черной металлургии, управляющие угольными трестами, техноруки, красные директора. Они приносили аккуратно сложенные синьки, с которыми, кажется, никогда не расставались, делились своими планами, своими радостями и особенно горестями, которые в те годы по всей стране именовались «узкими местами».

Он готов был благодарить судьбу за то, что она свела его — эх, жаль только, что в больнице! — с такими за-

мечательными личностями, за плечами которых громадные дела первой пятилетки.

Какой удивительный народ! Иных чуть ли не приказом ВСНХ заставили идти в больницу, они лечатся в темпе, исполняют всякие процедуры, а душою и сердцем они там, на стройках,— за Уральским хребтом или на юге Украины. И они, как дети, таясь от врачей, по ночам или в часы рассвета, накинув на плечи халат, в шлепанцах на босу ногу, крадутся к телефонной будке — и далекие голоса с Магнитки, и Дальнего Востока, и Донбасса врываются в больницу суточными сводками добычи угля, выплавки металла, кубометров бетона. Потом они долго курят в коридоре, тихо переговариваются, обмениваются заводскими и строительными новостями, а засыпая, что-то бормочут, и кажется, будто они и во сне продолжают «выбивать» фонды остродефицитных материалов, распекают своих подчиненных, грозятся приехать и навести там, у себя на площадке, порядок...

Ильину, конечно, было очень дорого общение с ними, с этими могучими хозяйственниками, но и им, деловым людям, я думаю, интересно было «сцеплять» свои мысли с живой, стремительной мыслью Ильина. К тому же он был им полезен, этот Яков Ильин. Даже отсюда, из больницы, он мог позвонить в Госплан, в нужный наркомат, где у него были добрые знакомые, наконец, продвинуть вопрос через «Правду», а если надо, то связаться с самим Серго Орджоникидзе...

Ильин как-то прослышал, что с Балхаша приехал В. И. Иванов, которого болезнь заставила на время лечь в эту же больницу. Ильин немедленно отправляется к нему в палату и завязывает дружбу с этим человеком

пятилетки, строителем Сталинградского Тракторного и первым директором завода массово-поточного производства.

Для книги «Люди Сталинградского Тракторного» я записывал биографию Василия Ивановича Иванова. Своего «беседчика» Иванов знал со дней строительства; постепенно он привык ко мне, и чем острее были вопросы, тем жарче он откликался на беседу.

Ильин дал мне знать: Иванов в Москве, приходи, завершай работу.

Собственно, биография Иванова уже раньше была у нас записана,— оставались некоторые вопросы, уточняющие подробности жизни.

Яков Ильин и я, «беседчик»,— мы всей душою привязались к этому большевику незаурядной судьбы.

Человек крутого нрава, Василий Иванович отличался тем, что решительно рубил сплеча, но многие прощали ему эту горячность, потому что видели: живет Иванов стройкой, только стройкой.

Он быстро «вскипал», его хриплый, раскатистый бас гремел то в дощатом бараке, то на лесах стройки. Но бывало и так, что в самый острый момент «баталии» он вдруг круто, с сердитой усмешкой обрывал себя: «Ну вот, заиграл-запел!»

И однако же этот ершистый, порывистый, огневой начальник строительства, русский большевик Иванов превосходно вел дела с крупнейшими бизнесменами Америки. И у себя на Волге умел хорошо ладить с иностранными специалистами. Инженер Калдер, представитель американской строительной фирмы, работавший бок о бок с Ивановым, приглядевшись к Василию Ивановичу, сказал о нем однажды с улыбкой, но ува-

жительно: «О, Иванов! На большом строительстве требуется не только стамеска, но и топор...»

Начальник строительства Иванов, человек, который так много претерпел, «споткнулся» в период освоения завода, был близок Ильину, занимал его воображение. Он выверял сталинградским Ивановым свой, созданный им в романе образ начальника строительства Игнатова.

В своем дневнике Ильин весной тридцать первого стал набрасывать черты портрета Иванова.

> «*Иванов*. Он приехал за 6 дней до пуска завода из Америки. Тут все уж было предрешено. Он был против пуска, он чуял опасность. Был разрыв между пуском и монтажом. Еще шли пароходы с оборудованием. Оно прибывало не комплектно. Как ни геройски сгружали пароходы в Новороссийске, как ни гнали маршрутные поезда в Сталинград — открывать было преждевременно. Но отступать уже было нельзя. Иванов — открыл. Завод, как недоношенное дитя, начал жить преждевременно.
>
> В. Иванов ненавидел кустарщину, и если, проходя по цеху, видел, как вручную доделывают детали, вырывал и выбрасывал инструмент. Он был поклонник массового поточного производства,— а его-то еще и не было.
>
> Тут нареканий нет. Нарекания начались с той поры, когда Василий Иванов стал все больше ощущать, что поддался тщеславию, досрочно пустив в ход завод,— ведь не прибыли все станки, ведь часть деталей делали вручную и корежили луч-

шие инструменты, ведь о непрерывном потоке нельзя было и говорить: в месяц снимали по пять вручную сделанных тракторов. Тяжело переживал, бесился Василий Иванов (об этом Галин напишет), метался из стороны в сторону, и это тот самый Василий Иванов, который был до революции монтером и матросом, после революции чекистом и военкомом, секретарем Екатеринославского губкома партии, сумевший в свое время сломить 3-тысячную забастовку прокатчиков на заводе Петровского, убедить их не срывать дело, и разговаривавший властно и толково с промышленниками Америки.

Иванов самолюбив, властен, и он деловой — с размахом и загадом. Давят купцовские навыки Волги, России, бескультурья, иногда хвастает, но в общем — дельный человек. Ему нужна самостоятельность и в то же время узда. Серго Орджоникидзе умеет его использовать.

Я слышал выступление Иванова 5 мая на слете рабкоров. Он невысок, зарос седой щетиной, выдается брюшко. Говорит резко. Любит острые слова, держит аудиторию в напряжении. К нему относятся хорошо, с ним ругаются, говорят о нем запросто: свой. Ему верят. Запомнились из его речи два места:

1) Я считаю, что у большевиков должна быть смелость в борьбе за пятилетку.

2) Хорошо говорил о Тракторном: лучший в мире завод, станки с нулевым моральным износом. *И мы этот завод изгадили.* Надо же учиться, товарищи!

Он безусловно человек периода строительного — со всеми родимыми пятнами этой эпохи. Ухарство в нем переплетается с упорством и деловитостью, размах — с купцовским самодурством, тщеславие — с преданностью революции. Имя к нему пристало плотно, не видев его ни разу, я представлял его таким, как он есть, только чуть повыше и дородней. Он стесан из той питерской глыбы, которая дала десятки таких Ивановых на хозяйственную работу преимущественно. Рассказывают о нем люди охотно и много. Каждый день он обходил строительство, а впоследствии и цеха в присутствии представителя заводской газеты,— тут же на месте намечались темы критических выступлений в «Даешь трактор!». Он практичен. И в то же время любит (пока в пределах строительства) мечтать...»

Ильин, худенький, в больничной рубахе с распахнутым воротом, с остро выпирающими ключицами, забирался с ногами в кресло и оттуда, из уголка, пристально вглядывался в Иванова.

Василий Иванович тяжело переживал свой переход — с Волги на озеро Балхаш: там Иванов начал строить крупнейший в стране медеплавильный комбинат. Он старался забыть, «отключиться» от Тракторного. Но — не мог. Он все еще жил заводом — первенцем пятилетки, в строительство которого вложил всю страсть души.

А тут еще мы с Ильиным неумолимо жалящими вопросами в осенние дни тридцать второго года возвращали его мысли к той полосе ивановской жизни,

которая связана была с муками освоения новой техники.

— Ну да,— говорил Василий Иванович, вышагивая по узкой палате,— я понимаю,— говорил он тихо, с какой-то злой грустью, словно жалел себя, завод и то дело, которому отдал столько энергии,— я очень хорошо умом понимаю, что через все это надо было пройти... через муки освоения.

Тут я хотел было что-то уточнить, задать Иванову какой-то вопрос, но Ильин из своего уголка сделал предостерегающий жест: «Погоди!»

Иванов тяжко вздохнул: а ведь так прекрасно было все задумано! Главный конвейер тянется на 140 метров. Каждая операция длится от секунды до нескольких минут. И каждые шесть минут должен выходить готовый трактор. Шесть минут — это тот постоянный ритм, который уплотняет время и требует точности от рабочих рук. Вот как было задумано!

Но, оказывается, спроектировать и смонтировать новую технику — это еще не значит овладеть ею. Овладеть было значительно труднее. Упорство, время и знания потребовались.

Василий Иванович извлек из портфеля сложенные гармошкой карты автомобильных дорог Америки, разложил их на кровати в последовательном порядке и с интересом стал рассматривать маршруты своих путешествий по Соединенным Штатам — от океана к океану. Он с какой-то грубоватой нежностью провел рукою по зеленым дорожным картам, вскинул коротко стриженную, в сединах голову, с удивлением проговорил:

— Далеко это отсюда — и Детройт, и Чикаго, и Нью-Йорк... И как давно, ребятки, все это было...

Теперь он в свою очередь стал задавать нам вопросы: что слышно сегодня на Волге, достигли ли там проектной мощности,— говорят, что такие-то и такие-то инженеры и рабочие откомандированы в Харьков, в Челябинск и даже в Москву...

Он сердито дернул плечом. Ишь какие мы быстрые! Транжирим свои кадры! Потом, видимо вспомнив, что дела СТЗ давно уже передал другому, что теперь у него совсем другие заботы — Балхашстрой! — раскатисто рассмеялся. «Вот оно как! Даем, значит (он подмигнул нам), даем на другие заводы кадры, прошедшие муки освоения...»

Ильин вдруг спросил Иванова:

— Что, Василий Иванович, небось тоскуешь по Тракторному?

Иванов медленно покачал головой.

— Я — не из тоскующих... Хотя,— он усмехнулся,— сводки оттуда аккуратненько получаю.

— И по дороге с Балхаша, наверное, свернул на Волгу, а? — снова спросил Ильин.

— Свернул,— сказал Иванов и радостно рассмеялся.

Ильин и здесь, в палате, как и у себя дома, как и на Волге, в доме приезжих, был обложен книгами и тетрадями, кипами газет, рукописями... Он ненавидел болезнь свою: боже, какое дикое расточительство, какая глупая трата времени! Он подгонял себя и врачей: мне надо скорее, скорее стать на ноги!

Создавалось впечатление, что саму болезнь свою и тревожные мысли о ней он отгонял работой.

Он начал писать вступление к «Людям Сталинград-

ского Тракторного». Набросает страницу, потом заполняет ее обильными вставками карандашом.

Он долго искал ключ к этой книге. Где та «арматура», которая духовно сцепит эти столь разные, обычные и необычные, судьбы людей одного завода? И еще волновало: ведь рукопись «Людей СТЗ» будет читать Мастер...

В одну из наших встреч в палатной «штаб-квартире» Ильин читал мне с «листочков» начало вступительной статьи к биографиям людей СТЗ.

Он сидел на кровати, опираясь спиной о подушки. Отпечатанная на машинке, объемистая рукопись была у него на коленях. Ильин, кажется, не спешил с нею расставаться,— так приятно было ощущать тяжесть сотен ее страниц.

Ильин заговорил о болезни, о предстоящей на днях операции.

— И что обидно, — он зябко повел плечами,— в разгар работы!

Он «истончал», глаза у него блестели лихорадочным блеском.

— Ночью, когда мне особенно невмоготу,— а ночи здесь длиннющие,— я завожу с ними разговор. Здесь,— он ладонью поглаживал листы рукописи,— здесь тридцать две жизни!.. Тридцать две! И плюс моя. И плюс — всех наших историков-«беседчиков»...

Ильин приподнял с колен рукопись.

— Люди пятилетки! С годами жизнь, наверное, более отчетливо вычеканит черты этих лет, и, кто знает, может, когда-нибудь, просматривая листочки записей «для себя», я буду с улыбкой вспоминать «добрые старые времена» — время первой пятилетки. Я очень по-

баиваюсь громких слов, признаюсь тебе, они мне надоели на газетном листе, и от них не так легко,— он сердито стукнул кулаком по рукописи,— не так, говорю, легко избавиться. Но тут я не боюсь горячего слова... Страна Первой Пятилетки. Подошла вторая пятилетка, потом будет третья, а там, глядишь, перейдем на более крупный масштаб. Но начало начал — в этой, первой, неповторимой...

Он не успел полностью завершить вступление к «Людям СТЗ»; последние строки были такие:

«Буржуазная литература чрезвычайно мало создала героев ярких, увлекательных — людей, которые могли бы служить образцом, эталоном, измерителем человеческих высот».

По наброскам плана можно проследить ход его мыслей.

«Портреты фабрикантов и железоделателей, родоначальников капиталистической индустриализации.

Мартен; Бессемер; Дизель; Форд».

«Цель жизни — жизнь» (Герцен).

«Жизнь, достойная человека».

Ильин воспользовался тем, что на два дня отложили операцию, и сразу же стал писать предисловие к «Большому конвейеру»; вернее, просматривать старый вариант, черкать и дописывать новые строки.

Он «загрунтовал» (его любимое слово) разговор с читателем.

«Сейчас вот, когда я кончаю книгу, сознаюсь, мне хочется того, чтобы строчки эти не седели, не старились, чтобы оставались они упруги и молоды и в первой и во второй пятилетке».

Оттуда, из больницы, он написал своим товарищам:

«Настроение хорошее, читаю Герцена, Флобера; крепко жму руки».

20 декабря тридцать второго года смерть оборвала работу Ильина над рукописью «Большого конвейера». Ему было двадцать семь лет, он полон был новых замыслов, планов, незавершенных работ...

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК XX ВЕКА

...Осенью тридцать второго года Алексей Максимович на короткое время уехал в Италию. Но и там, в Италии, Горький по-прежнему связан был теснейшими узами с Советским Союзом («Очень много работаю, немножко прихварываю, но, в общем — держусь!»).

В. В. Куйбышев посылает Горькому «Проект второго пятилетнего плана развития народного хозяйства». К Мастеру потоком идут рукописи, книги, письма. Он много читает, редактирует, продвигает, подталкивает, он внимательно следит за рождением нового альманаха, которому дали название по дате годовщины Октябрьской революции — «Год XVI». Направляет движение по созданию «Истории фабрик и заводов», держит в поле своего зрения и бригаду Ильина.

Всего только полтора года прошло, когда на Никитскую, в дом Горького, пришел молодой человек в накинутой на плечи кожаной тужурке. Пришел — и рассказал Алексею Максимовичу о Тракторном на Волге, о новых домах с «музыкально чуткими» стенами, о молодежи, штурмующей американскую технику. Пришел с интереснейшим замыслом, который сразу же после того, как к нему «дотронулся» своей живой, острой мыслью А. М. Горький, получил широкий, дело-

вой размах: коллективом делать Историю одного завода.

То ли горьковский «заряд энергии» так мощно действовал, то ли само дело, живое, заманчивое, толкало нашу бригаду — книга рождалась в поразительно быстром темпе.

Туда, в Сорренто, к Горькому, из главной редакции был направлен объемистый пакет с рукописью «Людей Сталинградского Тракторного».

И вот Алексей Максимович читает тридцать две биографии наших современников — от юного рабочего-семитысячника до начальника строительства. Русские, украинцы, чуваши, татары, американцы... Тридцать две жизни.

Сквозное движение людских судеб, крепкое и тесное переплетение каждого с судьбой завода, поставленного историей на высоком, крутом берегу Волги, можно сказать, на виду у всего мира, должно отличать эту необычно задуманную книгу. Ведь тут, на Тракторном, все трепетало живою жизнью, характеры здесь отливались в особые, невиданные формы, биографии рисовали саму эпоху, пламенную, стремительную эпоху индустриализации...

Хорошо помнится нам, работникам горьковской артели, тот день, когда от Алексея Максимовича прибыл из Италии пакет с рукописью «Людей СТЗ», страницы которой были им прочитаны внимательнейшим образом,— по ним бережно и требовательно прошелся редакторский карандаш Мастера. В этом же пакете была и его статья — предисловие к книге, созданной содружеством литераторов, рабочих, инженеров.

«Люди Сталинградского Тракторного» — и это мы ра-

достно ощутили по первым же горьковским словам — захватили Алексея Максимовича своей удивительно слаженной настроенностью.

> Не опасаясь «перехвалить»,— писал Алексей Максимович,— я убежденно скажу об этой книге: одна из наиболее интересных и оригинальных книг, которые явились в нашей литературе за пятнадцать лет.
>
> Пишут тридцать два автора. Не скрывая своих недостатков, показывая, как недостатки преодолевались, как возникало в индивидуалисте сознание социального и государственного смысла труда.
>
> И вообще в книге много простой хорошей правды — правды смелых, сильных людей, большевистской правды.

Сигнальный экземпляр! От книги еще остро пахло типографской краской — мы вдыхали ее с величайшим наслаждением. Работа сделана, книга увидела свет! Музыкой звучали выходные данные, набранные петитом:

«Сдано в производство 29 апреля 1933 года. Подписано к печати 9 июня. Вышло в свет 5 июля 1933 г.».

Вышло в свет! Эти слова волновали своей деловой прозой. На обложке издательская марка: заводские трубы и у основания — раскрытая книга. А на первой странице крупно: «ИЗ» («История заводов»). Кажется, в десятый и сотый раз мы листали страницы только что вышедшей книги, главным составителем которой

был Яков Ильин. На последней странице на всю полосу шло фото — колонна тракторов с плугами на прицепе разворачивает степную целину. Ах, если бы наш бригадир, «дирижер маленького оркестра», мог видеть эту книгу, в рождение которой он вложил столько энергии, труда, выдумки!..

Горьковская артель продолжала свою работу — готовилось второе издание коллективной книги.

В моей памяти оживает июльский день тридцать пятого года — встреча у Горького; было это под Москвою, на даче у Алексея Максимовича.

Горьковская «академия узнавания» на этот раз принимала у себя девушек-парашютисток и пионеров из Армении. Помню стремительно несущийся веселый автобус — он всю дорогу звенел песнями, которые распевали девчата. С ними к Горькому приехал Александр Косарев.

Ромен Роллан гостил в те дни у Алексея Максимовича. Рядом с хрупким Ролланом, который зябко кутался в широкий плед, высокий, с чуть поднятыми плечами Горький выглядел крепко, молодо, энергично.

Наверно, думал я, каждый, кто сидит сейчас за этим большим и широким столом в просторной и светлой комнате с открытой дверью на веранду, наверно, каждый по-своему видит писателя, которого зовут Максим Горький.

Я не свожу глаз с его рук — они у Горького особенные. Когда-то он сказал о руках Толстого: вот удивительные руки, некрасивые, узловатые от расширенных

вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Такие руки должны были быть у Леонардо да Винчи... Такими руками мастера можно делать все, думаю я, глядя сейчас на горьковские руки, которые в ожидании беседы спокойно лежат на столе, слегка сжатые в кулак.

В тот летний день тридцать пятого года Алексей Максимович был приветлив, оживлен, он словно вбирал в себя веселую энергию навестившей его молодости.

Когда девушки расселись за большим столом, Горький, поглядывая веселым оком на свою юную соседку, Нату Бабушкину, почтительно спросил ее:

— Доложите-ка, уважаемый товарищ, каково там, в облаках... замирает ли сердце, когда опускаешься с небес с парашютом?..

Бабушкина, веселая хохотунья, тотчас откликнулась:

— Там — не до сердца! — И доверительно добавила: — По правде сказать, о другом в те секунды думаешь: как бы ловчее прыгнуть, удачно приземлиться...

— Весьма, весьма обнадеживающее сообщение,— гудящим басом сказал Горький, пряча улыбку в глазах.

И грянувший смех, и первые стремительные вопросы и ответы, которыми обменялись Алексей Максимович и девушки-парашютистки, сразу же ввели беседу в дружеское русло.

Ромену Роллану переводила жена, Мария Павловна; внимательным взглядом из-под нависших седых бровей Роллан всматривался в девушек, расспрашивал о каждой сидевшего рядом с ним Косарева.

— Я видел их на Красной площади,— улыбаясь, сказал Роллан.

Высокий белоснежный воротник охватывал тонкую шею художника; при мысли о том, что этому хрупкому, согбенному от непрестанной работы человеку пришлось преодолеть тысячекилометровый путь в Россию, в душе росло глубочайшее уважение к мастеру из Кламси.

Косарев отыскал глазами плотную, с коротко стриженной, мальчишеской головой Олю Яковлеву, попросил ее:

— Вот Оля расскажет нам историю своих высотных прыжков...

Нужно было видеть, как заблестели глаза у Горького, как, подавшись вперед, слушал Ромен Роллан чудесный Олин рассказ о том, как она вместе с пятью сидящими здесь девушками упорно готовилась, а затем совершила высотный прыжок. Сегодня это спорт, говорила она, но мы, если понадобится, всегда готовы к защите Родины.

— Не пошел бы я в ваши враги,— бросил реплику Горький. И, потянувшись к невысокой, крепко сбитой парашютистке, негромко и заинтересованно, будто сам намерен был заняться этим весьма увлекательным спортом, спросил: — А скажите, уважаемый товарищ Ольга, каково главное, так сказать, первичное ощущение при высотном прыжке?

— Ощущение? — переспросила Оля и просто ответила: — А у меня, товарищ Максим Горький, уже сорок пять прыжков записано. Верите — привыкла.

Оля рассказала об одном зимнем своем прыжке. Встретила ее на земле старуха, и приняла та старуха

Олю Яковлеву за «божьего посланника», сброшенного с небес, и все спрашивала парашютистку: «А мясо и кости у тебя такие же, как и у нас, земных?..»

— Ощупывает она меня руками, а я честно уверяю: «Все такое же, бабушка, такое!..»

— Ах, черт! — Горький забарабанил пальцами по столу.— Вот о чем писать надо. Отчаянные какие, а?..

Время от времени Горький обращал свой взор в сторону Ромена Роллана и Марии Павловны, ревниво следя за тем, чтобы Мария Павловна все-все перевела Роллану; открыто радуясь за наших девчат, Горький всем своим видом как бы утверждал: «Ничего не скажешь — добротный, даровитый народ!»

Косарев с короткой горячей речью обратился к Горькому и Ромену Роллану.

Он говорил о том огромном влиянии, которое оказывают художественными произведениями, всем опытом своей жизни такие мастера, как наш Горький и наш Ромен Роллан.

— Ромен Роллан не является нашим соотечественником. Но он нам очень близок и дорог. Образы Жана Кристофа и Кола Брюньона живут в наших сердцах, потому что мы — жизненно сильное поколение.

Ромен Роллан порывисто встал, обнял Косарева, сказал тихо:

— Жан Кристоф и Кола Брюньон родились во вражеском стане... А теперь они пришли в дружеский мир. Я рад, что они — мой Кола Брюньон, и мой Жан Кристоф — нашли друзей среди вас, молодых... Друзья мои, все остающиеся силы я отдам юной жизни нового мира. Я с вами, мои друзья!

Застолье у Горького долго еще продолжалось.

Алексей Максимович не хотел отпускать молодых гостей. Он повел всех на веранду, и здесь, охваченные кольцом девушек-парашютисток, Горький, Ромен Роллан, Саша Косарев были засняты на фоне подмосковных сосен.

Ната Бабушкина вдела Алексею Максимовичу в петлицу пиджака полевой цветок; у ног Горького и Роллана прижались внучки Алексея Максимовича — Дарья и Марфа.

Там же, в Горках, у меня произошла короткая, почти «молниеносная» беседа с Горьким.

Помимо корреспондентского задания — дать в «Правду» заметку о встрече — у меня к Алексею Максимовичу было еще одно, так сказать, артельное дело: я привез ему второе издание книги «Люди Сталинградского Тракторного». Хотел поделиться новыми планами. Только не знал, как подступиться. Его цепкий глаз заметил книгу, которую я крепко держал, прижав к себе, потому что уже к вечеру, спускаясь по лестнице в сад, он на мгновение приостановился и понимающе, вопросительно глянул,— тут я отважился, без промедления вручил Горькому нашу книгу, главным организатором которой был хорошо знакомый ему Яков Ильин.

И вот «Люди СТЗ», плотный том в суровом холщовом переплете, в руках у Горького. Книга с рабочей маркой «ИЗ» — «История заводов».

Горький оживился. Я так истолковал для себя его стремительную улыбку: значит, можно! Можно работать коллективно.

И, кто знает, может, вспомнилось ему в эту минуту «место действия» — степь, Волга, овражная речушка

Мечетка, табор строителей и та засевшая в памяти мысль: а сумеют ли молодые оковать пустыню? Хватит ли сил?

И верно, он вдруг усмехнулся, будто былое вспоминал: «Оковали, значит...»

В первом издании была записана биография американского мастера наладчика Ролло Уорда. Горький в своем предисловии упоминал о нем. Уорд уехал в Америку — кончился его контракт с нашим заводом.

Листая страницы книги, Горький остановился на фотографии веселого, добродушного Ролло Уорда, этого вполне «освоенного» нашими ребятами американца.

— Где нынче сей житель? — улыбаясь, спросил Алексей Максимович.— В Америке? А пишет нашим ребятам?

Я коротко рассказал содержание писем Ролло Уорда — он долго искал у себя на родине работу, американский мастер, он хорошо помнит своих учеников из пролета «глиссонов», часто вспоминает и, как говорит, тоскует по ним.

Горький глуховатым баском проговорил:

— Тоскует? Это хорошо... О'кей! Запомнились, значит, ему ребята наши...

Алексей Максимович задержался взглядом на строке: «Второе, исправленное и дополненное издание». Дополненное!

Горький в раздумье заметил: пожалуй, есть смысл и дальше продолжать работу над книгой, создавая третье, четвертое издание «Людей СТЗ». Издание, а не переиздание.

Время и люди открывают возможность писать но-

вую книгу. Это ведь была идея нашего веселого, азартного молодого бригадира, которого звали Яшкой Ильиным.

Я хочу завершить свой рассказ об Ильине кратким отчетом об одном вечере, который имел место в Москве в феврале тридцать третьего года, в Доме печати на Никитском бульваре. С воспоминаниями о Якове Ильине выступили рабочие машиностроительного завода «Красная Пресня» — там он учился в ФЗУ,— комсомольские и партийные работники, писатели и журналисты. Сохранилось у меня несколько страничек выступления Сергея Третьякова. Вот этот текст, сделанный по «живой записи».

> *Сергей Третьяков.* Я встречал Ильина очень редко, но остался он во мне так, как не остается никакой другой человек, с которым встречаешься каждый день, помногу, и который процеживается сквозь тебя, как сквозь сито, не оставляя на нем никакой ценности и разве только перетирая нити.
>
> Нужно сказать, что эти встречи с Ильиным я сейчас не смог бы рассказать в каких-то эпизодах. Я сейчас не вспомнил бы случаев, когда мы встречались, что мы говорили и что при этом произошло,— я не вспомню этих отдельных эпизодов, потому что я постоянно держу в себе Якова Ильина, как какой-то персонаж мною не написанной вещи, а может быть, такой вещи, которая будет написана и в которой будет Яков Ильин как совершенно поразительный тип молодого челове-

ка XX века. Только вот название это как-то к нему не подходит. Я даже не знаю, как его, собственно, назвать. Большевистский юноша... Во всяком случае, это такой человек, которого раньше не было и не могло быть никогда.

Самое замечательное то, что он был неотделим в своей жизни и в деятельности, в литературе и в общественной жизни. Это одна из больших проблем, особенно в писательском быту. Это большая редкость, чтобы человек всегда рос как одна единая сила, движущаяся всем фронтом. Часто в быту человек один, а в своих писаниях — другой, в производстве — один, а в быту — другой. И часто книги и произведения человека отпочковываются от него и ведут как бы самостоятельный образ жизни. Смотришь на произведение и думаешь: какое произведение большое, а человек, сделавший его, какой маленький!

А у Ильина все стороны жизни были тесно связаны. Даже не поймешь — где здесь кончается эта книга и где начинается он сам. Книга была для него только продолжением самого себя на бумаге. Казалось, он писал какую-то замечательную повесть сам собою, своим голосом в спорах, своими ногами в ходьбе, своими руками и действиями. Не поймешь, когда он всходил на страницы повести и когда он сходил с этой повести в жизнь и прямо со страниц, с газетных столбцов снова шел на завод, ФЗУ, в свою работу и т. д.

Это огромное счастье, недосягаемое для многих из нас, особенно для людей, рожденных в другой обстановке, которые даже привыкли к тому, чтобы

быть расщепленными. Это счастье людей, которым не приходится рассчитывать и колебаться, которые могут дышать воздухом большевистской эпохи и быть людьми из единого куска, каждая секунда жизни которых есть сила, падающая полновесным зерном на весы истории, таким зерном, которое клонит чашу этих весов в нашу сторону.

Яков Ильин — это писатель-оперативник в лучшем смысле слова, для которого писание — это не башня из слоновой кости, куда он уединяется и где он говорит каким-то совершенно другим голосом, так что один голос у него в быту, а другой голос у него на страницах, и эти голоса вдобавок оказываются разными. Нет, здесь мы слышим один голос. И как легко впасть в одну из ошибок пренебрежительного отношения к такой оперативной литературе. Разве, мол, это литература, это газетчина и публицистика, это лишь литературные придатки оперативной организационной работы.

Но мне кажется, что природа большевика заключается в том, чтобы и литература на равных основаниях с другими средствами была бы поставлена на линию фронта, как одно из мощных орудий, и чтобы палить из этих орудий, пользуясь ими так же, как орудиями организаторского воздействия и организационной работы.

Яков Ильин, как всякий художник, огромный выдумщик. Но это выдумщик, не оторванный от жизни, а действующий внутри и изнутри ее. Ведь, например, выдумать фабзавуч — это громадное де-

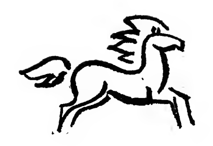
ло. Здесь речь идет не о выдуманных людях, а о людях в жизни!

И, говоря о Якове Ильине, мне хочется сказать еще одно. Это был человек, который писал огромное произведение, который писал его коллективно, и название этого произведения — социалистическая действительность. Именно не сама по себе жизнь, а произведение. Бывают у нас такие общественники и писатели, которые свои произведения пытаются прицепить к жизни крючком, словно вагон к поезду, сомкнуть как-то эти произведения с советской действительностью... Но Яков Ильин своими литературными произведениями входил в жизнь, заражал людей, ибо он сам работал над тем большим произведением, которое называется нашей подлинной действительностью, творимой нашими руками.

В этом его сила, в этом его своеобразие. И когда кто-либо захочет написать про таких людей, про такого человека, который побеждал жизнь, который ежесекундно откликался на все события, который чувствовал себя хозяином всего, которого касались всё и все,— то тот писатель, который придет к этой мысли, который должен будет показать такой портрет,— этот писатель, может, сам того не зная, будет класть на бумагу черты такого человека, имя которому — Яша Ильин.



Алый путь разъездного корреспондента Алексея Колосова



ОДИН ИЗ ПОЛИТДРУЗЕЙ ФУРМАНОВА

Была такая должность в «Правде» — разъездной корреспондент. Разъездной — слово «вместительное», очень точно отвечавшее размаху корреспондентской работы. Алексей Колосов был разъездным корреспондентом. Невысокого роста, стриженный по-мужицки, «горшком», Алеша был на редкость сдержан, больше любил слушать, а уж если распахивался, то поражал искрометным талантом рассказчика.

Потом, через долгое время, я узнал некоторые подробности его жизни: революцию Колосов встретил в уездном городе Сызрани, в двадцать лет он руководил наробразом, редактировал большевистскую газету. К. А. Федин вспоминает девятнадцатый год в Сызрани: время голодное, молодой Федин уехал из Москвы на Волгу, ибо там можно было еще поесть досыта пшенной каши, но главное, конечно, другое — «жажда печататься не давала мне покоя». Федина заверили, что в

Сызрани раздолье для журналистики, там можно создать журнал, «отдел народного образования пойдет на это с великой охотой» («Заведующий отделом — чудесный парень!»). Чудесный парень — это Алеша Колосов («Он в первый же день знакомства со мной решил доверить мне организацию и редактирование журнала»).

В двадцатом Колосов уехал в Семиречье и там вместе с Дмитрием Фурмановым участвовал в подавлении контрреволюционного мятежа Верненской крепости. Об этой страничке Алешиной биографии я узнал совершенно случайно: встретились весною тридцатого на станции Грязи два разъездных корреспондента; Колосов возвращался из деревни Телелюй в Москву, а я направлялся в Царицын на стройку Тракторного. Встрече корреспонденты обрадовались — Алеша разом во весь замах ладони захватил мою руку. Допоздна бродили мы с ним по пятачку сухой, утрамбованной семечками привокзальной земли. Заговорились, пропустили свои поезда и заночевали, с разрешения железнодорожного начальства, в красном уголке депо. На сон грядущий я стал читать захваченный мною в дорогу «Мятеж» Фурманова. И вот тут наткнулся на эти строки: Дмитрий Фурманов уезжает в Семиречье, а с ним «дюжинка политдрузей». И среди них Колосов.

Я вскочил со скамьи и кинулся к прикорнувшему напротив у окна разъездному, растормошил, спросил его:

— Это ты — фурмановский Колосов?

— Знаешь,— в его голосе послышались насмешливые нотки,— у нас в Ардатове полным-полно Колосовых...

Помолчал и тихо, с лукавинкой спросил:

— А как звать того Колосова?
— Алешей,— сердито ответил я.— Брось темнить, видишь, сказано: «Нельзя забыть и про Алешу Колосова,— он был едва ли не самым юным из всех...»
— Молодой был, это верно...
События, о которых рассказывается в «Мятеже», происходили в двадцатом году; между ними и этой весенней ночью на станции Грязи пролегло всего лишь десять лет.
Я лежал, закинув руки за голову, пытался заснуть, но сон почему-то не шел; картины мятежа в далеком Семиречье одна за другой проходили передо мной... А тут, можно сказать, в двух шагах от меня, на жесткой скамье с деревянной узорной спинкой, расположился на ночлег и мирно попыхивает огоньком папироски живой соратник Фурманова по Семиречью, мой товарищ по «Правде», разъездной корреспондент Колосов. Трудно было представить себе, что вот этот тишайший товарищ, Алексей Иванович Колосов, которого редко когда увидишь в Москве, в редакции, потому что бо́льшую часть года он проводит в разъездах, что этот Колосов, в старом, видавшем виды плаще, грубых башмаках и сатиновой рубашке, всегда, казалось, терявшийся в шумной и гулкой газетной братии,— что именно он и есть тот самый Алеша Колосов, активный участник исторических событий, о которых так страстно рассказывалось в «Мятеже».
«Нельзя забыть, — снова и снова читаю я у Фурманова,— и про Алешу Колосова,— он был едва ли не самым юным из всех. Мы любили его за чуткую отзывчивость, свежую искренность, за горячий нрав и ясную голову: он, пожалуй что, на следующий день по приез-

де сел писать нечто вроде «популярной политической экономии»...»

Эти строки Дмитрий Фурманов писал три-четыре года спустя после семиреченских событий. И как дошел, думаю я, до «популярной политической экономии», так, наверное, заулыбался, вспомнил, окликнул Колосова: «Алеша, написал ли?» И продолжал о Колосове: «Потом он создал отличные партийные курсы и руководил ими до самых трудных дней, до мятежа, да и после того — не сразу выбрался из Семиречья».

Я тихо позвал разъездного корреспондента:

— Алеша! Написал ли обещанное?

— Чего — написал? — так же тихо сказал Колосов.

— Да вот то, что Фурманову обещал... политэкономию?

— Который год пишу ее,— сердито проговорил Колосов.— В газете ее пишу, в газете!

В ночь мятежа Фурманов дал Колосову задание: «Алеша, ты несись в партийную школу и, вооруженную, приводи сюда».

Я продолжал допытываться у разъездного корреспондента:

— Привел ее, партшколу?

— Привел,— коротко сказал Колосов.

А в самой крепости, когда начался митинг и Фурманов взобрался на телегу, откуда держал речь перед бурно кипевшей, мятежной массой,— снова Колосов с комиссаром. «Алеша Колосов привел партийную школу и кольцом построил ее вокруг телеги. Таким образом, ближние ряды были из своих».

Я смотрел, как говорится, во все глаза на нашего разъездного правдиста. Я был моложе Алеши Колосова

и, как многие в мои годы, «богу молился» на участников гражданской войны. Вот — люди!..

Колосов приподнялся, распахнул окно, закурил, потом сказал тихо, словно оправдываясь:

— Диво ли, что так бурлило... Время, время-то какое было! Хошь не хошь, а будь смелым...

Запомнился его жест: пятерней захватит русые, с седым подбоем волосы и медленно отведет косую прядь с широкого лба.

Он, кажется, все готов был переложить на время: оно, мол, лепило характеры,— например, фурмановский.

Тут он взял у меня книгу, не спеша стал листать ее; я думал — себя ищет, а он, оказывается, разговор одного мужика искал, того, что в споре с Фурмановым-комиссаром так о земле сказал: «Она тебя, матушка, дугой перегнет, а когда перегнет, тогда и накормит».

Фурманов в «Мятеже» несколько раз возвращается к Колосову. И вот на что я невольно обратил внимание: всех своих военных товарищей Фурманов называет по фамилии, а нашего разъездного корреспондента с милой и суровой нежностью — Алешей, Алешей Колосовым. Мы в редакции только изредка и то главным образом в присутствии чужих, незнакомых обращались к Колосову по имени-отчеству — Алексей Иванович; обычно же мы звали его с почтительной нежностью, с любовью — Алешей Колосовым.

Заснул я, так и не успев в ту ночь узнать всех подробностей Алешиной мятежной жизни в Сызрани и на Туркестанском фронте. Утром мы разъехались: он — в Москву, с материалом о колхозе «XII Октябрь», а я — в Царицын, на Тракторный.

Я, кажется, впервые стал более внимательно всматриваться в Алешу Колосова, в его иссеченное ветрами, зноем, холодом крестьянское лицо, в его умные, таившие где-то в глубине веселую усмешку, иссиня-светлые глаза. Он колесил по России, забирался на Север, за Урал и в Сибирь, но самой большей его привязанностью была серединная русская земля — тверская, ярославская, курская, воронежская и особенно приволжская...

Я узнавал его жизнь — в Сызрани, на Туркестанском фронте и московскую, конца двадцатых годов,— не сразу. Прошло много лет после нашей встречи и ночной беседы в красном уголке депо станции Грязи, и я, опять же совершенно случайно, «прочитал» удивительную страничку Алешиной жизни на Волге в девятнадцатом году. Когда мы с Иваном Рябовым, в то время тоже разъездным корреспондентом «Правды», бывало, допытывались у Колосова, «терзали» его жалящими вопросами, как он редактировал газету в уездном граде Сызрани, то Алеша или отмалчивался, или же коротко отвечал: «Ну была, была такая газетенка, «Алый путь» прозывалась...»

По натуре своей весь устремленный в настоящее, Колосов не любил оглядываться на пройденное, рыться в далеком прошлом. Редко-редко, в минуту особого настроения, он вдруг «предавался воспоминаниям», как он сам с усмешкой говорил.

Кто-то из волжских земляков, то ли сызранский комиссар Сысуев, то ли кто другой, навестил однажды Колосова в редакции; веселый, шумный, громкоголо-

сый товарищ из провинции долго рылся в портфеле, при этом подмигивал, будто чудо какое намерен был извлечь на свет божий, и вдруг развернул перед притихшим Колосовым старые, потрепанные номера сызранской газетки под нежным, неповторимым названием «Алый путь».

Редактор оного «Алого пути» захмыкал, усиленно стал курить, окутываясь дымом, потом осторожно, словно побаивался, что листы газетные могут от ветхости рассыпаться, стал медленно перекладывать страницу за страницей. В коридоре послышались чьи-то шаги, Колосов прислушался,— если, не дай бог, Рябов-сосед нагрянет, то пойдет такой звон, что от насмешек не убережешься... Хотя справедливости ради надо сказать, что Иван Афанасьевич, в отличие от своего соседа Алексея Ивановича, очень любил «углубление в историю», как он называл лирические отступления в прошлое, воспоминания о первых годах начальной эпохи революции. Одну из своих статей в редакционной многотиражке, в «Правдисте», Рябов так начал:

«Сказано Пушкиным: «Что пройдет, то станет мило». Особенно дорого прошлое, с которым связано самое яркое, незабываемое, глубокое, волнующее. То прошлое, которое наложило свою печать на душу, которому обязан первоначальными впечатлениями гражданского бытия».

Колосов быстренько убрал газеты, поблагодарил земляка за душевный подарок и позвал нас к себе домой. Жил он тогда в Настасьинском переулке, в двух комнатах с низкими потолками. Помню, мы склонились над этими, ставшими уже историческими, газетными листами девятнадцатого года. Впрочем, полный

титул у «Алого пути» был такой: «Ежедневный литературно-политический орган Сызранского Совета и Комитета Коммунистической партии». Справа, как у всех большевистских газет, шел лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» А под этим лозунгом — строки стихов, которые, начиная с 7 сентября, с первого номера газеты, повторялись изо дня в день:

> Чем жить? Борьбой за мир грядущий,
> За взлеты солнечных идей.
> Да будет мир — как сад цветущий
> Для окрыленных пчел — людей.

Колосов, который в жизни своей старательно избегал громкого слова, широкого жеста, этот очень сдержанный в выражении внутренних чувств человек, при виде своей газеты, газеты девятнадцатого года, которую он, совсем молодой, редактировал в охваченном восстаниями Сызранском уезде, неожиданно разволновался, заалел лицом.

Я не случайно сказал «заалел». В те далекие годы это было его любимое слово — не багряный, не красный, не пурпурный, не огненный, а именно это — алый. Передовая в первом номере так и называлась — «На алом пути».

> Не кровавый, не железный, не багровый, как далекие отсветы пожаров, — алый, как волнующееся море маков, путь наш. И на алом пути мы даем наши битвы, на алом пути мы радуемся нашим победам...

На первой же полосе была напечатана статья «В чем наша сила». Ал. Колосов повел с читателем — рабочим,

красноармейцем, крестьянином — душевный, страстный разговор о революции, о борьбе за лучшее будущее. Откуда берутся силы для борьбы в обнищалой, невежественной стране — борьбы, ведущейся среди невероятных затруднений, голода и разрухи? Нужны, писал юный редактор, какие-то титанические силы, чтобы не только вести эту борьбу, но и переходить в ней от победы к победе...

Алеша оставил меня одного с газетой, сам уселся в сторонке, у подоконника, и, по обычаю своему, пил крепкий чай. Он даже пробовал меня оторвать от газетки, подшучивал над моим интересом к далекой-далекой истории, к этому листку, отпечатанному на грубой, шершавой бумаге коричневого оттенка... Но видно было, что и его захватило это давнее, сызранское, корнями своими связанное с начальными годами революции. На всех четырех страницах газеты были разбросаны лозунги, набранные крупным шрифтом. По правде говоря, я удивился, когда Колосов вдруг тихо попросил:

— А ты... того... почитай-ка вслух.

ПУСТЬ НЕ СКАЖУТ О ТЕБЕ ГРЯДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ, ЧТО В ДНИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОТРЯСЕНИЙ ТЫ НЕ БЫЛ В КРАСНЫХ РЯДАХ!

ГЛУБЖЕ ШТЫК В ГОРЛО МИРОВОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ!

ПУСТЬ ЗАЖЖЕННЫЕ НАМИ ФАКЕЛЫ ГОРЯТ НАШЕЙ КРОВЬЮ — ОНИ ОСВЕЩАЮТ ЦЕЛЫЙ МИР!

С ГОР КАВКАЗА И С ХРЕБТОВ АЛЬП БУДЕТ ПРОДИКТОВАНО КРАСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ!

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ ТАК ЖЕ НЕИЗБЕЖНА, КАК НЕИЗБЕЖЕН ВОСХОД СОЛНЦА!

Тут Колосов покрутил головой, удивленно-радостно сказал:

— Да-а, зычно писали!

И сразу же поспешил сослаться на время и даже на эпоху:

— Все, понимаешь, рисовалось нам тогда в алом свете.

В том же номере газеты на второй полосе была напечатана небольшая, емкая по мысли статья Константина Федина «Любите книгу!». Федин пропел песню о книге. Как отвечала духу времени эта его статья, отлично рисовавшая пробудившуюся в народе жажду чтения!

Вот, «пристроившись на полуразбитом ящике, сидит красноармеец. Между вытянутыми ногами лежит мирно винтовка. В руках красноармейца книжка. Он пристально, не отрываясь читает и с осторожной медлительностью перевертывает страницы, помусоливая перед этим пальцем...

Книгу полюбили.

Но ее надо полюбить еще больше.

Это она помогла нам сбросить с себя оковы порабощения. Она вдохновляла и вдохновляет лучших людей идти на страдания, во имя великого и прекрасного — во имя свободы всех и каждого».

Бумага, на которой печаталась газета, была то светлой, хрупкой, то плотной, коричневой, то твердой, серой.

Странно было читать требования редакции, взывавшей к авторам: рукописи статей, заметок, стихотворений «должны быть в удобочитаемом виде. Писать только на одной стороне листа». Редактор «Алого пу-

ти» смеется. «Писать только на одной стороне листа!» Жизнь показала, что это вещь практически невозможная. Писали, на оберточной бумаге, на кусках обоев,— на чем только не приходилось тогда писать, в те дни острейшего бумажного голода... То было время, когда газетный лист, шершавый, грубый, ломкий, являлся в подлинном смысле слова Историей, которая сама себя записывала разными шрифтами — то корпусом, то петитом и даже нонпарелью, записывала изо дня в день правду новой, тяжелой, трудной, полной борьбы жизни.

Колосов со всем пылом молодости ушел в революцию: редактировал газету, писал зажигательные статьи, выступал с пламенными речами на митингах, ведал наробразом, — одним словом, жил тревожной, кипучей жизнью, с полной отдачей всего себя Революции.

В хронике митингов, которыми бурлили тогда Сызрань и прилегающий к ней уезд, мы часто встречаем имя редактора «Алого пути». После одного из митингов — все на защиту Революции! — Алексей Колосов записался добровольцем в Красную Армию и был направлен на Туркестанский фронт. Там он встретился с Дмитрием Фурмановым, комиссаром 25-й Чапаевской дивизии.

Сохранилась трогательная записка Алеши Колосова своим родным в село Тазнеево. Он писал матери и отцу, сестрам и братьям:

Самара, янв. 20 года.

Дорогим родным — привет!

Ваше семимесячное молчание меня очень и очень беспокоит. Не знаю — получили ли послан-

ные мною шесть тысяч. Через неделю посылаю еще. Я не имею представления о том, как Вы живете, каково здоровье папы и мамы, что теперь делает Сима, где Алексанус, в чем заключается работа Лиды и Веры?.. Но хуже всего — это то, что отъезд нашего штаба в Ташкент (а это будет через две недели) оторвет меня от Вас...

Во всяком случае, буду ждать Вашего письма по адресу: Ташкент, Политпросвет Туркест. фронта.

У меня по-прежнему много работы. Условия жизни сравнительно хороши. Очень интересует поездка в Туркестан. С другой стороны, хотелось бы побывать у Вас, побаловать Вас кое-какими подарками, пожить безмятежной, тихой тазнеевской жизнью. Часто вспоминается наш домик, затерявшийся в снегах и снежных овинах, с маленьким огоньком в окнах...

Кончаю писать. Думаю, что в конце мая буду в Тазнееве. Пишите!

Ваш Алексей.

В Тазнеево, как и в Сызрань, он больше не возвращался. Как тысячи и тысячи других, он не знал, куда завтра забросит его судьба — алый путь, в какую часть света направит.

В январе двадцать первого Дмитрий Фурманов записал в дневнике:

«Помню, я очень мало писал о Семиречье и его красотах, когда созерцал эти красоты непосредственно и воочию.

В одной своей краткой записке я так и говорил: «Да, не записываю, не хочется, видно, я не художник».

А теперь жалею. И хочется мысленно возвратиться мне к дикой красоте Семиречья. Ехали туда, как ссыльные. Помню эти сборы, эту торопливость, эти неясные предчувствия чего-то тяжелого, что нас ожидало в Семиречье. Со мною отправлялась туда целая группа любимых и уважаемых товарищей: Полеес, Муратов, Альтшуллер, Колосов, Никитченко — все дорогие, дорогие имена».

После Семиречья жизнь разметала политдрузей. Колосов вслед за его старшим товарищем, комиссаром Фурмановым, двинул из Туркестана в «белокаменную и в алую, гордую и благородную, героическую и вечно бьющую ключом жизни — Москву!» Было это в двадцать третьем.

Тонкий, невысокий, с лицом, опаленным туркестанским солнцем, в аккуратной солдатской гимнастерке, Колосов появился в Москве в редакции журнала «Путь МОПРа».

Для русских большевиков всегда были святы лозунги пролетарского интернационализма; созданная в СССР организация помощи жертвам капиталистической реакции охватила всю страну. Колосов жил этой темой — темой интернационального братства рабочих людей. Сотоварищ Алеши по редакции Г. М. Гейлер в письме ко мне рассказывал, как старый, седой П. Н. Лепешинский, редактировавший журнал «Путь МОПРа», читая колосовский очерк «Мирское дело», горячо заинтересовался автором — кто он, этот Ал. Колосов, откуда пришел к нам с таким опытом жизни, с таким буйством красок, с пламенной любовью к безвестным борцам революции.

Гейлер мог в самых кратких чертах обрисовать облик Ал. Колосова:

— С Фурмановым он работал, Пантелеймон Николаевич...

Лепешинский еще больше заинтересовался. Совсем недавно через руки Лепешинского в Истпарте проходила рукопись Дмитрия Фурманова — «Чапаев».

(Дмитрий Фурманов в дневнике — январь 1923 года — записал свою встречу и разговор с Лепешинским:

«Сидит седой старик за столом, улыбается ласково-ласково, но серьезно.

— Вот принес,— говорю.

— Так, так...

Он знает, что я принес, помнит. Взял эту огромную мою папку, перевернул раза два-три в руках, потом положил перед собою, одной рукой закрыл глаза, другой начал рыться в листах, шутя причитал:

— Ну, господи помилуй...

Так пришучивают, когда тянут себе «счастье», карту, что ли, или в этом роде... Я не понимал. Недоумевал. Он вытащил случайно страницу и, как бы извиняясь, проговорил:

— Попробуем одну на счастье... Я часто так-то...

Он стал вслух читать — там было описано про Сломихинскую, что собой представляла горячая, простая речь Чапаева.

— Хорошо... Хорошо...— приговаривал он.

А я сидел и радовался. Условились, что через день-два зайду узнать».)

И в судьбе Алеши Колосова старый большевик сыграл большую роль.

В Газетном переулке — там, в полуподвальном по-

мещении, находилась редакция журнала «Путь МОПРа» — начался московский период жизни Алексея Колосова.

П. Н. Лепешинский внимательно приглядывался к этому тихому, вежливому «русичу» с умными глазами, который отлично справлялся с обязанностями секретаря редакции и при этом писал волнующие очерки и рассказы. Правда, сам Колосов называл свои очерки так — литературная обработка материала. В какой-то мере так оно и было — обработка материала, стекающегося из всех стран мира. Письма политических заключенных. Подпольные листовки, которые, минуя десятки рогаток, пересылались зарубежными секциями советской организации МОПР. Рассказы и свидетельские показания политических эмигрантов. Китай. Польша. Индия. Болгария. Сербия. Германия...

> Меня всегда поражало,— рассказывал Г. М. Гейлер,— колосовское умение «видеть» и создавать «вещь» на основе самой обычной, повседневной информации. Конечно, это была особая информация, от нее пахло кровью, борьбой, страданиями людей, героизмом революционных борцов. Все, к чему прикасался Алексей Колосов, любой и обычный факт из деятельности МОПРа, приобретало под его пером какой-то поэтический облик, он умел находить вдохновенные слова, образы там, где, казалось, почвы для этого нет. Факт побега из тюрьмы, например, мог служить для него материалом для поэмы в прозе или рассказа.
>
> Если идея его захватывала, он писал без передышки. Мысли обгоняли слова, он едва успевал

заносить их на бумагу... Помню один забавный эпизод. Сидели мы как-то вдвоем в доме, что на Газетном переулке. Рабочий день уже кончился. Я был погружен в чтение одной рукописи, а Алексей сидел рядом, справа. Смотрю — весь стол его постепенно, как снегом, покрывается белой пеленой листков, причем на одной странице две строки, а на другой — три.

— Слушай, Алексей,— говорю я ему, — а о труде машинистки ты подумал? Ты бы хоть номера поставил...

Алексей не сразу ответил. Потом посмотрел на меня со своей типично колосовской усмешкой, в которой так и сквозила ирония.

— А ты знаешь, Гриша, что именно так писал Александр Дюма?

После такого «убийственного» довода я решил в этот вечер больше не вторгаться в творческую лабораторию моего друга...

Первые мои встречи с Колосовым связаны с «Комсомольской правдой». Он приходил к нам в Малый Черкасский переулок, в редакцию «Комсомолки», клал на стол рукопись мопровского очерка и, не вступая в длинные разговоры, неторопливо уходил. Запомнился он мне таким: суровый, замкнутый товарищ. А так как он писал о пламенных борцах с капитализмом, томящихся в зарубежных тюрьмах, то нам, молодым ребятам, всегда казалось, что этот весьма таинственный товарищ Ал. Колосов имел прямое отношение к тому, что творилось где-то в горных районах Марокко, в глухих деревнях Болгарии или на полях панской Польши...

Потом, в двадцать девятом, я перешел в «Правду» и там снова встретился и на этот раз крепко подружился с Алексеем Колосовым.

Колосов сторонился шумной корреспондентской братии; он жил какой-то своей обособленной жизнью, крепко схваченной с судьбою и жизнью деревни. Эту черту колосовского характера, стиль его работы в свое время отметил другой разъездной корреспондент «Правды» — Погодин Николай Федорович, который начинал в «Правде» еще при Марии Ильиничне.

Вспоминая годы работы в редакции — Тверская, 48,— Погодин писал:

«В первой половине двадцатых годов я один работал спецкором в «Правде». Потом пригласили ставропольского корреспондента Тихона Холодного и Алексея Колосова. С Холодным я мог свободно соревноваться, но Алексей Колосов писал лучше меня по глубине и по стилю. Писал он главным образом о деревне, был признанно честным писателем в широком смысле русской традиционной народности».

Когда Колосов зимними вечерами проходил по коридорам редакции на Тверской, одетый в поношенный полушубок и в стоптанных башмаках, держа в руках изрядно потертый портфель, разбухший от бумаг, то впечатление было такое, как будто к нам в «Правду» заявился из глубинки крестьянский ходок со своими острыми, колючими вопросами, ходок, который по старой народной памяти ищет кабинет М. И. Ульяновой.

(Марию Ильиничну Колосов еще застал в редакции; два десятилетия спустя он едет на Волгу, в знакомый

город, идет на улицу, которая осталась почти такой же, какой она была в детстве Владимира Ильича. Алексей записывает: «В Ульяновск приезжала Мария Ильинична. Войдя в этот дом, она увидела его таким, каким он был в ее детстве. Она заплакала. Медленно шла она по комнатам, долго стояла в кабинете отца, в спальной матери, потом поднялась по лесенке в детскую. Лесенка была все та же, и кровати стояли на тех же местах, и на одеяле, которым когда-то укрывалась девочка Маня, лежали ее игрушки. В комнате Владимира Ильича — небольшой стол, кровать, две полки с книгами, карта полушарий. Мария Ильинична, осмотрев комнату братьев, тихо сказала: «Да, так. Именно так».)

Алексей Колосов начал работать в «Правде» в то время, когда там все жило еще стилем Марии Ильиничны; школа «Правды» складывалась из многих элементов, главными из которых были требования правдивости, честности и точности. Политическая направленность должна была составлять внутреннюю сущность каждой статьи, каждого очерка, каждой заметки. И очень важно было, как говорил Погодин: «Чтобы читатель не жевал твою писанину, а читал».

Колосов не спеша, вдумчиво обрабатывал свою газетную полоску, засевал ее чистосортными словами-семенами. Обычно он покидал редакцию с началом весенней посевной, изредка появлялся, чтобы «отписаться», — и снова в путь-дорогу. С фанерным облупленным чемоданчиком и привязанным к ручке большущим чайником — непременной принадлежностью его походного быта. Возвращался он в Москву с заморозками, и тотчас его кабинетик — он долгие годы делил его со мною, а потом с Иваном Рябовым — становился центром при-

тяжения газетной братии. Я вижу его в полушубке или длинном, до пят, пальто (это зимою), а ранней весною Алеша Колосов экипировался в старый-престарый и, как мы шутили, из негнущегося «корреспондентского железа» плащ; сатиновая рубашка-косоворотка, серый пиджак с оттопыренными карманами, набитыми дорожными припасами, главным образом цибиками чая, до которого Алеша был большой охотник.

Как удивительно сочетались в нем лирическое и сугубо деловое, страстное увлечение корреспондентской работой и понимание самых сложных вопросов деревенской жизни, голубиная чистота и резкая прямота в характере... Он жил как бы в двух планах: проводил хлебозаготовки, строил колхозы, здесь же, на месте, давал бой косности, а когда приходила пора писать, то волновало: как выразить незахватанное, человеческое?

Теперь, когда я держу в руках старые, ломкие, поблекшие от времени газетные листы двадцать восьмого, двадцать девятого, тридцатого, тридцать первого и других годов, страницы «Правды», в которых все — от передовой до пятистрочной заметки — насыщено было атакующей злобой дня, я с трепетным, глубоким уважением читаю и перечитываю очерки нашего разъездного корреспондента, помеченные внизу географическими пунктами чуть ли не всей России.

Я перечитываю сейчас Колосова не по его книгам, а по старой давности газетам. И вот что бросилось мне в глаза при чтении колосовских очерков, корреспонденций, деловых заметок. На газетной полосе тех лет кипели политические страсти, в спорах выверялись пути строительства социализма в деревне. А тут же, рядом с дискуссионными листками, шли колосовские коррес-

понденции, порою с такими, например, лирическими заголовками: «По Тускре — речке голубой, золотой, взбушевавшейся»...

В тревожные, набатные, оперативные телеграфные строки, отражавшие весь накал борьбы в деревне, врывались колосовские раздумья, его горячая любовь к родной земле, к ее людям.

О, это был очень зоркий, вдумчивый наблюдатель деревенской жизни, писатель-корреспондент с тонким слухом, острым умом!

Летним вечером двадцать восьмого года Колосов плывет по тихой речке Тускре; он откладывает на время тетрадку с записями дня («Дума моя — злобствующий кулак, наши оплошки и те крепнущие нити дружеского сожительства, что тянутся от индивидуальных середняцких хозяйств к колхозам...»).

Мысли разъездного корреспондента в этот августовский вечер, густо заполненный крестьянскими делами и страстями — как дальше жить, какой путь выбрать? — мысли Колосова, вбирающего в себя все бурное кипение народной жизни, невольно под влиянием «художницы-природы» возвращаются к недавнему, к тому, что связано с этими удивительными по красоте местами.

> ...но как не отметить здесь, что вот по этим берегам бродили И. С. Тургенев и Ермолай, били тетеревишек и утят, тут жили некогда Хорь и Калиныч, в эту речку вливаются «Малиновые воды» и, по уверению Платона Алексеевича, старого шкраба, что сидит сейчас у руля, вон в далекой той деревушке, мигающей сотней керосиновых огней, слушал Тургенев «Не белы снеги» и «Дорожень-

ку», слушал и обессмертил своих «Певцов». А по дороге, где скрипят сейчас запоздалые возы с сеном, прыгала лет тридцать назад таратайка А. П. Чехова, тут лежал тракт, ведший от Льгова в Щигровский и Малоархангельский уезды, и сколько нежных красок, сколько незабываемых приречных пейзажей, взятых отсюда, с вод, пойм и прибрежий Тускры, находят местные книголюбы в чеховских страницах.

А «Хори» и «Калинычи» здесь еще не перевелись, у одного из «Хорей» — зовут его Николаем Куркиным — я провел вчерашние сутки, ел с ним под вековой липой яичницу и ходил на сенокос. «Хорь» лишен теперь права голоса, кряхтит от налогов, держит трех лошадей, имеет конную молотилку, арендует 9 десятин земли и почти ежедневно читает «Курскую правду», отчеркивая железным своим ногтем особо значительные с его точки зрения статьи и телеграммы. За последний месяц он обвел глубокими кривулями петитную заметку о выступлениях сенатора де Монзи и телеграммы о подозрительных приготовлениях польского маршала. По вечерам в куркинский пятистенок захаживают односельчане,— прочтя им и то и это, «Хорь» смотрит через огромные старинные очки на слушателей, комментирует прочитанное коротко и выразительно:

— Во!.. Кругом шышнадцать!..

Иногда, правда, было не до очерков, не до беллетристики, — и тогда заметки и статьи разъездного корреспондента звучали сухо, деловито. И названия им да-

вались оперативные: «Насчет скотины», «Классовая борьба и перегибщики», «Дискуссия о трудодне».

Колосов ломал обычную форму корреспонденции — в статистику врывались человеческие документы, раздумья вслух, живое, меткое народное слово.

Был такой случай: редакция долго не имела от Колосова вестей. А между тем от него ждали оперативной корреспонденции. Запросили Алексея: где материал? Помните, к вашим услугам телеграф. Колосов тотчас ответил короткой телеграммой по льготному тарифу для корреспондентов: «Не торопите меня, воюю за одного человека».

А Колосов и впрямь воевал в Черноземье за крестьянина-середняка Егора Филипповича из села Федоровки, за середняка-культурника, который взял надел у общества «под показательный научный пример» и, вызывая у кулаков зависть и злобу, стал потом первым организатором колхоза в своем селе. Но по кулацкому навету судья-перегибщик учинил расправу над этим середняком. Вот за него-то, за мужика из села Федоровки, и бился разъездной корреспондент «Правды».

Судьба середняка из Федоровки на какое-то время стала и судьбой колосовской жизни. Я думаю, что именно здесь, в Черноземье, размышляя над путями колхозного строительства, исследуя крестьянские хозяйства — сперва в масштабе одного двора, потом одной деревни, потом одного уезда, Колосов, в сущности, реализовал свою задуманную еще в Семиречье идею политэкономии деревенской жизни. И дело тут не в том, что он, разъездной корреспондент, взял под защиту крестьянина из села Федоровки (хотя и это — борьба за одного

человека — очень-очень важно), а суть колосовской работы — в исследовании всей проблемы борьбы за середняка, против перегибщиков, против тех головотяпов, которые с легкой душой отталкивают от себя этого середняка.

Колосов расширяет границы своих наблюдений. Он хочет понять, куда же идет жизнь, куда она ведет крестьянина-середняка. Он приводит цифры, и эта полная статистических выкладок и страстных раздумий корреспонденция, напечатанная в «Правде» 6 ноября двадцать восьмого года, имела, как мне кажется, для Колосова принципиальное значение. Он утверждал на страницах газеты свое писательское право исследовать, видеть за газетным материалом саму действительность — сложную, трудную, требующую от меня, писателя-корреспондента, глубоких знаний, умения уловить жизнь в движении.

Его тянуло к низовым работникам на селе, к партийцам-большевикам, которые делали в то время самое трудное дело — работу по перестройке деревни. Он записывает рассказ одного деревенского большевика, который встает в три утра, а во время полевых работ — в час ночи, организует красные обозы, агитирует, направляет деревенскую жизнь,— словом, день за днем выполняет партийные задания по той или другой кампании.

«Как нищенски мало знаем мы о *таком* деревенском партийце,— страстно пишет Колосов.— Вот коммунист-сращенец, коммунист-примиренец, коммунист — сукин сын, прохвост, липа, взяточник, держиморда показывается нами и так и этак — в красках, в диалогах, в цифрах, в таблицах... Но кто рассказал и кто расскажет

о ночных, к примеру, заседаниях деревенской партячейки, где безвестный Кузьма Егорыч, тот, на кого накричал сегодня комсомолец с мандатом из окрфинотдела, держит, сощурив глаз, тихую речь о том, что «на фабриках приспичило», что «хлебушка-то, видать, в обрез», что «надо, ребята, действовать: как-никак, а обоз в саней 50 дернуть надо...».

Мужик задумался — решается судьба жизни! Идет коллективизация. И разъездной корреспондент «Правды» вступает в горячие беседы, безо всякой навязчивости он ведет душевный, открытый разговор с елецкими, с мценскими, с воронежскими крестьянами, записывает, или, как он любил говорить, стенографирует их мысли.

Было и такое. В одной глухой деревушке его приняли за одного из многих уездных агитаторов, за представителя УЗУ (уездного земельного управления). Прислушиваясь к словам этого разъездного агитатора, который спокойно и неторопливо, со знанием крестьянского быта пододвигал своего собеседника-крестьянина к острой злобе дня, к организации колхоза, мужик, вдруг усмехнувшись, сказал Колосову: «Ты, товарищ из УЗУ... А УЗУ,— он глянул на колосовские запыленные башмаки, — оно ходячее, ноне ты, а завтрева другой... А я в деревне бессменно».

Он возвращался в редакцию отощавший, пропахший степными травами, с громадным запасом тем, фактов, наблюдений.

На колосовском, дочерна загорелом лице, иссеченном морщинами, выделялись иссиня-светлые глаза, спокойные, внимательные, чуть насмешливые. В полутемном правдинском коридоре с диваном с деревянной

спинкой в любой час дня и ночи можно было застать собственных, специальных и просто разъездных корреспондентов редакции. «Давай, Алеша, рассказывай, что в деревне».

Он не был газетчиком в общепринятом смысле слова,— его не тянуло к сенсациям, он далек был от редакционной суеты и шумихи; он умел слушать, запоминать и создавать свой, колосовский рисунок слова. Корреспонденция А. Колосова всегда была насыщена тонкими пейзажными зарисовками, мастерски сделанными диалогами; они не были, эти пейзажные зарисовки, вставками, «соусом», рамкой, той обязательной дозой беллетристики, которую так любят иные газетчики. Нет, у Колосова художественное выражало его потребность и его способность видеть зарю, деревенские сумерки, лес, речушку, избу крестьянскую...

Сокращать колосовские очерки и рассказы было мучительно. Он дрался с редакторами и выпускающими за каждую дорогую ему строку. И вот что удивительно: он приучил этот жестокий газетный народ ценить краски, ценить слово даже при той вечной тесноте, которая царит на газетной полосе.

Собственно, никакой власти у Колосова в редакции не было: разъездной — и все. Но почему-то этого пожилого усмешливого разъездного корреспондента все побаивались и любили,— побаивались его острого слова, его ненависти к халтуре, ко всему тому, что так легко истощает газетную ниву. И неторопливые движения Колосова, и сама речь его — звучная, точная, хорошо «собранная» — тесно слиты были с тем, что делал этот разъездной корреспондент «Правды».

Он обладал тонким слухом, запоминая и записывая в свои тетрадки, а то и просто на больших листах газетного срыва «взъерошенные» споры или неожиданные и тихие задушевные разговоры-исповеди, подслушанные на постоялых дворах, в заезжих избах, в дороге («Дивное это дело,— писал он в «Правдисте» в заметках разъездного корреспондента,— езда в бесплацкартных вагонах: сиди и слушай. В эту ночь я поймал два сюжета»).

Прислал он однажды корреспонденцию об одной МТС, одной из 1040 МТС, которые партия начала создавать в стране. На крестьянском сходе докладчик-двадцатипятитысячник обстоятельно рассказывал о тех выгодах, что получит деревня от машинной обработки земли. Колосов описывал бурные прения, приводил слова одного мужика, Макарыча, который с подковыркой говорил: «Трактор — он что? Малость пройдет, поковыряет, навоняет и — стоп! И мужик плачет, и земля плачет, и государству убыток, и дела никакого нету. Да-а! А лошадушка... она как пошла, так и идет и идет, пока хозяин не затпрукает. Вон, к примеру, Лев Толстой. Какой светила был, а на тракторе небось не пахал. Хоть какой портрет возьми, он все себе за своей сивкой идет».

Корреспонденцию напечатали; вскоре в Москве появился Колосов.

При встрече в редакции Михаил Кольцов, точно давно дожидался Алексея Ивановича, со всей предупредительностью распахнул дверь кабинета, зазывая к себе разъездного корреспондента.

— Итак,— кося насмешливым глазом, говорил Кольцов,— вы утверждаете, что Лев Николаевич на

тракторе не пахал? Услышали, говорят, сию истину в ЦЧО?..

— Совершенно верно,— отвечал Колосов,— в деревне Никифоровке услышать довелось от некоего мужика Макарыча.

И Колосов, втянув щеки, чуть ссутуля плечи, в какое-то мгновение превратился в того самого мужика-ехиду, который, накренившись вперед и оборонив ладонью ухо, слушает двадцатипятитысячника, а затем сам вступает в острый спор о преимуществе лошадок перед трактором...

Он любил иногда прикидываться этаким простачком, мало что смыслящим провинциалом, которому, разумеется, далеко до своих напористых коллег, обладавших зычными голосами, хорошо отрепетированными столичными манерами.

Один из его попутчиков по разъездам в провинции приводил такой эпизод из колосовской жизни. Приехали два корреспондента в один район. Алексей Иванович со своим немудрящим походным чемоданом первым выгрузился из машины, вошел в редакцию местной газеты; секретарь редакции, глядя на мужичка в полушубке, приняв его за водителя машины, стал расспрашивать, как долго они добирались в нынешнюю распутицу, в каком состоянии сейчас дороги... Мужичок в полушубке, Алеша Колосов обстоятельно, как заправский водитель, отвечал на все вопросы секретаря редакции.

Из рассказов Колосова мы знали, что иногда обстановка, как он говорил, заставляла его на время становиться бригадиром, а то и помощником председателя колхоза. Он вставал с зарею и, наверное, забывал в это

время о своей корреспондентской службе. В одной деревне его так и звали: уполномоченный «Правды».

Восемнадцатого июня тридцатого года в «Правде» шел большой колосовский материал о хоперском колхозе «Ленинский путь».

Так случилось, что некоторое время спустя я поехал в места, описанные Колосовым, и встретился там с председателем колхоза Малышевым, замечательным рабочим-двадцатипятитысячником. Все самые важные документы, как я потом узнал, двадцатипятитысячник хранил в портфеле, который ему в свое время вручили нижегородские рабочие, посылая в казачий колхоз.

Была ранняя весна, Малышев взял меня с собою на поля. Круглолицый, обветренный, в брезентовом плаще, Малышев сам правил лошадью; на коленях у него лежал портфель.

— «Исторический», — сказал Малышев. Он искоса взглянул на меня.— А что, Колосов ничего не рассказывал вам про этот самый портфель?

Я ответил:

— Нет, не рассказывал.

— Ну, тогда слушай,— сказал мне Малышев и рассказал следующую историю.

В июле двадцать девятого года у Малышева произошел весьма горячий и крепкий разговор с женщинами-казачками по вопросу о колхозной жизни. Разговор происходил за полдень на хуторе Двойновском, куда Малышева поволокли рассвирепевшие бабы. Они накинулись на приземистого нижегородца, который, как им думалось, приехал отбирать детей для отправки бог весть куда, стричь бабам косы и сгонять людей в «комунию». И, совсем уже заклевав, загнали Малышева в

пруд. Тут его заставили держать ответ перед разгневанной толпой.

— Кто ты такой? — спросили бабы Малышева.

— Нижегородский рабочий.

— Партейный?

— С одна тысяча девятьсот восемнадцатого года.

— В коммуну сгонять нас будешь?

— Нет, товарищи-гражданки, задание мое другое — помочь вам перестроить жизнь...

Казачки вырвали из рук его портфель, стали снова «клевать». Но все же Малышев нашел в себе силу, чтобы строго заметить:

— За меня, гражданки, вы будете в одном ответе, а за портфель — особо. Он — государственный. И никто не может его кидать самовольно...

Бабы подняли с земли истоптанный государственный портфель и отдали избитому рабочему; потом Малышева гоняли по широкой улице хутора, крепко держали за руки, а портфель бережно несли за ним.

Спасли Малышева фронтовая выдержка и голос, которым он перекрыл крики женщин. Остался Малышев ночевать на хуторе, руки и спину залечил и вот который уже год руководит «Ленинским путем». И портфель всегда при нем. Портфель, правда, изрядно истрепался, но все еще исправно служит службу Малышеву. В нем среди других важных бумаг лежала и та страница «Правды» о «Ленинском пути», на которой был напечатан колосовский очерк.

О Колосове рабочий-двадцатипятитысячник говорил с большой уважительностью.

— Что-то мы давно от Алексея Ивановича указаний-советов не имеем...

Я удивился: о каких указаниях идет речь? Потом понял: колосовские очерки Малышев, — да, наверно, не он один, — по праву считал ценными советами-указаниями.

Долго сидеть в Москве Колосов не мог, он начинал тосковать, особенно ранней весной, и всей душою рвался в «гущу России» — в Ярославль, Кострому, Владимир... Он был незаменимым товарищем в редакции «на колесах», когда от газетчика требуется умение быть агитатором и сеяльщиком, организатором и писателем. Вот он стоит, Алеша Колосов, за спиной наборщика и, приладившись к темпу руки, которая выбирает из ячеек косо поставленного ящика свинцовые буквы, складывая их в слова и строки, медленно диктует крохотные заметки для газетки, размером в четыре ладони; потом он допоздна правит селькоровские заметки, потом звонит из вагона-редакции в колхозы и совхозы и записывает очередную сводку сева, потом спит коротким сном, а едва занимается утро, покидает вагон-редакцию и в своем железном плаще вышагивает по раскисшим от весенней грязи дорогам за новым материалом на злобу дня.

ИСТОРИЯ С ФЛАМИНГО И ДРУГИЕ ИСТОРИИ

Колосов прекрасно знал: если очерк идет внизу полосы, «подвалом», то это столько-то колонок и высота «подвала» — сорок пять строк. И ни строкой больше. Но когда редакторский карандаш начинал вырубать из колосовского очерка строки пейзажа — почему-то пейзаж в первую очередь подвергался сокращению,— Колосов менялся в лице. Сколько он бился именно над

этими строками, которые придавали такой аромат, такую выпуклую зримость всей корреспонденции!

Но если в этот вечер газету вел Михаил Кольцов, член редколлегии «Правды», Колосов мог быть спокоен за свое детище. Кольцов понимал состояние души разъездного корреспондента, особенно такого, как Алексей Колосов. Он с большой уважительностью относился к нашему деревенскому корреспонденту в сером мешковатом пиджаке, который не только отлично разбирался в колхозных делах, но обладал еще удивительным даром видеть и писать тонким, совсем не газетным языком.

Невысокий, изящный, будто точеный, Михаил Кольцов появлялся в редакции чаще всего в вечерние часы; с ним в наши длинные коридоры входила веселая усмешка, волна энергии и выдумки. Я не знаю, как ему это удавалось, но со стороны могло показаться, что он работает как бы «шутя и играя». Он успевал читать мокрые полосы свежего набора, успевал править — и все это делалось с шутками, с «розыгрышами», с веселыми историями, которые сочинялись и рассказывались тут же, в короткие оперативные паузы газетной жизни.

Михаил Кольцов почтительно, я бы даже сказал — с нескрываемой нежностью, относился к Колосову и его работе в газете. Если в номер шел колосовский материал, Михаил Кольцов любил читать его очерки вслух. Кольцову нравилась колосовская манера письма, полная юмора и вместе с тем какой-то затаенной грусти, поразительное умение акварельно рисовать деревенскую Россию, ее дороги, ее избы, ее реки, леса.

Кольцов иногда, то ли в шутку, то ли всерьез, просил Алексея Ивановича:

— По щедрости души своей вы бы, Алексей — божий человек, ссудили международного странника, а также небезызвестного фельетониста парочкой-другой пейзажей — зарей там, закатом иль полдневным зноем...

И тогда Колосов певуче, в тон Кольцову, вопрошал:

— А скажем, «тае», «надысь», «оченно» не требуется?

— Нет-с, не требуется,— по-купцовски отрезал Кольцов,— товар лежалый, с запашком-с... А пейзажи у вас отменные, даже завидки берут, читаючи...

Записной книжкой Алексею служила сложенная вдвое тетрадка, а то и просто большие листы газетной бумаги, которые он аккуратно сшивал крепкими нитками. Одну такую записную книжку я как-то видел и, листая ее, обратил внимание, что на одной половине страницы колосовскою рукой были записаны цифры, деловые факты, а на другой — услышанное слово, диалог, набросок пейзажа... Он старательно записывал цифры и факты, а потом, в пути или дома, в редакции, вынимал из бокового кармана пиджака сложенную вдвое заветную тетрадку и садился писать рассказ, в котором не было ни цифр, ни того, что относилось к злобе дня.

На одной из редакционных летучек,— правда, не называя колосовского имени, но все знали, о ком идет речь,— Алексея Ивановича попрекали: вот, мол, какие бывают разъездные корреспонденты! Посылают товарища в деревню организовать и отразить борьбу за семфонд, а он, видите ли, привозит оттуда лирический рассказик о каких-то там розовых гусях... Да, был такой случай, когда Колосов написал рассказ «Розовый гусь» — рассказ, который, по убеждению неглубоких,

скользящих по поверхности газетчиков, был очень далек от злобы дня.

«Розовый гусь» Колосова занимал обычную газетную площадь — 300 строк. Рассказывал автор о том, как сентябрьским утром двигался по большаку хлебный обоз. А навстречу обозу ехал цирк: две подводы — одна с клетками, с какими-то шарами и металлическими мачтами, а на другой сидели актеры. На большаке столкнулись цирк с обозом. Весь груз передней подводы рухнул, из поломанной клетки вырвался громадный розовый фламинго, улетевший за багряные перелески.

— Вот эт-то гусь! — воскликнул кто-то из колхозников.— Эт-то вот гусь!..

Невиданную розовую птицу видели в окрестных деревнях, видела ее бабка Степанида у колодезного сруба, видел ее и квадратный лысый старик Антон Певакин, который после этой минуты лишился покоя. («Отколь он, думаешь, вдруг заявился, гусь-то этот? Ясно и понятно: везли в вагоне в Поныри или к Курску, в совхоз какой, для обзаведения нового сорта. Везли его, а он возьми да и сигани».)

Певакин стал искать розового гуся. Его спрашивали: «Что, не пымал?» Над ним посмеивались — ищет розового гуся! А лысый старик Певакин стоял на своем: теперь для науки ворота широкие. И сиповатым тенорком расспрашивал встречных: «Гуся у вас в Лутовинове не пымали, сваток? Гусь, говорю, сортовой, с вагона вылетел, люди его тут ищут... Не слыхал, не пымали его у вас?..»

Редактор испытывал некоторое сомнение: приличествует ли «Правде» печатать историю о розовых гусях?

— Где вы раздобыли эту легенду с фламинго? — Редакторский карандаш стремительно обвел оттиск колосовского рассказа на полосе свежего набора.

И Колосов, наш тишайший Алеша Колосов, со своей невозмутимой, умной, лукавой улыбкой, вежливо взяв из рук редактора остро отточенный карандаш, провел волнистую линию под набранным петитом адресом: «Мценск, ЦЧО».

И долго-долго после опубликования рассказа о розовом гусе волны смеха перекатывались по кабинетам и коридорам редакции. А Михаил Кольцов, бывало, встретив нашего разъездного корреспондента, деловито брал его под руку и шепотом спрашивал: «Не слыхал, Алексей Иванович, не пымали гуся?» И Алексей Иванович так же негромко отвечал: «Пока не пымали»...

Ему, бывало, скажешь о только что напечатанном очерке: «Знаешь, Алеша, здорово у тебя вышло!» — а Колосов в ответ конфузливо отмахивался и с самым серьезным видом говорил: «Да ведь стенограмма, почти стенограмма».

Но слушал тебя с большим интересом и чуть удивленно бросал:

— Вот как, значит, штука моя, говоришь, полезная... Вот как!

И вдруг охрипшим от волнения голосом произносил:

— Что ж, как говорится, честь и хвала автору...

Эти слова он редко употреблял, только тогда, когда был в хорошем настроении. Происхождение этой фразы было связано с детскими годами Алеши Колосова. В дни юности учитель как-то задал ребятам задачку —

написать сочинение на тему «Самый счастливый день в моей жизни». Алешино сочинение было весьма коротким, что-то с полстраницы. Описывал Алеша зимний солнечный день в деревне, воробышка, прыгающего на дороге, и то, как он, Алеша, смотрит из окошка на бойкого воробышка. Вот и все сочинение. Учитель, который, по словам Алеши, до этого дня не замечал его, редко даривший его своим вниманием, написал на колосовской тетрадке: «Если сочинение самостоятельное, то честь и хвала автору».

С тех пор так и запало в память: «Если сочинение самостоятельное, то честь и хвала автору».

Алексей работал трудно, мучился и над рассказом и над пятистрочной заметкой. А в день, когда видел свою корреспонденцию в газете, особенно волновался: как-то отнесется читатель?

И как же поразило его спокойствие одного молодого автора, вернее — не спокойствие, а холодное равнодушие, с каким тот встретил свою первую напечатанную в газете вещь. Дело ведь не в размере — десять строк, одна колонка или подвал. Важно, что тебя в первый раз представили народу, дали возможность завязать знакомство с читателем.

— Гляди-ка,— говорил Колосов с удивлением,— напечатали молодца в большой прессе, а он — хоть бы что, никакого волнения!

И тут Алеша стал вспоминать одного знакомого, как он сказал, комиссара — комиссара Двадцать пятой дивизии; тот, когда впервые увидел своего «Чапаева» в наборе, то прискакал домой и давай откалывать вприсядку...

Вносил Колосов в свои очерки и рассказы удиви-

тельно живую, острую тональность; о самых серьезных вещах он умел говорить с веселой насмешкой или едкой иронией, создавая на малой газетной «площади» характеры и типы.

Я часто задумывался над этим его умением, вернее, мастерством. Вот Колосов ведет свой рассказ как будто по обычным газетным рельсам и вдруг в какое-то мгновение сходит с заданного, привычного и открывает в обычном — необычное. Он любил записывать, стенографировать, как он говорил, разговоры крестьян. Есть у Колосова рассказ, который начинается с деловой телефонограммы спецкора в редакцию («Дело о Кузьме Ветелкине»):

«Редакция «Правды», сельскохозяйственный отдел. Жалоба дьяконовских колхозников на заведующего молочной фермой и председателя по ликвидации бескоровности К. И. Ветелкина подтвердилась. В расследовании жалобы участвовали второй секретарь райкома партии и заведующий земельным отделом. Ветелкин с работы снят. Передаю корреспонденцию об общеколхозном собрании...»

Деловито звучат эти слова телефонограммы: «Передаю корреспонденцию...» И далее следует отчет о колхозном собрании, колосовский отчет, в котором деловое, критически острое вдруг заиграло сильными красками жизни.

Алексей прибегает к излюбленному приему: он записывает выступление — исповедь самого Ветелкина, реплики, ход прений. Но вот как под пером художника возникает характер Ветелкина — человека, давно оторвавшегося от масс, забывшего об их нуждах и прибегающего к туманным, бюрократическим оборотам речи.

Собрание требует: «Пускай он сперва скажет, как ферму пропил». Но так как он считал, верно, невыгодным,— пишет Колосов,— докладывать о нынешней своей работе, то начал издалека, чуть не со своего отрочества... Порой казалось, что речь идет не о нем, пройдохе, запивашке и хвастуне, а о каком-то дельном, энергичном, даже выдающемся товарище.

Ветелкин говорил:

— А потом я был послатый в двадцать четвертый полк. Командир у нас был товарищ Греков, а комиссар товарищ Андрей Емельянов, матрос Черноморского флота. Тут довелося повоевать, чтобы не ошибиться, до самой до даты марта месяца, когда за городом Белебеем мы получили приказ идти в наступление и прорвать фронт...

— Давай, товарищ Ветелкин, более конкретно,— прервал его председатель.

— К этому я еще, бессомненно, подойду,— учтиво возразил Ветелкин.— Но на данном ответственном собрании присутствует секретарь райкома нашей партии товарищ Медведев, и также товарищ Черемухин, и еще некоторые, и считаю своим прямым долгом раскрыть, бессомненно, весь циркуль своей жизни...

Рассказывая о первоначальной колхозной поре, о лютовавших тогда кулаках, о тех годах, которые прожил он тут, в Дьяконове, на глазах всех этих людей, Ветелкин стал искать слова особо мутные, сбивающие колхозника с толку.

— И тут,— говорил он,— я нажал на кнопку. Нажал я на кнопку, и результаты налицо.

— На какую?— спрашивал секретарь райкома.— На какую кнопку-то?

— Определение лица,— отвечал Ветелкин.

Колосов достигал этим как будто таким простым (стенограмма!) приемом поразительного результата: зримым становился Ветелкин, «запивашка, хвастун», годами глумившийся над людьми, руководивший «путем нажатия кнопки».

Верстальщики и метранпажи «Правды», обычно беспощадные и суровые к авторам, как правило, веселели, когда склонялись с шилом в руке над «подвалом» Колосова, выискивая для него три, пять, десять лишних строк на полосе.

В редакции гулял рассказ, как линотипистки типографии, набирая с листа очерк Колосова «Самокритика», весело хохотали.

К председателю сельсовета Степану Квашину, писал Колосов, к румяному здоровяку, приходили колхозники и учтивости ради спрашивали: «Можно?» Степан Квашин не говорил ни «да», ни «нет» и даже не смотрел на вопрошающих, а это следовало понимать так: «Можно, но не желательно».

Колосов описывал собрание, на котором обсуждалась Конституция и заодно работа сельсовета: «Степан Квашин ездил на бричке с собрания на собрание, и вид у него был такой хозяйский, словно это он написал Конституцию и теперь следил, все ли ее понимают, как надобно».

Протокол поручили вести Якову Свиридову. Инструктор райкома сказал ему:

— Прения записывайте, пожалуйста, полнее. Интересные реплики тоже, пожалуйста, записывайте.

Дальше идет протокол собрания, записанный Свиридовым-Колосовым:

«Гр. Корешкова говорит: «Будешь или не будешь делать, товарищ Квашин, самокритику?..» Тов. Квашин говорит: «Я не знаю, товарищ Солонец, как у нас проходит настоящее собрание. Считаю, что это ненормально, и прошу тебя, как представителя райкома, разъяснить данным гражданам». На это тов. Солонец подает реплику и говорит, что требование собрания здоровое и надо говорить под углом самокритики».

Тут мы пропускаем две страницы и выписываем речь Анны Тютиковой:

«Ну, я сродственница ему и хоть не часто, а хожу к ним. Сказать, чтобы он пил или что, не скажу, а если выпьет когда, то тихо и благородно. Либо с Утешевым Иваном Егорычем выпьет, либо вон с Макаткиным Андреем. Выпьют и разговаривают меж собой, кого оштрафовать, кому речь какую говорить, какую бумагу в район написать. Но вот, сколь я ни сидела, сколь ни слушала, хоть одно бы словечко про нашу женщину, про дитё, про ясли или что. Говорю ему: «Степан, брюхо-то ты растишь, а народ недовольный: вон в других местах сады детские наладили, родильни, у нас нет ничего». Говорила я тебе это, Степан, много раз говорила, а ты башкой, как бык, мотал: «Бабские, дескать, твои разговоры!» И вот довел себя до того, что сидишь передо всем народом, как мимоза».

Гр. Тютикова говорит, что она оскорбления не делала. На это гр. Корешкова дает реплику и говорит: «Мы все знаем, кого зовут мимозами: это хуже жулика. Продолжай свою речь...»

Алексей забивал ящики своего стола рукописями рассказов и очерков, некоторое время хранил их, остро переживая все сокращения, сделанные безжалостными руками газетных работников. Но проходило время — и он с какой-то беспечностью выбрасывал из ящиков все, чем так недавно еще дорожил.

Он берег только то, что было ему, наверно, особенно дорого,— старые, мятые, сложенные вдвое тетрадки, куда он заносил услышанные в деревне песни, острые присловья, неожиданные обороты речи или осевшее в памяти слово из дорогих его сердцу книг.

Вот несколько страничек его коротких записей.

...город будто выстроен из голубых теней.
Расхлестался на перекрестке
пряменький, маленький...
Зыбкой походкой
«Не люди вы, а мох»
Зажмурился, замотал щеками
Погуляет по Европе лапоть
В глазах — муть, зелень, тьма, дым

Жили среди лотков, тележек с овощами, жаровен
Губы, как ниточки
Дунул в пузырь лампы
Задом упирался на трость
Зашептал про сладкие вещи
Чернели холмики давно заброшенного кладбища
Остро-блестящий
Бесстыжий

мерзкий тенор
гнутая старуха
цепь огненных глаз
Тревожно крикнул

громоздились розовые горы
Веселая старуха
В лугах шла своя жизнь
Листья плавали в синем небе
Сонное тепло дома
Тепло пахло речной водой
Нахлебался жизни
Дымящаяся прорубь
В облачных проемах
Храбро ошибался
Человек растрепанный, а лицо почти красивое, детская улыбка
странно беспокойные руки — как будто ищут что-то
Тающее лицо
Вареные уши
Горячие темные глаза
Сухие руки
Леса, дышавшие смолистым теплом
Просели худые крыши, завалились ворота
Отвечал рассудительно
Мужиков ветром качает...

Буран искр
Калил ее до малинового цвета
Выхватил из горна — на наковальню, обмел вспыхнувшим веничком окалину с нее...
На болоте сеять — зря руками махать.

Красно горит солнце
Качались красные гроздья ягод.
Огненные ручьи желтых и пурпурных красок (заря)
ленивая доброта
болтливый маятник
И пошла как сонная
Человечно прошу тебя
После долгого небывания
Таким однообразным голосом, будто сыпал сухие горошины на темя
И с особенным жаром принялась пожимать всем руки
злой и добрый блеск
глаза, сделанные из скуки
чугунным взором
снег слепил
бесплотным синим светом
слепительный мартовский глянец

мерзлый голос
Запивашка
Берёть
Вычуры
Убеждения флюгера
Мотнул носом
Худое, горбоносое лицо
Сияющий мягкий снег
Покрыты белыми шапками, будто вросли в снег
Синеватые тени
Пахло талым воздухом, навозом и скотиной
Дощатый домик на колесах — будка

Медовым голосом свистит иволга
— Это гусь, его раскорми — кругом сало
Львы из теста, свистульки
По опавшим листьям и веткам бежал под стену и в сад студеный ключ
Расползлась великим киселем.
Девки венки пошли завивать
Себя определить не может

Обложенная диким камнем стена
Лысый и пухлый
Выпученными светлыми глазами
Отмахиваясь локтями от парней
На щеках, точно на яблоке, наведен круглый румянец
Тащились мокрые облака
Сказал и подмигнул
Такие хи-хи заведут
уносит сердце в пучину
в чуть согнутом положении, словно кланялся или приглашал кого-то танцевать.
Он так кашляет, что весь дом трясется
Жаркий ветер рабочей поры
Пока не закурит, не затянется, совершенно шальной, ничего не понимает
Большая, бокастая, ходит в валенках, в теплой стеганой безрукавке.
В тулупах со стоячими метровыми воротами из жесткого псиного меха.
Доска, тесовина со свищом — дыра от выпавшего сучка.
В борьбе с неподатливым словом.

Нас, его сотоварищей по редакции, удивляло, что он навечно прирос к газете. Не единожды пробовал Горбатов «оторвать» Алешу от газетного поля.

— Слушай, разъездной! — говорил Горбатов.— Самое время тебе задуматься и размахнуться.

— На роман, что ли? — усмехался Колосов.

— На роман, на повесть, на пьесу,— напористо говорил Горбатов.

— Можно,— соглашался Колосов,— конечно, можно размахнуться. Но прямо скажу вам, ребята: мал багаж...

Тут Горбатов вспыхивал:

— Это у тебя мал багаж, Алексей Иванович?

Колосов, держа на пальцах блюдце с чаем и с наслаждением прихлебывая, звучным голосом разъяснял Горбатову и мне:

— Для того, чтобы размахнуться, знаете что требуется? Меньше отдаваться чаепитиям, беседам с друзьями и хотя бы временно, братцы, но замкнуться в себе. Ну, и переламывать свои настроения и даже усталость... Так, между прочим, действовал Дмитрий Фурманов.

В тридцать пятом, ранней весной, редактор «Правды» завербовал для «Двух пятилеток» Горького наших разъездных корреспондентов — Алексея Колосова и Бориса Горбатова. Один из разъездных (Горбатов) зимовал в это время на острове Диксон, а другой (Колосов) находился в деревне, в Кировской области.

Редактор «Правды» рад был сообщить Алексею Максимовичу телеграфные ответы двух завербованных авторов:

«Работе приступлю апреле. Считаю, есть районы исторически и хозяйственно более яркие, чем районы Днепрогэса, например Поволжье. Колосов».

«Вашу телеграмму получил, предложенными темами радостью согласен. Горбатов».

В письме к Горькому редактор «Правды» делает приписку к телеграмме Колосова, как бы знакомя Алексея Максимовича с разъездным корреспондентом:

«Колосов очень талантливый писатель, скромный, знает блестяще деревню».

Тема колосовской работы — история одной волости — так расшифровывалась в плане будущей книги:

> Прошлое этой волости, крестьянское хозяйство, земельные отношения, деревенский быт, помещичья усадьба.
>
> Гражданская война, годы нэпа, предколхозный период. В этой части показ волкомов, сельских партийных ячеек, бедноты, батрачества, первых колхозов, кулака, классовой борьбы на селе.
>
> Коллективизация, ее герои и враги, середняк (его колебания) и кулак (религиозные секты, восстания, убийства). Первые этапы колхозного строительства. Победа колхозного строя.

Но закружила Колосова газетная страда, потом не стало Горького, и замысел интересной работы зачах, истаял.

Внимание мира было приковано к Испании — там

шли первые бои с фашизмом. В Испанию уехал специальный корреспондент «Правды» Михаил Кольцов.

С кольцовской Испанией у нас с Колосовым было связано одно воспоминание. Собственно, один маленький эпизод. Короткий, пятиминутный разговор по телефону. Было это в один из ноябрьских дней тридцать шестого года, чуть ли не в канун празднования Октября. Я дежурил в редакции, помню пустынный в этот час коридор четвертого этажа,— вдруг распахивается дверь из комнаты стенографисток, этой святая святых редакции, и одна из них громко зовет:

— Мадрид!

Там, в Мадриде, был Кольцов, редакция с нетерпением ожидала его корреспонденции из воюющего города. Колосов и я бросились в стенографическую будку. Голос у Михаила Кольцова на этот раз необычный — взволнованный, гневный:

— Слушайте в Москве!

И тут внезапно голос Кольцова куда-то отодвинулся, и сильные грохочущие звуки — гул артиллерийской канонады ворвался в нашу обитую войлоком и кожей телефонную будку. Это Мадрид. Это Испания в страшные дни ноября. 2 ноября Кольцов просит у Долорес Ибаррури статью для праздничного номера «Правды» («Хотя бы маленькую»). Спустя час Долорес вручила Кольцову несколько листков. «Помните о нашем народе, израненном, окровавленном, о нас, ваших сестрах, изнемогающих в неравной борьбе за свою жизнь и честь».

В «Испанском дневнике» 6 ноября Кольцов в Мадриде записал эти слова свои о Москве:

«Интересно, какая погода, много ли уже снега, будет ли с утра туман?»

«Стрелки на ручных часах светятся, они показывают десять часов сорок пять минут. Через час с четвертью будет седьмое ноября. Нет, в эту ночь нельзя покинуть тебя, милый Мадрид».

Сейчас, когда я пишу эти строки о телефонном звонке из Мадрида, я снова и снова вижу Кольцова таким, каким он вернулся оттуда. Запомнилась его испанская одежда: короткая куртка и синие грубошерстные солдатские штаны. Он как будто все еще жил там, в Мадриде, в Испании...

Он зазвал нас к себе в кабинет и, обращаясь к Колосову, сказал: «А живут крестьяне испанские так...» И пошли, пошли рассказы об Испании.

Давно выцвела бумага, потускнела печать газетных колонок, а слово кольцовское — умное, разящее, гневно-ироническое, веселое и дерзкое — живет и живет. В том же тридцать шестом — испанском году! — Кольцов, помню, написал газетный фельетон «Похвала скромности». Улыбаясь, досадуя, негодуя, пишет он о том, что и сегодня так мешает нам в жизни. Он поднимает свой голос в газете против струи самохвальства и зазнайства.

«Куда ни глянь, куда ни повернись, кого ни послушай, кто бы что бы ни делал,— все делают только лучшее в мире. Лучшие в мире архитекторы строят лучшие в мире дома. Лучшие в мире сапожники шьют лучшие в мире сапоги. Лучшие в мире поэты пишут лучшие в мире стихи... Уже самое выражение «лучшие в мире» стало неотъемлемым в словесном ассортименте каждого болтуна на любую тему, о любой отрасли работы...»

Этому бойкому чириканью воробьев на газетных вет-

ках Кольцов противопоставляет простую мысль, твердое желание: будем, товарищи, среди прочего, крепко держать первое место в мире по скромности!

ПОЕЗДКА С КОЛОСОВЫМ

Читая Колосова, мне всегда хотелось глубже понять истоки его мастерства.

В «Пестрых заметках», своего рода дневнике корреспондента, который Колосов время от времени вел на страницах «Правдиста», Алексей Иванович рассказывал о своей поездке со спецкором Жуковиным:

«Условились так: Ульян Жуковин беседует, расспрашивает, записывает, а я — словно бы в сторонке: прислушиваюсь, наблюдаю, запоминаю».

Удивительно точно он выразил себя в этих словах — «словно бы в сторонке». Он так всегда и работал. «В сторонке», но, однако, ко всему чутко прислушивающийся, внимательно наблюдающий, крепко запоминающий. Он давал полную волю собеседнику «выложить себя», но потом в какую-то минуту одним-двумя вопросами или репликой незаметно переводил разговор в нужное ему деловое русло.

НЕМНОЖКО ОБ ОБЩЕНИИ С ЧЕЛОВЕКОМ

> Очень важно в корреспондентской работе,— писал Колосов в «Пестрых заметках»,— близко сойтись с людьми, расположить их к себе, вызвать на самые душевные, откровенные разговоры.

Но, наблюдая за работой некоторых наших корреспондентов, заключаешь, что близкое общение с людьми они считают делом как бы третьестепенным и даже ненужным.

Вот — типичное...

...Комбайнер. Доярка. Прицепщик. Рядовой агитатор. Тракторист... Сойдя с машины, корреспондент сразу же направляется к интересующему его товарищу и — вынув блокнот:

— Вы Петр Петрович Петров?

— Я.

— Давно работаете комбайнером?

— Четвертый год.

Корреспондент записывает.

— А какие у вас в этом году показатели?

Записывает.

И тут всякий раз происходит одно и то же. Только что Петр Петрович беседовал со своими товарищами живым человеческим языком, а увидев блокнот и слушая почти что следовательский голос, замкнулся, отвечает скупо и сухо, так что ничего значительного из этой беседы не получается.

В общении с людьми у нас невозможны штампы, казенщина, поверхностность. К тому же мы редко заходим в избу, на колхозную электростанцию, на мельницу, почти никогда не ночуем в полевых таборах, не задерживаемся в местах, где можно узнать гораздо больше, чем в колхозной конторе или в сельском совете.

А это — искусство, и это — профессиональная наша обязанность уметь общаться, сходиться, дружить с людьми.

И уж сколько раз доводилось мне видеть: собкор или спецкор вернулся из поездки и мучительски мучается над корреспонденцией и все жалобится: исписал три блокнота, но такая сушь, ничего живого.

А живое-то в людях, с которыми мы все еще не научились общаться!

Зимой тридцать восьмого года мы с Алексеем Колосовым поехали в Кирсановский район, Тамбовской области, в колхоз имени Ленина. Собственно, это Алексей пошел мне навстречу — я просил его помочь сделать документальный фильм о кирсановском колхозе, у которого была своя интересная история.

История этой коммуны была живой историей, связанной с Лениным. Ведь вот, рассказывал нам Колосов, сумел же Владимир Ильич «зацепиться» за одну статью в воскресном номере «Правды» от 15 октября двадцать второго года... То были заметки-впечатления Гарольда Вэра, участника американского тракторного отряда, добровольно, по зову сердца, приехавшего из Соединенных Штатов Америки в Советскую Россию, чтобы помогать русским рабочим и крестьянам.

«Тракторный отряд в Перми,— писал Гарольд Вэр,— является лишь каплей в громадном море России. Тем не менее он заслуживает интереса». И далее шел деловой рассказ о переживаниях американцев, приехавших в Советскую Россию, и о результатах пусть небольшого, но первого опыта работы американских трактористов.

Отряду отвели для работы Тойкинский совхоз, что в

семидесяти верстах от железной дороги. Гарольд Вэр писал о трудностях работы и о том, как русские сблизились с американцами, о первой борозде, проложенной тракторами на советской земле. («Мы пришли, чтобы научить, но еще больше сами научились».)

Владимир Ильич сразу же берет «на заметку» деловой отчет Гарольда Вэра, он запрашивает в Пермском губисполкоме подробные сведения, он требует внимания, внимания и более конкретной помощи американскому отряду. Буквально на пятый день после опубликования отчета Гарольда Вэра, 20 октября 1922 года, Ленин пишет письма: «Обществу Друзей Советской России в Америке», «Обществу технической помощи Советской России».

В одном из ленинских писем говорилось о хорошей «работе членов вашего Общества в советских хозяйствах Кирсановского уезда, Тамбовской губернии, и при ст. Митино, Одесской губернии, а также о работе группы шахтеров Донецкого бассейна».

Владимира Ильича радовало, что, несмотря на гигантские трудности, эти советские хозяйства достигли замечательных успехов.

Вот в какое хозяйство приехала наша бригада! Руководил бригадой кинооператор, прославившийся съемками в Арктике; он носил кожаные штаны и куртку на «молнии» и производил на окружающих весьма внушительное впечатление. Был с нами еще развеселый фоторепортер с хитрым и по-цыгански смуглым лицом. Были и другие товарищи.

Алеша Колосов как-то затерялся в шумной, говорливой бригаде. Он сразу же по приезде забрался куда-то в уголок хаты, долго возился в своем видавшем виды

дерматиновом чемоданишке, погромыхивал чайником, колдовал с заваркой, предоставив нам полную свободу — расспрашивать руководителей колхоза.

Разумеется, режиссеру-оператору и мне трудно было с ходу глубоко вникнуть в дела колхозные; у нас, наверно, был городской подход к тому, что мы видели и что должны были отобрать для будущего фильма. Колосов значительно глубже нашего разбирался в делах этой коммуны, только недавно перешедшей на устав сельхозартели.

Кто-то из товарищей руководителей, кажется — бригадир животноводческой фермы, встретившись со спокойным, чуть насмешливым колосовским взглядом, умолк на полуслове и, наклонившись к плечистому фоторепортеру, который, зарывшись руками в темный мешок, перезаряжал пленку, спросил шепотом: «А кто он по чину-званью, тот гражданин?» На что репортер быстро, с веселой пренебрежительностью ответил: «А, это наш разъездной...» Но уже через час-другой «этот наш разъездной», спокойный, хитрый мужичок в мешковатом пиджаке, полностью овладел вниманием председателя и бригадиров. Мне даже показалось, что они, слушая вопросы Колосова, внутренне подтянулись, почувствовав, что перед ними знающий человек — «разъездной агроном, что ли».

Алексей Иванович поначалу подал голос из своего закутка, потом подошел к нам поближе и задал несколько простых и деловых вопросов, на которые бригадир животноводческой фермы столь же просто и деловито ответил. Бригадир, видимо, понял, что этот пожилой товарищ с морщинистой шеей, спокойный и неторопливый корреспондент «Правды», лучше других

разбирается в сельскохозяйственном производстве, и поэтому все свое внимание он перенес на Колосова.

Бригадир ссудил Колосова длинным тулупом с высоким стоячим воротником, каждый день на рассвете приезжал за Колосовым в розвальнях, и они вдвоем отправлялись по бригадам и в соседние, окружающие колхоз имени Ленина, деревни. Алексей возвращался затемно, с красным, обветренным лицом, стучал одеревеневшими от холода ногами и хриплым, озябшим голосом рассказывал о том, что видел за день. А видел он такое, что делало его сумрачным и грустным. То, что в коммуне-колхозе дела шли неплохо, конечно же радовало Алексея Колосова,— угнетало другое: рядом, в соседних деревушках, дело не ладилось, жизнь была тяжелой, трудной.

Колосова волновала, а вернее сказать — терзала, мысль: сколько же пришлось выдержать этой коммуне за свои пятнадцать лет жизни! Как ее ломали одно время, превращая в коммуну-гигант, искусственно вливая в нее колхозы чуть ли не всего района... И как теперь ее снова лихорадило.

Мы жили в белой хатке, сплошь, до окон, занесенной снегом,— зима в этом году была метельная, хатка эта служила пристанищем для приезжающих в колхоз. В какой-то из вечеров один из приезжих товарищей, командированный из Кирсанова, ворвался в нашу беседу и командующим тоном сказал, что на сегодняшний день главная задача в этой бывшей коммуне — борьба с последствиями вредительства. Ничего толком не мог он сказать. Бороться — и все!

Колосов резко встал, рванул со спинки кровати свое пальто и, волоча его по полу, шагнул за дверь.

Он стоял на крыльце, хмурый, молчаливый, ветер шевелил его русую седеющую голову. Он взял у меня из рук тяжелую мохнатую кепку, нахлобучил на голову.

— Заладили одно,— угрюмо сказал он,— бороться, бороться... А кто, кто, спрашиваю, отвечает за последствия нищенской жизни в окружающих колхозах-деревеньках?! Вот что должно нас занимать...

Кажется, больше всего его интересовало и волновало то, что делается в соседних с коммуной-колхозом деревеньках, окружающих это сравнительно благополучное и даже богатое хозяйство.

Он умел располагать к себе людей. Его друг по костромским странствиям, писатель Вячеслав Лебедев поделился однажды со мною впечатлениями об этих чертах колосовского обаяния.

> Поразительна была способность Алексея Колосова находить общий язык с самыми разнообразными людьми — в особенности с людьми села, труда на земле... Он обладал своеродным и, вероятно, довольно редким даром заглядывать в нутро к простому, бесхитростному собеседнику своему, угадывать — что может его как-то волновать или интересовать, и, оттолкнувшись от этого, развертывать неспешный, вдумчивый разговор.
>
> Вспоминаю, как зашли мы с ним в гости к Герою Социалистического Труда — костромской телятнице Таисье Алексеевне Смирновой, красноречием не отличавшейся и вообще малоподатливой на беседу. Однако она пользовалась большим вни-

манием корреспондентов всех рангов и придумала способ по-своему проводить такие интервью: у нее на столе постоянно лежал пухлый альбом с аккуратно наклеенными фотографиями, и она почти сразу же, в начале разговора, подвинув к гостям этот альбом, ограничивалась затем лишь скуповатыми комментариями к снимкам:

— Вот это — Плавная, когда маленькая была... А вот это — Ветка. А вот это — Гроза наша...

Или:

— А это вот — наш летний лагерь с клетками... А это зимнее помещение...

Разумеется — проще, сподручнее так, чем отвечать на разные дотошные расспросы.

Но у Алексея, оказалось, был припасен надежный «ключик», недаром создалась его слава отмыкателя «сердец и уст».

— Замечательно все это, дорогая Таисья Алексеевна! Прямо душа радуется, когда разглядываешь всю эту вашу живую, наглядную летопись... Но не скажете мне — заглядывает ли к вам сюда, в чудесный уголок этот — на хрустальную Сендегу,— братец ваш Рассадин, из Москвы?

Таисья Алексеевна так и опешила:

— А вы его знаете? А откуда вы знаете, что он мой брат? Ведь я — Смирнова, а он — Рассадин!

Речь шла о не менее знаменитом в ту пору, чем сама она, журналисте-международнике, постоянном парижском собкоре «Правды» — Г. Рассадине, который действительно был братом Таисьи Алексеевны, как и она, уроженцем Костромщины, откуда-то из-под Галича или Судиславля.

Сразу же разомкнулись ее скуповатые уста — словоохотливо, даже с подъемом начала она посвящать искусного «родознатца» жизни народной в то, как росли они в дымной, затерянной среди северных лесов избе с этим самым будущим «парижанином», спорили из-за редковатого лакомства — порога — и притом дружески помогали друг другу в сотнях и тысячах разных малоприметных, но навек запоминающихся дел, которые и всплывают потом в памяти, вдруг — наперебой, на радость и смакование вспоминающим...

А уж смаковать детали быта, вкусные, сочные,— Алексей Колосов был великий мастер и любитель. С чисто художническим, «бунинским» (как почитал и любил Алексей непревзойденного живописца «Деревни» и «Суходола»!) благородным и незазорным «вожделением» схватывал Алеша, штрих за штрихом, оттенки — и людской добротной речи, и обстановки, и природы.

Гуляя вдоль той же «хрустальной Сендеги», Алексей то и дело скашивал голову совершенно художническим движением, поворотом, явно запоминая какой-нибудь неожиданный и гениальный мазок великой «сестры-художницы» — Природы!

Выражение это было обронено как-то раз им — мягко, без нажима, «походя», как говорится,— хотя, вообще-то, он обладал своеобразным даром «бытового ораторства» — уменьем рельефно, выпукло, впечатляюще доносить до слушателя всякую дорогую ему мысль...

«ВОТ БЫ ВСЕМ НАМ ЭТО...»

В трудные октябрьские дни сорок первого года Алексей Колосов встретился с А. Н. Толстым, который находился в то время в Зименках, под Горьким.

Глубокой ночью Колосову позвонили из Москвы, сказали: где-то поблизости от вас живет Алексей Николаевич Толстой, надо заказать ему статью и как можно скорее передать статью по телефону.

Колосов с собкором «Правды» поехал в Зименки.

Алексею Николаевичу нездоровилось, он сидел на кровати в одной сорочке — и сразу же:

— Что под Москвой? Какие последние сведения?

Колосов рассказал, что знал, потом заговорили о статье.

— Да, да, надо... Но сегодня не смогу. Нездоровится... Что? Да надо-то надо! А вы когда из Горького? На чем? Не обедали?.. Попрошу вас в кабинет. Я — сейчас...

Колосов с собкором остались в кабинете А. Н. Толстого.

На столе, заметил Колосов, поверх книг лежала небольшая рукопись, густо засеянная поправками. Заглянул в нее Алексей, запомнил строку: «Мы даем битву в защиту нашей правды». Увидел и книги Ленина со множеством бумажных ленточек-отметок.

«Очень хотелось бы покопаться в ворохе каких-то записей и вырезок,— рассказывал потом Колосов,— полистать старинные, тоже со вкладками, книги, но — нельзя. Сбочку от вороха продолговатая толстая тетрадь, она раскрыта на недописанной странице,— тут уже невозможно одолеть искушений, и мы читаем эпитеты и наречия, выписанные, вероятно, из редких книг и,

быть может, из народных сказок, из мемуаров и дневников...»

Пришел Алексей Толстой и, переговорив с правдистами, стал писать статью. Это была статья, напечатанная в «Правде» 18 октября.

И вот два писателя — Алексей Николаевич Толстой и Алексей Иванович Колосов,— один — всемирно известный, а другой — работающий на газетном листе, оба влюбленные в Россию, судьба которой в эти страшные октябрьские дни сорок первого решается в нескольких сотнях километров от Зименков, два немолодых писателя, много перенесших в своей жизни, ведут долгий разговор в затемненных Зименках, а потом в машине, по дороге в Горький, куда они вместе выехали, чтобы связаться с Москвой...

Колосову запомнился этот ночной разговор. В «Пестрых заметках», заменявших Алексею Ивановичу дневник, он записал разговор в дороге:

« — Алексей Николаевич, случайно мы видели на вашем столе тетрадь, исписанную всякими эпитетами, наречиями, существительными.

А. Толстой:

— Хорошие книги надо читать с карандашом. Богатство нашего языка неисчерпаемо, и всегда найдутся замечательные слова, которых у вас не хватает. Вот и у вас, журналистов, тоже не все благополучно (он назвал одного нашего товарища правдиста). Штампов много: «превосходный», «отличный», «замечательный» и опять «превосходный», «отличный»...

Мы с восхищением и вниманием слушали писателя, который даже в те тревожные дни продолжал совер-

шенствовать и совершенствовать свое мастерство, обогащать и без того чудесный свой язык».

И заключал Колосов свою запись о встрече с Алексеем Толстым такой строкой:

«Вот бы всем нам это...»

А как любил наш разъездной корреспондент Бунина!

Помню, приехал Колосов из очередной поездки в Верхнее Поволжье, приехал сердитый, задиристый...

На все мои вопросы — где был, что видел — Колосов сначала отмалчивался, потом с каким-то смущением, конфузливо улыбаясь, стал рассказывать об одном казусе, который приключился с ним.

Я сейчас не могу припомнить — то ли это было в Ярославле, то ли в Костроме. Но было так: местные товарищи газетчики попросили Алексея Ивановича поделиться творческим опытом писательского ремесла.

Сколько раз Алексея просили: «Поделись опытом, расскажи, Колосов, о себе».

Он обычно кратко отвечал: «Вот заделаюсь стариком, тогда и буду сказки рассказывать».

И здесь он долго отказывался, потом все-таки согласился делиться опытом. Товарищи придвинулись, с интересом ожидая, что скажет всеми уважаемый литератор А. И. Колосов. И очень удивились, когда Алексей, стоймя поставив перед собою томик Бунина, коротко сказал: «Вот у кого надо учиться!» И стал наугад открывать страницы и читать Бунина.

Молодой корреспондент «Комсомольской правды» Юрий Филатов был в то время добрым спутником Алексея Ивановича. Мне хочется привести запись его рассказа об одной встрече с Колосовым.

...Вспоминаю, как мы с ним вместе были в командировке в Костроме. Он от «Правды», я от «Комсомольской правды». Задание редакционное у нас было одно: написать очерк о Смирновых — матери и дочери, животноводах совхоза «Караваево».

Беседуя с будущими героями очерка, я пытался дословно записать их слова, допытывался, как и чем они кормят животных. Однажды Алексей Иванович не вытерпел и спросил:

— Ты что, научный трактат собираешься писать?

Я недоуменно поднял на него глаза.

— Записываешь, как прокурор на следствии.

Алексей Иванович почти ничего не записывал. Он внимательно расспрашивал мать, как она жила раньше, как попала в совхоз.

Алексей Иванович ни разу ее не спросил о рационе кормов. Я удивлялся: как же он будет очерк писать?..

Как-то вместе с Алексеем Ивановичем мы целый день провели на берегу Волги. Разговор зашел о писателе Иване Бунине. Алексей Иванович рассказывал о его творчестве, восхищался бунинским мастерством. Вдруг он неожиданно ударил меня по плечу.

— Знаешь, Юра, чинуши однажды выступить мне чуть было не разрешили.

Он помолчал и добавил:

— В Костроме. Совещание писателей было. Я советовал учиться мастерству у Бунина. Кое-кто ощетинился: у Бунина учиться!

Алексей Иванович страшно разозлился на меня за то, что я плохо был знаком с творчеством Бунина.

— А ты знаешь, как он ручей описывал? — вдруг спросил он и, не дожидаясь, ответил: — «По дну оврага, картавя, бежал ручей»»,— картавя,— подчеркнул Алексей Иванович.

Потом он начал у меня допытываться, как воркуют голуби. Я придумал несколько эпитетов, и все они не удовлетворили Алексея Ивановича.

— У Бунина голуби, молодой человек, воркуют ворчливо-ласково.

Затем мы соревновались, кто лучше опишет закат солнца над Волгой. Я исписал чуть ли не весь блокнот. Прочитал Алексей Иванович и недоволен остался.

— Шаблонно, очень шаблонно. Так написать можно и Волги не видя. Вон смотри,— показал он рукой на противоположный берег, поросший соснами,— облачко. Где оно у тебя?

Там действительно по голубому небу плыло, как паутинка, тонкое продолговатое облачко.

— В том-то и задача писателя,— подчеркнул Алексей Иванович,— что все изменения в природе надо подмечать. Ведь под Москвой она такая, а в Костроме — другая, а в Вологде — третья.

Алексей Иванович долго молчал, что-то вычерчивая на песке, потом сказал:

— На березе и то нет одинаковых листьев. Сегодня они так выглядят, а завтра, смотришь, поиному. Вот так и писать нужно...

Я любил читать в «Правдисте» колосовские «Пестрые заметки», статьи его содруга по газете Ивана Рябова.

Газета берет корреспондента в своего рода тиски, заставляя иной раз «поджаться», а тут, на страницах многотиражки, и Колосов и Рябов чувствовали себя, как мне думается, более свободно и, ломая привычное, устоявшееся, вели живой разговор по душам с товарищами по перу.

В редакции кабинеты двух разъездных корреспондентов — Колосова и Рябова — обычно были рядом, а иногда, при очередной реорганизации, очеркистов-публицистов водворяли в одну комнату. И тогда столы спецкоров стояли в кабинете впритык.

Это было в те дни, когда они проживали вместе в собкоровской комнате. Однажды Рябов положил перед Колосовым большой лист бумаги, на котором рябовской вязью был выведен следующий вопрос к своему товарищу по газетному делу: что является возбудителем в творческом процессе писателя А. И. Колосова?

Алексей Иванович надел очки, не спеша прочел вопрос и, отлично зная рябовскую манеру неожиданного перехода в разговоре на высокий «штиль», и на этот раз не принял всерьез обращенный к нему вопрос Ивана Афанасьевича. Колосов почитал-почитал, даже посмотрел, нет ли чего на оборотной стороне листа, а затем спокойненько выбросил рябовскую бумагу в редакционную корзинку.

Рябов обрушивал на своего собрата, на этого Асмодея, как он в иную минуту сердито называл Колосова,

«пулеметные трассы» своих язвительных насмешек. Но Колосов только отмалчивался. И это еще больше выводило из себя Ивана Рябова.

— Осмелюсь обратить ваше внимание,— вежливо, но твердо сказал Рябов, извлекая скомканный лист из редакционной корзины,— что ответ на сей вопрос ждет общественность, коей я, ваше сельское сиятельство, представителем являюсь...

И скороговоркой пояснил: по поручению местной редакционной газеты, сиречь «Правдиста», он, Рябов И. А., уполномочен проинтервьюировать разъездного корреспондента и поклонника великого писателя земли русской И. А. Бунина — Ал. Колосова, начавшего службу в стенах «Правды» два десятилетия назад.

С этими словами Рябов аккуратно разгладил лист и снова перебросил его на колосовский стол.

— Ну, давай, давай,— улыбаясь, сказал Колосов, поощряя Рябова в его стремлении вести разговор в высоком «штиле» — Иван Афанасьевич, друг мой любезный, товарищ мой по странствиям по весям и градам Среднерусской возвышенности... Вы, который много лет делите со мною кров под этой крышей, неужто вы до сих пор не знаете простой истины, что разъездного корреспондента ноги кормят, немереные версты по земле российской!

Рябов, делая вид, будто не замечает колосовской усмешки, спросил:

— Прошу вас, Алексей Иванович, припомните-ка: какое самое лучшее время в вашей работе?

— Когда пешедралом ходил,— просто и спокойно сказал Колосов.

Рябов требует уточнения:

— Простите, как прикажете вас понять: «когда пешедралом»?

— Натурально, Ваня, натурально,— отвечает Колосов.— Пешедралом! Правда, этому способствовало то, что в российских уездах, не говоря уже о волостях, мало было машин, и никто их нам не предлагал, и мы, расхожие корреспонденты, ножками, ножками топали по полям и долам... Одно это, дорогой Иван Афанасьевич, одно, говорю, это было великолепнейшим возбудителем творческого процесса.

Свою статью о Колосове Рябов начал так:

> В анкете, предложенной 15 лет назад издателями сборника «Как мы пишем» литераторам, между прочим, спрашивалось: что является возбудителем в творческом процессе писателя?
>
> Если бы литератору Алексею Колосову надо было бы отвечать на подобную анкету, он должен был бы указать, что самым сильным возбудителем его творческой энергии является земля. Больше всего любит писать он о земле, опьяняясь ее запахами, очаровываясь ее видениями, подпадая под власть ее красок и цветов.
>
> Алексей Колосов — лирик по своей сущности; многие его вещи воспринимаются мною как лирические миниатюры, как стихотворения в прозе.
>
> Алексей Колосов, как это иногда бывает с лириками, обладает еще одним драгоценным даром. Я говорю о чувстве юмора. Оно в высшей степени присуще Колосову. Он видит в жизни не только трогательное, светлое, милое, хорошее, приятное и умеет рассказывать обо всем этом с мастерством

большого русского писателя, наследовавшего хорошую традицию таких чудесных мастеров русской прозы, как Чехов и Бунин. Колосов видит смешное в жизни, заслуживающее осмеяния юмориста...

Колосов поднимается до сатиры тогда, когда он сталкивается с такими явлениями, как «сухаревка» в душе человека, как мелкособственническое свинство, как казенное равнодушие к живым людям и живому делу. Прохвосты, жулики, бюрократы, самодуры, вельможи с партийными билетами — враги Колосова-сатирика.

У Колосова — чудесный русский язык. Это драгоценный сплав народной речи с литературным словом, сплав совершенно органичный, цельный. Ему, писателю, не нужно подделываться под народную речь, ибо свойственно ему самому знание этой речи... У Колосова — настоящий язык, настоящий словарь. Своим богатством этим он умеет распорядиться тоже по-настоящему.

У него же нам следует учиться и той замечательной жадности до жизни, которая кажется мне характерной и драгоценной чертой человеческого и писательского облика Алексея Колосова. В отличие от многих из нас, он постигает жизнь не по книжкам, статистическим отчетам, статьям и письмам, поступающим в редакцию; он постигает жизнь у самых ее истоков...

Колосов после войны по-прежнему много разъезжал по России — в верховья Волги, на Алтай, в донскую степь. Но писалось Колосову все труднее.

Алексей понимал: ведь есть опасность, и, что греха таить, с годами она становится все более реальной,— опасность примелькаться своими очеркишками и рассказиками, как он насмешливо говорил, а главное — втянуться в привычное и ничему больше не удивляться.

В одну такую минуту смутную я спросил его:

— Что же тебя волнует, Алеша?

— А то волнует...— его светло-синие глаза стали сизыми, сеть бурых морщин резче обозначилась на лице,— что наводим глянец на так называемые факты жизни.

И наш разъездной корреспондент, который отлично видел, не мог не видеть, чем живет, что́ волнует колхозную деревню после войны, как она напрягает все свои силы, чтобы оправиться от ран, от разрухи, должен был порою ломать себя, мучительно искать, за что зацепиться в знакомой деревенской жизни, которая ведь была и его жизнью...

К этому времени относятся и его беседы с костромским литератором Константином Абатуровым, который работал в газете «Северная правда».

В письме ко мне Абатуров так описал свои встречи с Алексеем Колосовым:

> ...Помню дождливую осень 1952 года. Алексей Иванович в ту ненастную осень побывал во многих областях страны на уборке урожая. В начале ноября приехал в Кострому. С поезда прямо в редакцию «Северной правды». Небритый, под глазами мешки, пальто забрызгано грязью, ботинки стоптаны. Поздоровавшись, сел на диван и потихоньку начал рассказывать. Сказал, что из Москвы давно, был

в Калининской, Вологодской, Ярославской областях и вот «завернул» в Кострому.

— Плохо, Константин, в деревне. Урожай мокнет под дождем, гибнет. Серьезных мер к спасению его не принимается. Насмотрелся я на это и заболел. Сердце, понимаешь, не выдержало...

Помолчав, он поднял голову:

— У вас-то как, тоже мокнет?

— И нас не обошла непогода.

— Да, неладно... И едва ли в Москве знают об истинных размерах бедствия. А «самому» (то есть Сталину) кое-кто, наверное, шлет рапорты об успехах.

— Вы напишете в «Правде»?

— Едва ли. Пойду в ЦК и выложу все, что видел. Всю правду выложу. Корреспондент не может молчать, когда видит такие провалы. А почему, думаешь, верх взяли ненастье, стихия? Потому, что о тех, кто должен бороться со стихией, не позаботились как следует. В некоторых колхозах до сих пор не выдали ни килограмма хлеба, ни копейки. Как же могут колхозники работать? Где же тут заинтересованность, о которой в свое время говорил Владимир Ильич?..

Алексей Иванович тяжело переживал положение дел в колхозах нашей, северной зоны.

— Районы здесь обжитые,— говорил он,— тут и деды и прадеды жили хлебопашеством, а вот поди же — урожаи никудышные. Отчего?

И начинал допытываться — куда уходят колхозники с Костромщины, из каких колхозов, сколько там получают на трудодень и т. д.

Не любил он прожектеров. Когда в северных областях начали насаждать кукурузу, Колосов, темнея лицом, с горечью говорил:

— Ведь эта культура на юге хороша, а на севере не пойдет. Здесь ей солнца не хватит. Удивляюсь: почему местные работники молчат? Не поленински это.

— Но ведь это же от центра идет...

— А когда в центре шаблонят, значит, на местах должны молчать? Где же принципиальность? Нет, нет, не по-ленински. Здесь исстари занимались льноводством, лен хорошо родился, тут и текстильные фабрики построены. А между тем площади подо льном сокращаются.

— Для обработки льна много надо людей, а где их взять?

— Не худо позвать тех, кто уехал из деревни. Надо поднимать деревню всеми силами. А так, временной посылкой с фабрик на уборку, дело не решишь. Деревне нужны постоянное внимание и помощь. Надо и нам, писателям-газетчикам, деревенской теме всю жизнь отдать. Стоит она этого, деревня наша... Говорю вроде в назидание молодым, а по сути — себя корю: живое-то в людях!

Иногда на Колосова «находило», и тогда он с какой-то ненавистью смотрел на груды газетных вырезок с рассказами, очерками, заметками, на эти плоды тяжкой газетной работы, которая вяжет человека, забирает все его силы и от которой в душе остается, быть может, одно утешение: а ведь было, право же, было, когда-то ко

времени сказано и сделано вот это, текущее, оперативное, петитом и корпусом набранное на злобу дня!

Таким я однажды увидел Колосова, когда он перебирал папки с вырезками своих телеграфных заметок, очерков и рассказов. Труд нескольких десятилетий. А больше, кажется, ему ничего и не осталось, как ворошить, перекладывать эти вырванные из жизни листочки «От нашего собственного корреспондента».

На широкий, просторный лоб падают поседевшие волосы, Колосов не спеша, привычным движением заводил их на косой пробор.

— А ведь думалось,— со смущенной улыбкой говорил он,— право же, думалось: придет время, засяду за большое и серьезное с полной, как говорится, отдачей. А тут, глядишь, ночью звонок: на посевную, разъездной! И опять пошло, закружило. И вот что удивительно: разъездное-то завлекает, черт его дери! Другой раз едешь на тридцатую в твоей жизни посевную, будто на первую, и волнуешься, и ждешь новых встреч, новых перемен в знакомой до боли деревенской жизни...

В том самом номере многотиражки, в котором Алексей Колосов печатал свои «Пестрые заметки», были приведены старые стихотворные строки Демьяна Бедного, посвященные «Правде»:

Броженье юных сил, надежд моих весна,
Успехи первые, рожденные борьбою,
Все, все, чем жизнь моя досель была красна,
Соединялося с тобою.

И у Колосова все «соединялося» с «Правдой». А началось все с «Алого пути», которого сменил потом «Сызранский коммунар».

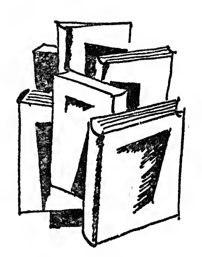
7 ноября 1919 года «Сызранский коммунар» вышел на четырех полосах, напечатанных на тяжелой темно-коричневой бумаге. На третьей странице газеты — «Октябрьские блики» Алексея Колосова. («Весь мир, превращенный в весенний, залитый солнцем, будет считать «началом великого Начала» Октябрь 17 года».)

К. А. Федин, вспоминая, наверное, год девятнадцатый, газету «Сызранский коммунар», которую он редактировал, с волнением писал о бурных днях, когда с жаром отдавались жизни, «полной ломки, новшеств и мечтаний, которые, будучи «уездными» по масштабу, внутренне были огромны, как революция».

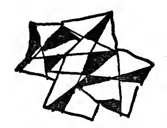
В «Городах и годах» есть у Федина страничка: Андрей Старцов приезжает в революционный Петроград — там, «в вымершем, промозглом, шелушившемся железной шелухой городе, в последний час ночной тьмы, шли двое, взявшись под руку, с песней, которой нет равной. И когда кончилась песня, один сказал:

— Еще один раз родиться, еще один раз, боже мой! Через сто лет. Чтобы увидеть, как люди плачут при одном упоминании об этих годах, чтобы где-нибудь поклониться истлевшему куску знамени, почитать оперативную сводку штаба рабоче-крестьянской Красной Армии! Ведь вот — смотрите! смотрите! — ветер рвет, полощет дождем отлипшую от забора обмазанную тестом газету. А ведь через сто лет кусочек, частичку этого листа человечество в антиминс зашьет, как мощи, как святая святых!.. Через сто лет родиться и вдруг сказать: а я жил тогда, жил в те годы!»

И сотоварищ Федина по Сызрани, по революционной газете, редактор «Алого пути» Алеша Колосов мог бы это сказать: « Я жил тогда, жил в те годы!»



Борис Горбатов, каким я его знал



Вот я весь — больше у меня ничего нет, я все отдал.

Б. Горбатов. «Мое поколение»

Короленко однажды заметил, что реальная личность писателя редко совпадает с тем представлением, какое мы составляем по его произведениям.

«Во время творчества идей, звуков, образов мы становимся несколько выше нашей средней личности... А затем, «когда не требует поэта к священной жертве Аполлон», мы опять спускаемся с этих вершин, которые,— велики они или малы,— все-таки составляют высшие точки нашего личного существования. Иной раз этот обычный уровень очень удален от вершин, и вот почему так часто первое впечатление при встрече с писателем — бывает легкое движение разочарования: нам трудно связать в одно целое наше идеальное представление с реальной личностью».

Но бывает, писал Короленко, правда, редко, но бывает, когда оба эти представления совпадают вполне и нераздельно.

Когда я думаю о Борисе Горбатове, о всей его жизни, я все больше укрепляюсь в своем представлении, кото-

рое складывалось у меня на протяжении многих и многих встреч с ним: реальная личность писателя совпадает с тем обликом, какой возникает при чтении его книг.

Он весь в своих книгах-современниках, сохранивших неповторимый цвет, вкус, запах действительности.

РОДОМ ОН ИЗ ДОНБАССА

С молодым человеком, который написал повесть «Ячейка», я познакомился в Москве в конце двадцатых годов, в Хамовниках, в комсомольском клубе. Он читал в тот вечер стихи — буйные, стремительные строфы.

Я сразу запомнил его: стройный, с густой копной темных волос, серыми блестящими глазами, быстрый в речи, артемовский хлопец. Он писал в то время стихи, и, что особенно поразило меня, были они какие-то «разбойные».

Конь да пика...
Гикнул дико —
Пику в руки,
И даешь!

Это был Борис Горбатов, комсомолец из Донбасса.

Он ходил в высоких сапогах, носил рубашку из белого полотна, с украинским узором по вороту, во всей его ладной фигуре было что-то бодрое, размашистое, энергичное. Он писал их, мятежные стихи свои, на чердаке дома в Краматорской: там Горбатов, ученик строгальщика, жил с заводскими ребятами одной артелью — «коммуной номер раз», как он, бывало, с веселой

усмешкой говорил. В стихах восторженно воспевались мир, завод, ветер, солнце — все то, что юноша видел из своего чердачного окошка.

Глядя на него, здорового, крепкого, добродушного, невольно думалось: этот, кажется, все сможет! И стихи писать, и маршрут проложить на карте, и в разведку пойти, и грузы таскать через горные реки, — все!

Я вижу его таким: молодой, с раскосыми глазами, он неутомимо шагает в сапогах из белушьей кожи, шагает, вскинув на спину походный мешок, по тундре, по путям-дорогам, фронтовым и мирным, шагает без устали и поет — горланит сложенную им когда-то на Севере песенку: «Где ты, где, заветная? Э-эх!»

Но почему-то больше всего я связываю с ним одну картину — плотогоны на Куре. Он очень любил эти свои строки о Куре: мутная, всклокоченная горная река быстро проносится мимо берегов; ей некогда, она работает — несет плоты; навалившись на длинные шесты, широко расставив ноги, стоят на бревнах плотовщики, мокрые с головы до ног. И старик стоит у правúла, он бос, шаровары раздуваются на бедрах, как парус на ветру. Гауптхильды — Берегись! («Он свое дело знал. Все люди вокруг меня знали свое дело».)

И Борис Горбатов, служивший там, на Кавказе, в Ахалцыхе, и навсегда запомнивший отчаянных плотогонов, потом всю жизнь подставлял лицо свое ветрам далеких странствий, ветрам суровой жизни, которой жил он, писатель, и все его свéрстники, люди одного с ним поколения.

И еще. Когда я думаю о Горбатове, перед глазами моими оживает один его рассказ — «Алексей Куликов, боец». Оживают первые, начальные строки, которые я

для себя складываю чуть по-иному, чем это звучит в рассказе: «А зовут его Борис Горбатов, и родом он из Донбасса, тут его знают все...»

Я открываю наугад любую страницу его книг и в каждой строке вижу его самого, вижу его улыбку, его близорукие, с узким разрезом глаза, всегда чем-то встревоженные и всегда жадно вглядывающиеся в мир.

(«Я никогда не был беспартийным. С детства я привык быть в организациии. Я привык к суровой и требовательной дисциплине коллектива, к шумным собраниям и молчаливой дружбе, к локтям товарищей... Я не умею иначе жить».)

Сколько же ему было лет, писателю Горбатову, когда он написал эти пламенные, от сердца идущие слова? Кажется, двадцать три года, — ну да, он ведь родился в 1908 году. Двадцать три года — заря жизни, как он, бывало, любил говорить.

В 1922 году в редакцию «Всероссийской кочегарки» в городе Артемовске пришел юноша, почти подросток, со своим первым рассказом.

Работать, писать Горбатов начал рано. Сохранилась старая фотография: коллектив «Кочегарки». В последнем ряду, с краю, стоит крепкий хлопчик из отдела рабочей жизни. Кожаная куртка, огромная кепка, сдвинутая на затылок, — весь он, как говорят в Донбассе, «вэсэлый», «бойовый», «запальный».

И тут я должен рассказать о своей первой деловой встрече с Горбатовым.

В начале лета двадцать восьмого года редакция «Комсомольской правды» проводила вседонецкий слет юнкоров. Я получил задание организовать страницу о

комсомольцах Артемовска. Там, в Артемовске, я с ним и встретился.

Борис Горбатов влюблен был в родной свой город.

Он, бывало, так давал свой адрес: «Артемовск — лучший город во всем мире,— Харьковская, 81, бахмутскому патриоту Борису Горбатову».

Когда-то, в начальные годы революции, Бахмут гремел на всю страну, давал кадры в окрестные ревкомы и на весь Донецкий край, отсюда пошла газета «Всероссийская кочегарка», потом городу этому дали новое, прекрасное имя большевика Артема, и он зажил шумной жизнью — город Артемовск, один из окружных центров Донецкого бассейна.

И вот я в «лучшем городе во всем мире», и водит меня по пыльным улицам окружного центра комсомольский писатель Горбатов, которого, кажется, весь Артемовск знает. Он шагает быстро, стремительно, то и дело поправляя сползающую с плеч кожанку...

Я выложил ему задание редакции и прямо сказал:

— Мне нужна твоя помощь!

Горбатов подумал, потом с какой-то юношеской порывистостью бросил:

— Чудо́во! Будем, будем работать!

И с этой минуты мы уже не расставались.

Он повел меня в «Кочегарку», в редакцию той самой газеты, в которой он начал работать с юных лет; здесь стоял его стол — «три целые ножки, под четвертую кирпич подкладывается».

Горбатов любил читать и комментировать вслух репортаж в газете — «Артемовск за день». В этом отделе самым интересным для него тогда было: «Спрос на рабочую силу». Слушайте, люди! Биржа труда извещает

безработных, состоящих на учете, что сегодня требуются:

1 судомойка,

1 продавец-посудник,

1 радиотехник,

4 каменщика...

— Ого, каменщики нужны! Строим, строим, товарищи!

В артемовских кинотеатрах шли в те дни картины: «В паутине», «Всадник из пампасов», «Яд» («по сочинению и сценарию наркома просвещения А. Луначарского»).

Мы спустились в соляные копи, и там, под высокими белоснежными сводами, он читал стихи — свои и Блока; в Горловке, на шахте «Кочегарка», Горбатов, чуть играя, с истинным шахтерским проворством повел нас по лаве с круто падающими пластами. О чем мы тогда беседовали? О том, что видели в соляных и угольных шахтах, и в цехах заводов, и в ячейках комсомольских, и о том, как поднимается крутая волна самокритики в рабочих коллективах, и о том, что творится за пределами Донбасса, на просторах нашей страны и на всем земном шаре...

Своими ищущими, жаркими глазами молодой писатель пристально всматривался в артемовскую жизнь, стремился проникнуть в глубины этой жизни. Горбатову страстно хотелось понять, каким образом в городе, окруженном рудниками и соляными копями, вдруг стало оживать старое, уездное, бахмутское, то, что вошло в историю края — и не только края — под названием «Артемовское дело». Партия со всей остротой обнажила суть дела: это плохая связь местных организаций с мас-

сами, слабая борьба с недостатками в советском и хозяйственном аппарате, оторванность некоторых руководителей от трудящихся масс.

Борис Горбатов уже жил своим романом, который он начал обдумывать и писать по живым следам артемовских событий. Он мучительно раздумывал о сложных явлениях артемовской действительности, о светлых и трудных сторонах всей нашей жизни и о том, как же ему, молодому писателю, все это выразить в будущей книге. Он задумал роман «Нашгород».

В том же двадцать восьмом всю страну облетело: в Шахтинском районе некоторые старые специалисты, связанные со своими зарубежными хозяевами, наносили вред в угольной промышленности, всячески тормозили наращивание добычи, срывали механизацию, замедляли темпы проходки новых стволов, новых горизонтов. В газете того времени их так и называли «шахтинцами».

Горбатов рассказывал мне в те дни о Бубнове и Ярославском — они приезжали по заданию ЦК партии в Артемовск. Емельян Ярославский выступал на собрании актива Щербиновских рудников, и Горбатов весь еще жил его речью — надо, надо пробудить хозяйское чувство каждого рабочего! И особенно ему запомнилось: на фронте, бывало, говорил Ярославский, надо идти в атаку, на верную смерть — и шли, не думали, как я пойду, когда меня ждет смерть; а здесь, — Емельян Ярославский рукою показал за окно, на копры шахт, — здесь нас ждет жизнь! Надо только смелее взяться за дело, чтобы каждый, кто подумает сделать плохое пролетарскому государству, чтобы он знал, что тысячи пристальных и понимающих глаз смотрят за ним. Надо

защищать интересы рабочих силами рабочей массы, бороться со злом организованным участием масс. Надо вовлечь во всю нашу работу тех специалистов, которые в массе своей верят в строительство социалистического государства.

И со страниц родной Горбатову «Кочегарки» Емельян Ярославский обратился к рабочим края: пишите в Центральный Комитет партии, пишите представителю ЦК, приехавшему к вам, пишите свои предложения, помогайте искоренять недостатки, ибо путь преодоления трудностей у нас один — участие самих рабочих масс в социалистическом строительстве.

«Пусть, не стесняясь формы, каждый рабочий и каждая работница, как умеет, выскажет свое мнение и свое предложение по этому поводу». Так писал Емельян Ярославский на первой полосе «Кочегарки». И в конце письма дал свой адрес: «Артемовск. Вокзал. Вагон № 22—23». И еще один адрес: «Редакция «Кочегарки».

Может быть, думаю я теперь, может, именно тогда, в двадцать восьмом, Горбатов на руднике в Щербиновке и услышал и запомнил эти гулкие, горячие слова, которыми он закончил роман «Нашгород»: «Требуем честных рабочих рук!»

Мы в те дни исколесили с корреспондентом «Кочегарки» его родной край, вышагивали от рудника к руднику, от поселка к поселку, шли зеленой посадкой. Ночью мы забирались на открытую платформу товарного поезда, смотрели на звезды, пели комсомольские песни; ступеньку, на которой мы сидели, прижавшись друг к другу, раскачивало всю дорогу, и поезд плыл и плыл по донецкой степи...

Своими наблюдениями и раздумьями Горбатов щедро поделился со мной, когда я начал писать очерк об артемовских комсомольцах. Он, собственно, и дал мне «ключик» к главной теме газетной полосы в «Комсомольской правде».

Потом мы засели вместе с юнкорами, вместе с огневыми хлопцами с шахт, заводов и соляных копей писать письмо Серго Орджоникидзе.

«Мы спрашиваем Вас, товарищ Орджоникидзе,— говорилось в том письме, — надо ли отправлять на курорты тех людей, которые запятнали себя в «артемовском деле»... Далее приводился список укативших на курорты героев «артемовского дела».

«Скажите, товарищ Орджоникидзе, разве мы настолько богаты, чтобы позволить себе такую ненужную роскошь?»

И «шапку» для артемовской полосы мы дали такую:

ПОДЫМЕМ ЯРОСТЬ РАБОЧИХ МАСС ПРОТИВ БЮРОКРАТОВ, ЧИНОВНИКОВ, ПОДХАЛИМОВ И КАРЬЕРИСТОВ.

От той поездки в Донбасс мне крепко запомнился Горбатов, корреспондент и писатель из артемовской «Кочегарки».

В этом на первый взгляд беззаботном и даже бесшабашном молодом человеке, души которого с юных лет коснулась обжигающая сила газетного листа, шла глубокая внутренняя работа. Он словно раздумывал, куда направить свои силы, свою бьющую ключом энергию, в чем искать себя? Это был процесс духовного формирования личности — личности ищущей, задумывающейся о своем будущем и, само собой разумеется, о будущем своего поколения.

Его молодое воображение создало в ту пору три жизненных кольца: работа, жизнь, любовь. Какое счастье, когда они, эти кольца, крепко схвачены одно с другим, одно с другим!

«ДОЙДУ!»

Он служил красноармейцем на турецкой границе во 2-м Кавказском горнострелковом полку, сдал экзамен на командира взвода.

Все то, что поначалу казалось курсанту солдатской лямкой, постепенно вырисовывалось в ином свете. «А ведь это поэзия, если вдуматься!»

Живые и цепкие глаза курсанта все схватывали, все запоминали: и то, как дымились рубахи уставших в горном походе бойцов, и мрачную зубчатую цепь Аджарского хребта, и походные палатки, «припадающие крыльями к земле, как распластанные птицы»... Позже, работая над последним своим романом «Донбасс», он вспомнит этот горный поход, холодную воду — «цивицхали», вспомнит, как из спутанной чащи листвы вырывается, словно шашка из ножен, блестящий стремительный родник; вспомнит, как припадали к нему горячими, пересохшими губами красные бойцы.

Походная типография всегда была с ним, с редактором полковой многотиражки. Он возил с собою привязанный к седлу мешок — в нем находилась вся типография: валик, губка, пачка бумаги, чернила, ручка и перья... В «Горном походе», который молодой писатель написал по горячим следам военной службы, напечатана фотография: где-то в ущелье, среди кустов, раски-

нулась походная редакция, вот и сам редактор — загорелый курсант в солдатской полотняной фуражке; на коленях у него блокнот, он правит заметки военкоров.

Есть в этой книжке предельно сжатое описание похода в горах — тот трудный час, когда солдатская скатка становится душной петлей.

(«Именно в такой момент отстают слабые, — пишет Горбатов. — Но сильные духом только напруживаются, собирают все силы, стискивают зубы, решают: «Дойду!» И, решив так, им сразу становится легче, вся тяжесть снаряжения срастается с человеком, — уже не чувствует он порознь всех ремней и лямок, все привычно лежит на теле. Вытрет пот, передохнет и пойдет бодро вперед. И уж не отстанет».)

Вот это упрямое и короткое «дойду!» характеризует самого Горбатова.

Один год жизни в армии, год военной службы, а сколько он дал молодому бойцу, курсанту полковой школы!

ГОДЫ ВЕЛИКОГО СЕВА

Начинались тридцатые годы. Горбатов называл их: годы Великой Стройки, Великого Сева.

Я как-то «поднимал» корреспондентскую карту Горбатова на страницах «Правды». Донбасс, Бодайбо, Урал, Диксон, Командоры...

Спецкор «Правды» был близорук, носил очки, которые часто сползали у него на кончик носа, и всегда имел в запасе резервную пару очков. Но писательское зрение у него было зоркое, хорошо поставленное.

Могучий хлопец в густой шапке волос, в косоворотке и в высоких, до блеска надраенных сапогах, он мог в любую минуту сняться и уехать за тридевять земель с мандатом «Правды». Он подходил к карте страны, висевшей в нашей собкоровской комнате, подолгу с острым интересом разглядывал ее («Большое любопытство мучает меня...»).

Маршруты его командировок протянулись по всей стране — с юга на север, с запада на восток.

Он любил эти вскипающие слова: «Жажда», «Ветер», «Буря» («И опять я услышал, как зашумели в моих ушах ветры далеких странствий»).

На самом верху карты СССР цветным карандашом крупными буквами было выписано из Шекспира: «Скорей, скорей! На шее паруса сидит уж ветер».

Однажды, помнится, вошел редактор, глянул: «На шее паруса»... — и сердито дернул плечом. Нравы были строгие, пришлось Горбатову убрать шекспировский «лозунг». В романе «Мое поколение» эпиграф остался: «Скорей, скорей!..»

В нем, если можно так сказать, горела неистовая корреспондентская жажда: надо все увидеть!

Он очень любил свое писательское дело — трудное, сложное, увлекательное. Какое это огромное счастье — найти точное, нужное слово, сложить «крепкую, нешатающуюся, словно литую строку».

Он постоянно находился в боевой корреспондентской готовности. Это как у летчиков — готовность номер один. У нашего специального корреспондента были приметливые глаза: он все замечал, накапливал, прятал в свою копилку. Когда-нибудь пригодится!

Специальный корреспондент! Это значит: в один

прекрасный день, а чаще всего ночной газетной порой редактор подведет его к карте СССР и, найдя на ней нужную точку, коротко бросит: «Магнитка!»

«Любопытно», — скороговоркой произносил Горбатов, слегка посмеиваясь и волнуясь.

Редактору не приходилось уговаривать своего спецкора.

Горбатов — летел. На Магнитку. В Донбасс. На золотые прииски. В Арктику. В Кузбасс.

Какая жажда видеть, посмотреть своими глазами — ведь это так нужно знать моему поколению, моему народу. И едет — летит — на Урал. «Я помню первый дымок над первой домной Магнитки»,— потом на Днепрострой, затем опять на Урал, в Соликамск, потом — далеко на Север, на золотые прииски...

Он должен был увидеть в Макеевке, своими глазами увидеть гигантский бак в конвое стрел. Как тускло поблескивают заклепки на баке! Запомнить, записать: «Некоторые заклепки были обведены мелом, около них написано на железном листе: «Срезать», или «Зачеканить», или «Заварить». И тогда вдруг приходило неожиданное сравнение: «Похоже было на корректурный лист».

Нужно было присмотреться к монтажнику Мельникову, железному прорабу, — о нем уже тогда ходили легенды, они передавались со стройки на стройку. («В метели, в ветра он один решался лазить по раскачивающимся мачтам. Рассказывают, что он был когда-то моряком. Огромный седеющий человек с голубыми глазами. У него была хорошая глотка. Казалось, такого никакая сила не свалит».)

Как удивительно совпал донецкий портрет Мельни-

кова, созданный рукой Горбатова, с тем живым человеком, которого я позже, в тридцать первом, встретил на стройке Харьковского Тракторного. Я его сразу узнал, прораба Мельникова. Седой, широкоплечий гигант с красным, обветренным лицом, сорванный от постоянной работы на воздухе, с густой хрипотцой голос. И вздыбленная ветром копна седых волос, и широкое, румяное, обожженное морозами лицо, и маленькие, с веселым прищуром, зоркие глаза, и вся его могучая и ладная фигура монтажника крепко стояла на земле. Поистине Железный прораб!

На Магнитке Горбатов писал оперативные корреспонденции, срочно гнал их по телеграфу в Москву, организовал рабкоровские рейды, проталкивал нужные стройке составы с грузами, выпускал листовки-«молнии», открыл корпункт в бараке, в котором жил, допоздна беседовал с народом и в то же время ухитрялся писать («16 душ в одной комнате!») роман «Мое поколение».

Он по-мальчишески радовался: «Знаешь, многие даже и не подозревают, что я корреспондент... Открою тебе маленький секрет: я никогда не тычу в глаза человеку блокнот и карандаш».

Я могу засвидетельствовать: в Горбатове не было той подчас ужасной въедливости, столь присущей нашему брату газетчику, когда мы беседуем с «объектом наблюдения». Только иногда на внутренней стороне папиросной коробки Горбатов делал для себя пометку. И эти записи — порой всего два-три слова — способны были мгновенно подтолкнуть его удивительную память.

Старый Бажов, с которым Горбатов дружил на Урале, отмечал в своих записках: как часто у людей, с кото-

рыми встречается корреспондент, вдруг возникает состояние «подтянутости» — как при фотографировании. «Людей иной раз и просят: «Держитесь свободнее, естественней», — но каждый тем не менее помнит, что его «снимают», и старается «показаться лучше».

С Горбатовым людям было легко,— может быть, это происходило еще и потому, что он очень часто работал с теми, о ком писал.

Куда бы ни занесла его писательская, корреспондентская судьба, всюду Горбатов находил общих знакомых, друзей. Он с каким-то радостным удивлением оглядывал страну — от моря и до моря, представлял себе родной мир одним дружным землячеством или, как он однажды сказал, артелью настоящих ребят. Все они, эти ребята, знакомы ему, всем им он — земляк!

Поразительно, с какой щедростью он отдавал своим героям, каждому из них, какую-то частицу своей жизни. Ему хотелось все в жизни охватить, подбросить на горячих ладонях, переставить с места на место. Делать! И делать как можно лучше и в темпе бурного времени.

Он любил неожиданные встречи на шумных улицах Москвы. И как вкусно описывал это в своих книгах. Ведь правда, как хорошо это: вдруг встретишь земляка — на бегу, на перекрестке улиц!

(« — Как живешь? Где? Что делаешь?

— Рою канал. Волгу в Москву пускаю.

— Ну?! Получается?

Он улыбнулся мне. Потом рассказывает, в чем трудности их работы, вытащит карандаш и на палевой афишке Московской консерватории начертит схемку».)

Один из дней Первого съезда советских писателей остался в моей памяти связанным с Борисом Горбатовым.

Сразу же после вечернего заседания мы большой ватагой отправились бродить по Москве. Вышли на Красную площадь, покружили по ней, потом спустились к Москве-реке.

Горбатов затеял веселую игру, которую он сам же назвал «с берега на берег». Начали мы с Краснохолмского моста. Мы шагали вдоль реки и, дойдя до Устьинского моста, перебрались на противоположный берег, и так шли от моста к мосту, взбирались на холмы, потом снова спускались к самой реке; бродили почти всю ночь, не спеша, с песнями, с веселыми рассказами и яростными спорами, с берега на берег — до самых Воробьевых гор.

Иногда мы присаживались на серые камни, которыми были в те времена выложены берега Москвы-реки,— тогда ее только еще начинали одевать в гранит.

Горбатов весь насыщен был бурлящей энергией. Он недавно выпустил в свет роман «Мое поколение», нацеливался на новую работу, — одним словом, был молод и дерзок и не боялся признать: сейчас, братцы, я владею еще только драчовым напильником. А до бархатного напильника еще далеко («До того бархатного напильника, каким шлифуют свои слова мастера...»).

Жаркие споры, которые велись на самом съезде, как бы продолжались в эту летнюю московскую ночь. Горбатов настроен был воинственно. Доклад Горького придал ему смелости. Надо думать о главном. О человеке

труда. Об этом на съезде мало говорят. Где пролетариат в наших книгах? Он намеревался выступить в прениях и набросал сжатый конспект речи.

Главный тезис горбатовских раздумий: моя мечта — написать настоящую книгу о рабочем.

> («Труд? У писателей-гурманов — это некрасивое, грязное занятие рабов. У писателей-натуралистов — это ад, и так оно было в действительности.
>
> Но где у нас в советской литературе человек, который трудится? Главный герой нашего времени, строитель? У нас немало произведений о строителях, но в них герои больше разговаривают, спорят, заседают, любят, чем трудятся...
>
> А хочется любовно, интимно, как свой своего, показать рабочего человека, раскрыть его мечту, его душу, его перспективы».)

Он не мог ни о чем другом думать, он жил только этой своей главной темой. («Я говорю это потому, что это кровно, лично волнует меня... Дело в том, что появилось новое поколение писателей, не похожее на все предыдущие поколения. Многие темы старой литературы зачеркнуты для него. Жажда приобретательства? Женщина, как раба семьи? Борьба за наследство? Поэзия безделия? Горькая любовь к бесприданнице? Лисья шуба и любовь? Собственность?»)

Сама жизнь ломала старые темы. Новое поколение писателей пробивало дорогу новой действительности в книгах. Другой действительности, с полным правом говорил Горбатов, мы просто не знаем. («Та, которой

мы живем, — наша. Мы пришли в нее деятелями, работниками, как работники, взяли перо в руки и почувствовали его тяжесть».)

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

Кажется, ни один писатель в те годы не находился столько в воздухе, не имел на своем счету столько летных часов, сколько он, Борис Горбатов, «наш специальный корреспондент».

Ему казалось — и в этом он признавался своим друзьям, — где бы ни побывал, но самого интересного еще не видел. А оно — впереди. И он тревожился, как бы не упустить «самое интересное».

Намечался полет в Арктику полярного летчика В. С. Молокова. Горбатов немедленно завязал с Василием Сергеевичем знакомство, потом они крепко сдружились — суровый, молчаливый Молоков и добродушный, грузноватый Горбатов.

Редакция должна была сказать своему корреспонденту: добро! Заседала редколлегия «Правды»: среди других вопросов решался и этот — о командировке спецкора писателя Б. Л. Горбатова в Арктику. Горбатов разволновался: много претендентов! Он топтался в приемной редактора, курил папиросу за папиросой, и азартно и хрипло доказывал каждому, кто только имел желание его выслушать:

— Здоровье тоже, знаете, играет роль... Что ни говори — Арктика! А у меня оно преотличное. Между прочим, Молоков меня смотрел — остался доволен...

И скороговоркой перечислял «плюсы Горбатова»: о,

как он вынослив! Заметьте: не придает ровно никакого значения удобствам в жизни. Может в полете заменить летнаба. К тому же по натуре своей оптимист. Ну, и, конечно, перо! Оперативное, безотказное!

Распахнулась темно-вишневая дверь редакторского кабинета. На пороге появился тонкий, изящный Михаил Кольцов.

Горбатов кинулся к нему:

— Что? Что, Михаил Ефимыч?

— Где унты?— закричал Кольцов, окидывая Горбатова веселым, ироническим взглядом. — Где северное сиянье в глазах?

«Добро́» было получено — Горбатов вскоре улетел в Арктику, на Диксон.

Седой Молоков, старый полярный летчик (в составе экипажа которого находился спецкор «Правды»), поначалу даже удивлялся, пожимая плечами: «Куда несет парня! Нам, летчикам, сам бог полярный велел висеть в небе, трястись от зимовки к зимовке... Ну, а ему-то зачем?.. Чудак человек! И грузы таскает, и лед скалывает, и с диспетчерами ругается — погоду вырывает. А погода в Арктике подчас такая, что слово на лету замерзает. А этот, очкастый, медвежеватый корреспондент, вдобавок ко всем трудам еще пишет в «Правду», информацией ее снабжает».

Был такой случай — Молоков смеется, рассказывая:

— Надо заметить, что Борис Горбатов был чуть-чуть неповоротлив... Залез он как-то на плоскость машины, ну, неловко повернулся и свалился в воду. Представьте себе — Горбатов в воде и оттуда кричит нам: «Товарищи, я не боюсь холодной воды, но я боюсь простудиться. А мне сегодня надо дать в «Правду»

информейшен...» Ну, Побежимов бросил ему веревку и ехидно спросил: «А сколько, Боря, строк?» — «Двести слов!» — заорал Горбатов. Мы его вытащили, растерли спиртом, и он сразу же засел за работу и сумел передать свои двести арктических слов в «Правду»...

Карандашом товарищ работал,— добавил Молоков, словно удивлялся, сколько полезного можно сделать таким немудрящим инструментом.

Горбатов показывал свои информации летчику, хмуро отводя глаза в сторону, он протягивал командиру самолета свое творение — двести или триста «арктических слов». Молоков медленно читал, кивал головой:

— Точно. Все, Боря, точно.

— А как пейзаж? — интересовался Горбатов.— Краски верные?

Василий Сергеевич обычно отвечал, улыбаясь своей милой, застенчивой улыбкой:

— Борис! Мой пейзаж такой — есть видимость или нет видимости. День летный или нелетный...

Горбатов считал: главное в Арктике — это иметь хорошие отношения с радистами. Связь — это вещь! И бодрым надо быть, и веселым, и нервы держать в узде.

Однажды на острове Врангеля по случаю какого-то праздника на зимовке состоялся банкет. Горбатов боялся подойти к уставленному роскошными яствами и добрым питьем столу — надо было работать, надо было сегодня же в номер дать корреспонденцию. О, какая же это была мука-мученическая для человека, любившего плотно поесть и хорошо выпить! Но — в номер! В номер «Правды»! Он не отходил от радиста ни на шаг, боялся: напьется товарищ — и некому будет передавать

материал. Горбатов убеждал его: «Валя, дорогой, не пейте. Завтра утром выпьем вместе». И радист отважно крепился. Горбатов сел рядом с радистом в рубке, и с рукописи, с листков блокнота, исписанных бисерным почерком, очерк пошел в эфир. Горбатов проталкивал, пробивал ему дорогу от одной рации к другой, провожал, как он выразился, свою корреспонденцию вплоть до Ленинградского шоссе, до редакции «Правды»...

Север увлек писателя.

«Обыкновенная Арктика» — это результат трудной работы: полетов с Молоковым, зимовки на Диксоне («Зимовал около года, о чем ни разу не пожалел. Полюбил Арктику»).

А на Диксоне он остался потому, что на соседней зимовке тяжело заболел человек, которого надо было срочно вывезти на материк. Встал вопрос: как быть с Горбатовым? И Горбатов незамедлительно сказал: «Остаюсь. Добровольно остаюсь».

Он отлично нес тяжелую трудовую вахту. Делал все, что требовалось от зимовщика. И плюс к обычному, трудовому, делал еще и свое писательское дело: учился понимать Арктику.

Передо мною записи Горбатова, сделанные им на Диксоне.

Дневник, который писатель вел для себя, дает возможность ощутить строй мыслей Горбатова, понять его натуру. Он записывает, как рождается солнце в Карском море. Какое бывает небо над тундрой. Все это поражает, и все это надо запомнить. Запомнить низкое, темно-сизое, «водяное небо» и воду, которую добывают пилой из снеговой глыбы... («Самая вкусная вода — из снега».) Он записывает пейзажи, как бы вбирая всем существом

своим краски Арктики. Вот — небо: («Оно, во-первых, многоцветно. Над тундрой оно светлое: белое, летучее небо. Чуть кремовые плавающие облака. Чуть голубоватые дали. Графически-черные, карандашом рисованные домики на снегу. Небо над морем — седое, темное, подпаленное багрянцем заката. Но и на нем два-три летучих облачка. Они светлые, цвета голубиного крыла, чуть сизые, на них отблески зари. Багряное небо на востоке. Солнце — огромное (1 ч. ночи!). Затеняя его, проходят низко-низко косматые багровые тени облаков. Они идут быстрой дружной волнующейся грядой, багряные, косматые, как дымы над плавкой заводскою»).

РАЗГОВОР В КОРПУНКТЕ

Была осень — осень тридцать пятого года. Для Горбатова эти дни были особенные: он только недавно прилетел на Большую землю, его все радовало, все на материке ему было внове. Он появился в редакции в унтах и кухлянке и, мягко ступая в диковинной обуви, прошелся, по-медвежьи переваливаясь, по длинным коридорам большого нашего газетного дома. Так ему хотелось удивить нас, жителей обыкновенной земли, и самому еще словно пожить, пусть в унтах и кухлянке, в той Арктике, которую он позже назвал «Обыкновенной».

Румяный, круглолицый, увы, стремительно лысеющий, он расхаживал в своих изрядно поношенных унтах по длинным коридорам редакции, а за ним тянулся хвост корреспондентов, линотипистов, корректоров — всем хотелось узнать подробности арктической жизни.

От него хорошо пахло — мехом, снегом, тундрой, оленями.

Эти первые дни после прилета в Москву он ходил веселый, словно опьянел от счастья, оттого, что вот топает ногами по Большой земле, по которой так истосковался. Тогда же, помню, зашел у нас в «корпункте», просторной редакционной комнате, разговор о том, что надо, чтобы быть настоящим корреспондентом, а еще больше — настоящим писателем (мы все мечтали быть писателями!). И голос Горбатова загремел на весь корпункт:

— Все, дети мои, надо уметь, все испытать самому...

— И любить?

Его узкие, продолговатые глаза лукаво сощурились.

— Да-да, и любить, и тосковать, и по двадцать раз на день заходить в радиорубку, и спрашивать, и волноваться: «Ходов, друг мой, нет ли мне доброй весточки с Большой земли?»

— И водить паровозы? — с усмешкой спросил один из спецкоров.

Горбатов резко повернулся к нему лицом и уже без обычного своего добродушия, холодно и твердо сказал:

— Да-да, водить паровозы! И электровозы! И отбойным молотком уметь работать!

Было время, когда он твердо считал: каждый уважающий себя корреспондент должен научиться водить самолет или быть по крайней мере летнабом.

Надо все уметь или хотя бы стремиться знать в жизни как можно больше.

И это не было красивой фразой: не только его герои, но ему, именно ему, спецкору и писателю Горбатову, страстно хотелось испытать в жизни все то, что прихо-

дится на долю сильных, мужественных людей — людей, делающих жизнь.

Он, мне кажется, был счастлив, что вот и ему довелось испытать в жизни такое нелегкое и, честно говоря, страшное — заблудиться в тундре. Рассказывал он об этом «арктическом эпизоде» очень весело, по обычаю подшучивая над своей близорукостью, неповоротливостью и над страхом, внезапно охватившим его.

В диксоновском дневнике есть об этом что-то около странички. («Я промерз в своей кожанке. Сапоги, попав в воду, промокли... Пурга несусветная. Я не видел еще такой здесь. Светаков вывел меня на дорогу — тракторный след — и сказал: иди по ней. Я пошел. Прошел немного — уже не видно ни конуса, ни дороги, ничего впереди, и ничего сзади, и ничего с боков. Пурга. Муть. Свистопляска какая-то. Тракторный след заносило снегом. Он стал прозрачным, этот след. Вот его уже не видно. Вот исчез совсем. Я не рискнул идти дальше. Убедившись, что тракт[орный] след исчез, я решил вернуться назад. Повернул — теперь идти против ветра... Кругом метет. Никогда не чувствовал себя так потерянно. Я представил себе: моя черная фигура в белой мути — и все. Главное — сейчас не начать кружить. Закружишься — все потеряно... Можно в мути пройти Диксон и бухтой уйти бог знает куда. Зимой здесь часто блуждали. Решил, что самое верное — ветер. Повернул против ветра и пошел. Скоро увидел смутный призрак домика. Обрадовался. Как хорош пейзаж домика (хибарка, жалкая и прекрасная, потому что люди) в этой мути».)

Он действительно хотел все знать, или, как в те времена говорилось, «все прощупать своими руками».

Научиться у каюра вести упряжку; узнать вкус снеговой воды, которую ты сам пилою напилил из снеговых глыб; присмотреться к работе горнового и в один прекрасный день стать у печи и самому искусно пробить летку, давая дорогу ослепительной реке чугуна; уметь читать карту, уметь вести взвод в разведку и конечно же уметь работать в забое. Этому, работе в забое, он научился на одной шахте, где прожил несколько недель как молодой практикант. Над ним, правда, посмеивались, посмеивались беззлобно, добродушно над этим толстоватым практикантом-очкариком. Но отбойный молоток ему доверили.

И он работал в забое, упираясь ногами в стойки крепи, он чувствовал тяжесть отбойного молотка и при свете лампы старался, как этому его учил старый, опытный забойщик, попасть в струю, в самое сердце пласта. Потом он поднимался в клети со своими товарищами по забою, в ноздри набилась угольная пыль, глаза были залиты черным потом, руки и плечи страшно устали, но лицо у него было счастливое. Теперь само слово «до́быча» для него уже звучало по-иному — было родным и теплым и напоенным жарким трудом.

В августе тридцать пятого до Москвы дошел слух, что в Кадиевке, на участке «Никанор-Восток», творится невиданное — там умело разделили труд, дали простор забойщику Алексею Стаханову.

Серго Орджоникидзе позвонил в «Правду»: надо, товарищи, присмотреться!

Горбатов в сентябре вернулся с Диксона. Он не стал долго отдыхать и немедля выехал в Донбасс. Нет, не выехал — полетел.

Он должен был рассказать всей стране, что же

там произошло, на шахте в Ирмино, на пласте «Никанор».

На газетный лист «Правды» как бы лег отсвет одной звездной ночи: следом за шахтером-забойщиком, который крушил глыбу угля, следом за крепильщиками, которые ставили крепь, следом за ними двигался специальный корреспондент «Правды».

А в завершающих строках деловой своей корреспонденции, переданной по телеграфу, Горбатов вдруг не выдержал и сказал читателю о своей радости: друзья мои, все то, что я вам рассказываю, имеет для меня особую прелесть, ведь это же все произошло на моей родной земле, на той земле, где я родился, вырос, где прошло мое детство. («Я не могу спокойно писать об Ирмино. Здесь, в километре от Центральной, я родился. Вот он — домишко с железной заплатанной крышей. Вот соседская изба под очеретом. Ребята, с которыми я когда-то рыл шахты в песке, стали теперь шахтерами, инженерами, парторгами, мастерами угля...»)

«НЕ ЛАДОНЬ, А ГРАНКА!»

Все то, что «схватывалось», улавливалось Горбатовым в жизни, прочно оседало в закромах его памяти; потом, в процессе работы, отсеивалось и отбиралось только самое нужное, прошедшее «испытание воображением».

Вот эта долгая, трудоемкая шлифовка слова достигалась у Горбатова благодаря общению с людьми самых разнообразных профессий — с забойщиками, проходчиками, монтажниками, каюрами, радистами, летчиками,

бойцами... Он как-то сказал о полярном летчике, с которым летал в Америку и к которому проникся глубочайшим уважением: «У Молокова я учился выдержке и мужеству». Он учился у командира полка Федюнина на финском фронте в сороковом году; учился у старого обер-мастера Коробова из Донбасса; учился у плотовщиков на горных реках — с ними он спускал лес по Куре; учился у забойщика Василькова на крутых пластах «Никанор-Востока»...

Горбатова глубоко занимала проблема, которую он в одном очерке назвал воспитанием характера.

Вспоминаю одну совместную с ним работу.

Осенью тридцать шестого Горбатов получил задание — написать для «Правды» очерк о заводской молодежи; он подбил меня писать вместе. Мы поехали на завод имени Орджоникидзе. Комсомольский комитет занимал небольшую комнату. Горбатов открыл дверь, остановился на пороге и спросил шумно галдевших ребят:

— Что нового в этом мире?

Когда наш очерк, как это принято говорить в газете, уже стоял на полосе, мы спустились ночью с Горбатовым в типографию и здесь, у стального талера, еще раз вычитали, сделали необходимые сокращения. Горбатов подошел к линотипистке, что-то шепнул ей; худенькая девушка в синеньком халате, смеясь, кивнула ему и отстучала на линотипе две строки. Горбатов взял эти строки, еще такие теплые, отливающие светлым металлом, и весело засмеялся; он окунул их в типографскую краску и, уже совершенно счастливый, сделал оттиск на своей широкой ладони. «Не ладонь, а гранка!»

После возвращения из второго большого арктическо-

го перелета для Горбатова наступили тяжелые времена: погиб его брат Владимир Горбатов, секретарь комсомольского горкома.

На лице Горбатова появилась грустная улыбка. Такая улыбка тревоги, растерянности и горькой обиды появлялась у него в те дни, когда его пинала жизнь, терзала его товарищей и друзей, терзала и его — грубо, жестоко, надолго выбивая из темпа жизни и работы.

Он уехал на Волгу, мыслями вернулся на остров Диксон, стал писать «Обыкновенную Арктику». Это спасало от страшных раздумий, от тяжкой тоски.

ПИСАТЕЛЬ ФРОНТОВОЙ ГАЗЕТЫ

22 июня сорок первого года он сложил в папку и запер в ящик письменного стола рукопись начатого романа «Алексей Гайдаш».

В этот день его утвердили в должности фронтового писателя.

Он был к этому готов. Это была его третья война.

Так вышло, что ему много пришлось воевать в Донбассе. А Донбасс — это его дом. Родной дом. Пядь родной земли. Именно там родились его «Письма товарищу».

Как они возникли в его воображении, эти Письма, что рождало живое, говорящее, требующее действия и борьбы слово?..

Я вспоминаю его небольшой рассказ, написанный в финскую войну. «Разговор в землянке» называется этот рассказ. Задуман он был вьюжной мартовской ночью сорокового, а напечатан в мае сорок первого — меньше

чем за два месяца до начала Великой Отечественной войны.

«Разговор в землянке» занимает всего полторы страницы печатного текста. А между тем это одно из важнейших, на мой взгляд, писательских раздумий в канун Отечественной войны.

Он о многом передумал в ту военную зиму, многое увидел без прикрас, в беспощадном свете войны. Там, в густых лесах Карельского перешейка, в солдатской землянке, он задумался о своем ремесле — о литературе. («Может быть, впервые в жизни я с такой ясностью понял, чем должна быть наша литература: это — как патрон, как хлеб...»)

Повторяю: он был напечатан, этот короткий рассказ, в мае сорок первого года. А спустя четыре месяца с небольшим на Южном фронте, в страшное лето отступления, начиная свое первое «Письмо товарищу», Борис Горбатов вспомнил морозные финляндские ночи, и ледяную Вуокси-Вирта, и землянку на острове Ваасик-Саари, и свой разговор с бойцами...

Кажется, в романе «Нашгород» он впервые ввел «лирические междуглавия», — в них он давал выход своим мыслям, чувствам, наблюдениям, в этих лирических страницах, в сущности, он говорил о себе, о своих сверстниках, о веке, о революции. И снова мы встречаемся с лирическими отступлениями в романе «Мое поколение».

Он любил эту трудную форму прямого обращения к своим героям. Война обострила чувства людей, вот почему Горбатов и решил вести прямой — один на один — разговор с бойцом Советской Армии, со своим товарищем, одетым в солдатскую шинель.

По властному велению сердца писатель фронтовой газеты начал создавать свои Письма. Он, обычно очень медленно и трудно работающий, долгими часами обдумывающий каждую фразу, каждое слово, свои Письма писал с необычайной для него стремительностью. В кабинке грузовой машины, на привале, в сожженной зноем степи, в прифронтовом селе, в притихшей школе за партой у висящей во всю стену карты мира, на КП батальона, или в сарае, на шинели, брошенной на охапку соломы...

Скорее, скорее! Только бы вовремя — в самую острую минуту! — сказать своему фронтовому товарищу самое важное, самое душевное.

Это большое искусство — сказать нужное слово в решающую минуту. Живое и горячее, суровое и правдивое слово товарищу. Горбатов это умел делать. И делал в трудных условиях фронтовой жизни, делал с мастерством, с горячим запалом коммуниста-писателя.

Писатель фронтовой газеты, он обладал очень точным чувством времени, умел, если применить военный термин, находить для своих Писем главное направление удара. Удивительно тонкая форма! Письмо товарищу... Сама обстановка переднего края, казалось, диктует этот стиль прямого обращения к бойцу. Одно неверное слово — и сила правды, пронизывающая Письмо, сразу же может ослабеть. Чуть сдвинешь — и сломаешь строй высокой, взволнованной речи.

Помните, как он искал ее, эту грустно-тревожную ноту для своих «Непокоренных»: «Все на восток, все на восток... Хоть бы одна, хоть бы одна машина на запад!»

Он долго искал запев для Письма товарищу, тот внутренне напряженный ритм прямого разговора — от сердца к сердцу! — когда простое, честное и правдивое слово обязательно отзовется, не может не отозваться в душе бойца.

Он так и начал свое первое Письмо с этого мужественного, завоеванного революцией слова:

«Товарищ!»

И сразу же прямой, в лоб, вопрос:

«Где ты дерешься сейчас?»

Он начинал свой разговор с товарищем голосом негромким, прекрасно зная, что тот, к кому он обращается, услышит, поймет.

Он написал первое Письмо в дни тяжких боев на Южном фронте, когда под Каховкой рвались снаряды — под той самой легендарной, вошедшей в песни о гражданской войне Каховкой... Написал и отметил рубеж — село О. на Днепре. И засек время — сентябрь 1941 года.

Я хорошо помню то удивительное впечатление страстной и горестной силы, какое произвело на меня, да и на всех его товарищей по Южному фронту четвертое Письмо Горбатова — то, в котором он говорил о пяди земли.

Мне довелось близко видеть его в те дни, когда он работал над этим Письмом.

Шел июль сорок второго, жаркий, тяжелый, грозный июль. Фронт на юге тянулся извилистой линией, обрываясь у скал Черного моря.

Наши корреспондентские пути сомкнулись за Доном. Из окна хаты, где мы остановились, Горбатов вдруг увидел, как тяжелая грузовая машина, пятясь, подминает деревья молодого сада.

И тут Горбатова разом взорвало. Он крикнул водителю:

— Не видишь — деревья!..

Глаза у Горбатова налились злостью,— я никогда не видел его таким мрачно-суровым. Он выскочил, рванулся к покалеченному дереву, молча постоял, потом круто повернулся и пошел, не разбирая дороги.

— Слышь, батальонный! — кинулся за ним водитель.

Горбатов не отозвался. Водитель бросился назад к машине, завел и осторожно повел ее от хаты, от плетня, от деревьев.

Негромко и просто оно начинается, июльское Письмо сорок второго года:

«Товарищ!

Задумывался ли ты когда-нибудь над этими простыми словами: «Пядь родной земли»?»

Спросил — и столь же просто и сурово повел рассказ о виденном в эти дни. Пядь земли... Горбатов в те дни увидел в поле, на охваченном войною куске колхозной земли, крестьянскую женщину. Ее видели многие бойцы, видели и мы, военные корреспонденты, проходившие этим селом, видели, как она возится в поле, работает под свистом пролетающих мин, пропалывает грядки, бережно расправляет листочки, побитые осколками, охаживает каждый кустик. Вот она стоит, распрямив усталую спину, прислушивается к артиллерийскому грому, и в глазах ее столько тоски и горя, что тяжко в эти глаза смотреть...

И он, Горбатов, заставляет своего сверстника по фронту задуматься над этими простыми, кажется редко когда произносимыми, словами: «Пядь родной земли».

Отступали километрами, десятками и сотнями километров, а он, фронтовой писатель, завел разговор с товарищем о куске земли, на котором с утра до ночи возится какая-то седая женщина,— о пяди земли...

И все это время крохотная пядь земли, за которую сейчас идет бой, словно стоит перед глазами Горбатова.

(...«Но стоит тебе и твоей роте, товарищ, отступить на один шаг, одну пядь нашей земли отдать врагу,— и фашист ворвется в это село, чтобы грабить, жечь и убивать... Ни шагу назад, товарищ! Ни пяди врагу! Ни пяди!»)

Письмо Горбатова легло на карту Южного фронта. Редактор пошел с текстом письма в Военный совет. Там, на Военном совете, «Письмо товарищу» обсуждали наряду с другими большими вопросами, связанными с положением на фронте.

Писатель ждал, что скажет Военный совет о его Письме. Было душно. Он сидел на траве, расстегнув ворот гимнастерки. Сняв очки, близоруко глядел в гудевшее самолетами небо. Задумался — и не заметил, как из хаты выскочил редактор и, полный своих забот, кивнул головой фронтовому писателю:

— Одобрили. Листовкой! Срочно!

— Каким шрифтом? — вдруг спросил Горбатов.

— Боргесом! Боргесом! — сказал редактор.

ДВАДЦАТЬ МИНУТ

Один вид хрустящего листа карты, такого чистого, что, кажется, хранит еще запахи типографской краски, приводил Горбатова в восторг. Ему нравилось наблю-

дать, как этот «военный лист» начинает оживать. Как цветными карандашами «поднимают» карту. Как оживают высотки, ручьи, рощи, дороги, становятся объемными, зримыми. За них идет бой!

Кажется, больше, чем писательским званием, он гордился своей военной специальностью. ПНШ. Помощник начальника штаба полка по разведке. Пригодится! И верно, однажды пригодилось.

Но сперва небольшое отступление.

В записных книжках Твардовского есть одна страница, читая которую я вспоминаю нечто близкое по настроению к тому, что когда-то так волновало Горбатова, особенно в первые годы войны.

На исходе одного военного лета писатель-фронтовик Александр Твардовский записал «для себя»:

«...Мы хекаем, а люди рубят. Мы взяли на себя функцию, неотрывную от самого процесса делания войны: издавать те возгласы, охи, ахи и т. п., которые являются, когда человек воюет. Для него каждый новый этап, каждый данный рубеж либо пункт, за который он должен практически биться, нов и не может не занимать всех его психофизических сил с остротой первоначальной свежести. А для нас, хекающих, все это уже похоже-похоже, мы уже по тысячам таких поводов хекали. Это все, может быть, неправильно, но очень подходит к настроению, которое дает себя знать, чуть ты огорчишься чем-нибудь внешним, чуть выйдешь из состояния душевной приподнятости, при которой только и можно что-нибудь делать. А делать надо, нельзя не делать, когда делаются такие великолепные дела: вчера было пять салютов!»

То, о чем я сейчас собираюсь рассказать, случилось

с Горбатовым на Южном фронте в один из трудных весенних дней сорок второго года. Тогда, если вы помните, не до салютов было... А делать надо было, в том числе и писателю фронтовой газеты «Во славу Родины».

Было это за Кадиевкой. Мы с Горбатовым забрались в разгар боя на КП одного батальона. Обстановка на участке сложилась тяжелая, и в этой напряженной обстановке капитану, который вдвоем с телефонистом находился в ту минуту в блиндаже, было не до нас. Он не успел даже подробно расспросить, откуда мы, он только окинул нас в блиндажных сумерках быстрым, скользящим взглядом. «А, товарищи корреспонденты!»

Горбатов закурил, и капитан, не отрываясь от карты, молча протянул руку: дай, друг, и мне! Горбатов присел с ним рядом на скамью и, не задавая никаких вопросов, наклонившись над картой, стал изучать обстановку. Потом Горбатов что-то коротко спросил, капитан ответил, все время сторожко прислушиваясь к работе артиллерии.

И вдруг капитан сказал:

— Вы бы поработали, товарищи, а?

И рукою показал на карту и на телефон в деревянной коробке.

Ему срочно нужно выехать на передовую.

Он еще раз, на этот раз более внимательно, глянул на нас, словно решая, можно ли нас оставить на КП.

Я был корреспондентом «Красной звезды», так называемый вольнонаемный (по бумагам я числился старшим политруком запаса), капитан только скользнул по мне острым взглядом, а на Горбатове, у которого на пет-

лицах было по две шпалы, он на мгновение задержался, отрывисто спросил:

— Военный корреспондент?

— Так точно.

— «Во славу»?

— «Во славу».

Капитан снова показал на дощатый стол, на карту и полевой телефон. И объяснил задачу: вам придется, товарищ батальонный комиссар, поработать здесь десять — пятнадцать минут.

— Я мигом,— сказал он, натягивая на голову каску,— мигом!

На Горбатове была фуражка защитного цвета, так называемая полевая. Он сдвинул ее на затылок, кивнул капитану, сказал рассеянно, совсем не по-военному:

— Да, да... идите, я тут поработаю...

Капитан ушел, и военный корреспондент внимательно осмотрелся, расстегнул ворот гимнастерки, порылся в своей полевой сумке и выбросил на стол цветные карандаши.

И голос у Горбатова окреп, появились даже какие-то «железные нотки», он говорил коротко, как и полагается штабному командиру,— одним словом, в нем проснулся ПНШ. Помощник начальника штаба полка.

Это была работа, настоящая работа! И хотя его штабная деятельность в тот день продолжалась что-то около двадцати минут, он потом долго о ней вспоминал, вспоминал с огромным удовольствием. «Была, была работка!» И, подмигивая, с веселым презрением говорил: «Это, брат, не то, что всякие там передовицы или ро́маны строчить...»

Впрочем, там, в полутемном блиндаже, он ни о чем

постороннем и не думал — на другое просто не хватило бы времени: темп боя участился, нужно было быстро действовать и, как говорят военные, принимать решения. Вот сейчас, сию минуту. Ведь твоего решения ждут «на проводе».

Капитан, повторяю, отсутствовал что-то около двадцати минут, не более. Горбатов отвечал на звонки, голос его стал хриплым, он даже стал покрикивать, будто давно был знаком с командирами рот, которые сейчас «висели» на проводе; наносил на карту обстановку, докладывал вышестоящему начальству о положении на переднем крае. В эти двадцать минут, которые Горбатов провел в блиндаже, он чувствовал себя великолепно. Так по крайней мере он потом признался мне.

Вскоре привезли капитана, раненого, с туго перевязанной рукой,— он держал ее в косынке и, стремясь унять боль, раскачивал ее у груди; глаза капитана были запавшие, губы почерневшие, он сипло сказал вошедшему вместе с ним ординарцу: «Пить!» Ординарец стал поить его водой из чайника. Капитан стоял в нательной рубахе, закинув голову, хватая губами струю воды. Он плечом согнал капли воды, стекавшие по подбородку.

В блиндаж спустились пришедшие с капитаном командиры, еще не остывшие от боя.

Капитан отдышался, подошел к дощатому столу и, стоя боком, склонился над картой, приподняв раненую, в косынке руку. Он слушал Горбатова, следил за движениями его карандаша, потом внимательно глянул на него сбоку своими усталыми, возбужденными, по-птичьи округлившимися глазами.

— Ну что ж! Давай, батальонный комиссар, закурим, давай, друг!

Собственно, все происходило просто и деловито. Никто Горбатова особенно не благодарил, никто не восхищался его штабной деятельностью, но, к счастью, и не ругали — все шло стремительно, как и полагается в обстановке быстротечного боя.

Горбатов вышел из блиндажа, поглядел на вечереющее небо, жадно затянулся папироской, снял очки, потер усталые, но по-мальчишески испуганно-счастливые глаза, стянул через голову пыльную, пропотевшую гимнастерку и, подставив круглую бритую голову, замычал от восторга, когда я обрушил на него ведро холодной колодезной воды.

ВХОДИТ В ЭНЗЕ

Он вкладывал в «Письма товарищу» всего себя, весь накал своего сердца — и потому они так читались, горбатовские Письма, так захватывали своей страстной верой в грядущую победу.

Осенним вечером возвращались мы с Горбатовым на открытой полуторке из дивизии; оба порядком устали, наши шинели набухли от дождя, а до станицы Каменской — там в это время находилась редакция фронтовой газеты — было еще несколько десятков километров. Глядя на раскисшую дорогу, на мутное ночное небо, на холодные, мокрые сучья деревьев, Горбатов вдруг предложил — давай переночуем.

Он всю дорогу был хмурым, невеселым, много курил. И только в хате, куда мы попросились на постой, он стал медленно «оттаивать»: разговорился с бойцами, засмеялся чьей-то веселой шутке, согрелся кружкой горячего чая,— одним словом, «ожил»...

Земляной пол в хате был выстлан соломой, бойцы потеснились, и, сбросив мокрые шинели и грязные сапоги, мы растянулись на примятой соломе.

Один из бойцов, сидя на лавке, аккуратно перекладывал свои вещички, загружая ими походный мешок.

Горбатов даже привстал на колени — так его заинтересовал «сидор иваныч», простой, в заплатах, но еще крепкий солдатский вещмешок.

Он потянулся к бойцу за огоньком, закурил, с жадным интересом вглядываясь в содержимое вещмешка.

Вскоре бойцы попрощались с нами, дверь какое-то время оставалась приоткрытой, низом тянуло ночной прохладой.

Вдруг Горбатов вскочил на ноги, прошелся босиком по земляному полу и закричал:

— Шапки долой, фронтовые писатели! Слушай, слушай, что я увидел в солдатском «сидоре»! Сухари. Кусок сала. Портянки. Банку консервов. И Письмо...— Он хлопнул себя по груди.— «Письмо товарищу». Понимаешь, входит в энзе!..

И тут я не могу не рассказать об одном маленьком трогательно-смешном эпизоде, связанном с горбатовскими фронтовыми письмами.

Было это уже после войны. Я шел пешком из районного центра Снежное на шахту «Американка». Внезапно хлынувший весенний дождь загнал меня в хату, стоявшую у дороги. Это была старая, осевшая шахтерская хата,— на ее плоской крыше лежали тяжелые камни, чтобы хатку, не дай бог, ветром не унесло.

Вся хата состояла из одной комнаты. Залитая солнцем, светившим сквозь дождь, она была оклеена газетами, главным образом военными. И — о чудо! Среди

газетных листов, которые слегка бугрились на стене, я узнал и нашу, Южного фронта, газету «Во славу Родины». А внимательно присмотревшись к выцветшим колонкам, увидел хорошо знакомые мне строки из «Письма товарищу».

Горбатов, которому я при первой же встрече рассказал об этом, насмешливо хмыкнул: «Обои — это вещь!»

Я стал забывать про наш разговор, когда на второй или на третий день он вдруг спросил меня, пряча смущение в глазах:

— А где, собственно, та хатка дислоцируется?.. Любопытно, знаешь, взглянуть на газетные обои...

«КОГДА-НИБУДЬ МЫ БУДЕМ ВСПОМИНАТЬ...»

Помню осенний вечер на Южном фронте.

В маленьком городке у самой границы донецкой земли, поблизости от Краснодона, в каменном двухэтажном доме, служившем в мирное время гостиницей, расположилась редакция фронтовой газеты.

В комнате Горбатова стояли стол и койка-раскладушка. День зимний, сумеречный, я не сразу увидел на столе перед Горбатовым какие-то измятые книжечки.

Он курил папиросу за папиросой, на какие-то мои вопросы отвечал коротко. Я понял, что ему не до меня, и быстро попрощался, направился к двери. И вдруг он окликнул меня:

— Взгляни!

И молча пододвинул одну книжечку — это был в пятнах засохшей крови партийный билет.

Один партийный билет — политрука Никиты Шандора, второй — бойца Ивана Винокурова, которые недавно сидели тут же за столом у окна и рассказывали Горбатову историю своей борьбы за жизнь, за честь партийного билета. Они почернели, размякли и покоробились, эти два партийных билета, пробившихся из окружения. И все то время, что Горбатов писал свой рассказ, который он так и назвал «Партийный билет», эти красные книжечки лежали перед ним.

Донбасс — край угля и металла — был для Горбатова той прекрасной «пядью земли», о которой он всегда думал с нежной сыновней любовью.

Он был в Москве в редакции «Правды», когда услышал ночью добрую весть с Южного фронта: наши войска освободили Луганск. С этим городом было многое связано в его жизни, и на рассвете с первым же самолетом он вылетел в Донбасс. Все, что он видел в те дни в Луганске, вскоре вошло в его новую повесть. Горбатов без устали вышагивал по улицам знакомого города, особенно по Каменному броду — там, на окраине, жили рабочие люди.

Незабываемой была встреча с секретарем горкома партии Степаном Стеценко, который только-только вышел из подполья. («При мне,— рассказывал потом Горбатов,— принесли ему бутылку из-под шампанского, в которой находилась его тетрадка. Мы ее вместе вскрыли. Я прочитал ее, и мне многое стало ясно, даже то, чего сам Стеценко не рассказывал».)

Первая встреча и долгие беседы со Степаном Стеценко заставляли напряженно работать мысль, обога-

щали воображение писателя, военного корреспондента «Правды». Может быть, надо было дать впечатлениям отстояться, а уж затем в другой, более спокойной обстановке засесть за повесть? Но он не стал ждать, когда наступит это спокойное время, и начал работать здесь же, в Луганске, затем выехал в Москву и со всеми своими замыслами, с готовыми уже кусками будущей повести пришел в «Правду». И тут за него взялись. Повесть нужна сейчас, сегодня! И он сел писать ее, свою повесть «Непокоренные»...

(Позже он скажет об этой своей стремительно написанной книге, главы которой впервые увидели свет на страницах «Правды»: «Я знаю, что написанная в необычайно короткие сроки повесть носит на себе печать торопливости... Но считаю, что в дни войны важнее всего слово, сказанное вовремя. В этой повести я задавался основной целью — со всей страстностью и честностью сказать все, что наполняло мою душу, когда я увидел разоренные немцами родные места моей молодости, дорогие моему сердцу города и заводы Донбасса».)

На фотографии он выглядит очень усталым, похудевшим, и только глаза у него светятся радостью. Работа сделана. Повесть написана.

В сентябре сорок третьего я встретил Горбатова в Макеевке, взятой с ходу наступающей армией, потом, уже не расставаясь, мы вошли с полками атакующей дивизии в Сталино.

Горбатов обошел всю улицу Артема, добрался до проходных ворот металлургического завода и оттуда снова не спеша пошел по главной улице города. Каза-

лось, весь город в тот день был на ногах, люди тушили пожары, ходили черные и безмерно счастливые.

Он готов был бродить по этой до боли знакомой улице, да и по всему городу, до самого утра... Но надо было рассказать читателям «Правды» о первых часах освобождения города. Военный корреспондент поехал на армейский узел связи и оттуда прямо на телеграфных бланках стал быстро писать свою корреспонденцию. Написал, убедился, что ее начали передавать в Москву, и, тепло попрощавшись со связистами, снова поехал в город.

Потом его видели на шахте имени Калинина в окружении старых горняков.

Горбатов похлопал по карманам — ни одной папиросы! Шахтеры охотно и щедро насыпали ему своего крепкого табака — самосада; писатель закурил, кинул наземь шинель и присел вместе с шахтерами по-забойщицки на корточки. Теперь его уже ничто не могло бы сдвинуть с этой пяди свободной донецкой земли.

В ту ночь он услышал поразительную историю,— он записал ее на двух листках блокнота,— историю одной старой шахты, в которую попрятались люди, спасаясь от немцев. Наверху немцы напоследок еще лютовали, жгли дома поселка, взорвали копер шахты, а внизу десятки старых шахтеров разошлись по подземным горизонтам. Их радовало, что горные выработки сохранились в целости и что в тот час, когда наша сила одолеет, сюда, в забои, придут люди добывать уголь. («Я встретил этих стариков в те дни на шахте и не забуду никогда. Я узнал тогда, в те дни, силу жажды. Жажду боя у воина. Жажду труда у шахтера».)

И снова свела нас корреспондентская судьба на последнем рубеже войны — под Берлином.

Фронтовыми дорогами стали окутанные дымом пожарищ берлинские улицы и площади.

На Кепеникштрассе Горбатов увидел надпись мелом на глыбе какого-то поверженного памятника: «Мы в Берлине!» И дальше разными почерками расписались проходившие по этой штрассе солдаты. Последней была фамилия Сидоров. Горбатов сожалеюще сказал: «Эх, мела нет под рукою...» И карандашом старательно вывел за Сидоровым: «Горбатов».

Он работал в те дни в содружестве с корреспондентом «Правды» Мартыном Мержановым. На одну ночь однажды они разлучились: Горбатов находился в одной дивизии, Мержанов — в другой. В эту майскую ночь солдаты разбудили корреспондента «Правды» Мержанова: из имперской канцелярии привезли труп гитлеровского министра пропаганды Геббельса.

Мержанов дал знать Горбатову — немедленно приезжай!

На цементном полу, у ног наших солдат, лежал скрюченный Геббельс.

— Вот он, колченогий...— сказал Горбатов, обращаясь к советским воинам,— маленький человек, сделавший столько зла людям, Германии, всему миру!

И мне думается: то было последнее горбатовское «Письмо товарищу». Письмо это не было нигде напечатано,— оно разом рванулось из его горячего сердца.

Наступил день капитуляции, безоговорочной капитуляции немцев. Сорок пять минут продолжался этот исторический акт, завершивший тяжелые годы войны.

Горбатов все увидел — увидел и запомнил — в эти

сорок пять минут капитуляции, происшедшей в берлинском замке Карлсхорст.

Теперь надо написать и передать корреспонденцию — историческую корреспонденцию — в «Правду». С Москвой долго не было связи, представители военного командования позвали писателя Горбатова на банкет, но он только покачал головою — благодарю, успеется! И курил папиросу за папиросой и терпеливо ждал, когда Москва даст о себе знать и можно будет передать в редакцию о всем виденном в эту майскую ночь в старом немецком замке.

Он бродил по холлу, потом спустился в подвал — там находился полевой узел связи. И в какие-нибудь полчаса вдвоем с корреспондентом «Правды» Мартыном Мержановым они сжато записали все то, чему были свидетелями сегодня в полночь в замке Карлсхорст.

Во втором часу ночи телеграф заработал. Листки корреспонденции, написанной от руки, пошли в аппаратную, оттуда их выстукивали в Москву. Первое слово, которое отражало события дня и ночи, легло в основу всей корреспонденции: «Капитуляция».

Кто-то из друзей сунул Горбатову в руки бутерброд, стакан водки. Корреспонденты стали в круг и чокнулись... За победу! За мир, ребята! За будущее!

Горбатов вышел во двор, присел на камни, на серые, сточенные временем камни, снял очки, спрятал их в карман и, примостившись спиной к стене, вытянув натруженные за день ноги, уснул крепким сном.

Я встретил его 9 мая в полдень в Штраусберге. Он не спеша прогуливался по чистеньким улицам маленького немецкого городка, в котором разместились фронтовые службы и в котором жили мы, военные коррес-

понденты. Мне хотелось узнать от него все подробности прошедшей ночи в замке Карлсхорст, я стал тормошить его, требовать — рассказывай, рассказывай! Он в ответ только смеялся:

— Это когда было — вчера? Ну, значит, это уже история...

И махнул рукою: «Ах, где-нибудь, когда-нибудь мы будем вспоминать...» И Карлсхорст этот вспомним, и сорок пять минут эти вспомним, и первые минуты мира на земле...

Потом стал показывать, как фельдмаршал Кейтель гусиным шагом шел к столу, как он вдел в глаз монокль и смирненько подписал акт о безоговорочной капитуляции, а подписав, тем же гусиным шагом пошел обратно к своему столику и, прежде чем сесть, эффектным жестом взмахнул фельдмаршальским жезлом.

И помню, вот что тогда удивило меня: событие в Карлсхорсте, событие № 1, которым долгие дни жил весь «корреспондентский корпус», снова и снова, припоминая все мельчайшие подробности этого исторического дня (как вошла немецкая военщина, как ее позвали к столу, как ее заставили стоя выслушать акт капитуляции),— для Горбатова это событие уже как бы отошло на задний план, стало перевернутой страницей книги жизни. Разумеется, он отлично понимал все значение той страницы, что завершала великую книгу борьбы народов с германским фашизмом. Но писатель Горбатов уже жил новой страницей иной книги — книги жизни, которая только-только прочерчивалась в душе человеческой и особенно в душе немецкого народа.

Генерал Берзарин, первый советский комендант Берлина, пригласил на совещание группу немецких инженеров, связанных с коммунальным хозяйством громаднейшего города, парализованного боями и сражениями. Пришли энергетики, мукомолы, хлебопеки, железнодорожники.

Речь шла о том, что Берзарин коротко обозначил словом «надо». Спокойный и ровный в обращении, пожилой генерал сидел за столом в окружении немцев, сидел с таким видом, словно всю жизнь имел с ними дело. Он говорил твердо и просто. Твердо и деловито. «Надо!» И у нас создалось впечатление, что немцы сразу поняли, с кем имеют дело: с этим советским генералом можно работать. И надо работать. Надо дать городу воду. Надо наладить выпечку хлеба. Для этого необходимо подсчитать наличные запасы муки. Надо дать Берлину свет — инженеры должны составить точную картину состояния электростанций, наличия топлива. В общем, жизнь есть жизнь.

Мы с Горбатовым были на этом совещании коменданта Берлина. Обычно Горбатов редко прибегал к карандашу, больше надеялся на свою память. Но тут ему захотелось что-то записать. Я протянул ему свой блокнот, но он покачал головой, стал шарить по карманам, потом вынул из полевой сумки сложенный вчетверо оранжевый лист.

Он развернул его и, улыбаясь, стал читать отпечатанный на оранжевом листе приказ начальника гарнизона города Берлина от 2 мая 1945 года.

— Вот где история,— шепотом сказал Горбатов, держа в руках приказ, на полях которого он отчеркнул такие строки:

...специально для родильных домов, акушерских отделений больниц и клиник, а также для детских лечучреждений выделить из состава гуртов скота дойных коров для обеспечения больных детей и новорожденных свежим молоком...

МЫ ЖИВЕМ В ПОСЕЛКЕ «ЛИДИЕВКА»

Обычно с весны и до глубокой осени мы жили с Горбатовым в Донбассе — одно лето в Рутченкове на шахте «2-7 Лидиевка»; потом два лета подряд в поселке Гладковка.

...Кажется, так недавно еще он был на Филиппинах, на нем светлая полотняная, свободно облегающая плечи рубашка, в которой он летал в Манилу. И вот он в этой филиппинской одежде, босой, бродит по двору, вышагивает по прохладным половицам дома в «Лидиевке».

Горбатов весь еще в струе военной жизни, да и люди вокруг него — горняки, сталевары, партийные работники, хозяйственники — это, собственно, солдаты, они ходят в фронтовых сапогах, донашивают гимнастерки, они тоже еще не отошли от дней войны...

В первый же вечер на «Лидиевке» потянулись к Горбатову люди. Он приехал из Москвы, воевал в Берлине, недавно прибыл с Филиппин и конечно же должен знать, что творится на белом свете.

Горбатов сидит в холодке на лавочке, а полукругом на корточках расселись крепильщики, проходчики, стволовые, врубмашинисты — они слушают рассказы Горбатова о Филиппинах, о японском императоре, о страшном сословии «Эта»...

Ему наливают из кувшина холодного пива в запотевший стакан, кувшин идет дальше по кругу, в темноте донецкой ночи горят огоньки папирос и слышится быстрый, глуховатый голос Горбатова.

Горячая лава впечатлений требовала выхода, и Горбатов охотно и подолгу рассказывал горнякам о виденном; в беседах с шахтерами он словно набрасывал первые варианты своих рассказов о чужедальних странах, закрепляя в словах беседы то, что так волновало его.

Вот уже несколько дней Горбатов ложится рано и встает с рассветом; он любит предутренние часы, когда небо светлеет, звезды медленно уходят, ветер бежит по траве и в тишине слышны шаги — то первая смена идет, горят огоньки папирос, люди тихо переговариваются осипшими от утренней свежести голосами.

Горбатов, накинув на плечи куртку, сходит с крыльца. Он раздвигает кусты, покрытые росой, и, опершись обеими руками о перекладину калитки, слушает тишину в поселке, ждет, когда пойдут его дружки-шахтеры.

Он любит встречать тех, кто поднялся на-гора́. Он ждет, когда ночная смена поднимется на поверхность, горняки сдадут лампы, инструменты, смоют в бане угольную пыль и, переодевшись в чистую одежду, отправятся по домам. Вот тут он и встретит своих товарищей, послышатся приветствия: «С добрым утром!»; одни остановятся у нашей калитки, начнут одолжаться спичками, махоркой, папиросами, послышится кашель, раскатистый смех, заблестят влажные от горячей воды лица... Так начинается утро на «Лидиевке».

Шахтеры уходят, и только один, пожилой, рябова-

тый лесогон, еще некоторое время стоит у калитки; пиджак у него свисает с одного плеча, у ног в траве лежит обрезок доски или гладко выструганная палка.

Я как-то спросил Горбатова, о чем он там толкует с лесогоном у калитки.

— А ни о чем,— засмеялся Горбатов.— Стоим, курим, смотрим друг на друга... Хороший человек...

Лесогон этот однажды сказал Горбатову, как пахнут деревянные стойки, которыми крепят забой: «То грибами, то весенним духом...»

По вечерам к нам часто приходит врубмашинист Сайфутдинов.

Наши дома на одной улице, и то Горбатов ходил к Сайфутдинову в гости, то невысокий, сухонький Сайфутдинов в распахнутом мундире почетного шахтера шагал к нам. Они забирались с Горбатовым в беседку, стоявшую во дворе, пили чай и вели неторопливую беседу.

Однажды я увидел на Горбатове мундир Сайфутдинова, горняцкий мундир почетного шахтера с лавровыми листьями по воротнику. Мундир был узок Горбатову в плечах. Он торопливой походкой поднялся по крыльцу, прошел в комнату, сел за стол и сделал какую-то запись в блокноте; потом вышел из дома, снял с себя мундир и с какой-то нежностью накинул его на Сайфутдинова, крепко стиснув плечи врубмашиниста.

Этот невысокий старый врубмашинист, который приходил к нам в дом в накинутом на плечи мундире почетного шахтера, был Горбатову крайне необходим — он с Сайфутдиновым советовался, поверял ему свои литературные замыслы, расспрашивал о тайнах шахтерского ремесла, пел с ним старые шахтерские песни

и читал Сайфутдинову стихи одного филиппинского поэта.

Из редакции «Нового мира» на «Лидиевку» прислали гранки со стихами филиппинца; Горбатов должен был в сжатые сроки, кажется в течение одного дня, отослать стихи в Москву со своим кратким послесловием. Он так назвал свои заметки к стихам — «Несколько примечаний». Самого поэта он не видел на Филиппинах, ибо поэт скрывался в подполье. Но стихи Санггуни хорошо знали на островах Тихого океана. Узнал о них и Борис Горбатов.

В примечаниях он рассказал о своей поездке на Филиппины, описал американского полковника Бишопа, который сопровождал его по острову,— улыбаясь очаровательной улыбкой, полковник всячески отгораживал советского человека в штатской одежде от какого-либо общения с филиппинцами.

Горбатов взял в руки гранки со стихами поэта, скрывавшегося за псевдонимом Санггуни Батонгбухэя, и, шагая по комнате, всматриваясь в гранку, читал вслух глуховатым, напряженным голосом:

Что вы скажете детям своим,
Когда гордость простых бедняков
За гроши продадите, сгибая покорные спины
Перед янки, скупившими все Филиппины
Для своих лесопилок, своих рудников;
Когда вместо гражданских свобод,
Вместо вольных торжественных хартий
Мы получим ярмо с иноземным клеймом
И в своей же стране станем жалким рабочим скотом?

«Сейчас я далеко-далеко от Манилы,— писал Горбатов.— Я пишу эту статью дома, на родине, в Донбассе — на шахте «2-7 Лидиевка».

Когда-то эта шахта тоже принадлежала чужеземцам. Но мы прогнали их.

Когда-то наши отцы тоже были рабами.

Теперь мы — хозяева. Эти шахты — наши.

Здесь, правда, нет кокосовых пальм, но тридцать лет назад здесь не было даже акаций. Какая веселая, буйная, пышная зелень шумит теперь на моей шахте!

В саду, напротив моего дома, сидит и пьет чай под акацией мой друг, шахтер Григорий Сайфутдинов, татарин.

Сейчас он машинист врубовой машины, почетный шахтер; расстегнув свой парадный мундир с серебряными лаврами на воротнике, он пьет чай в саду напротив.

А я пишу статью. Я хотел бы, чтобы эти строки дошли до Сангтуни Батонгбухэя, как его стихи дошли до нас.

Мы думаем о них. О их борьбе. О их надеждах».

Строки своего послесловия к стихам филиппинца Горбатов читал Сайфутдинову — врубмашинист с «Лидиевки» одобрил их.

ПОДРОБНОСТИ ЖИЗНИ

В первый же день нашего приезда в поселок «Лидиевка» Горбатов аккуратно разложил свое писательское хозяйство — стопку блокнотов в клетку, карандаши, ручку и школьную чернильницу-непроливайку. Но почему-то мало времени он проводит за столом, не очень-то спешит писать.

Он легко срывается с места и уезжает — то на фут-

бол, то на закладку новой шахты, то на рыбалку, а то просто уходит в степь и часами бродит там.

Когда я однажды сказал ему: знаешь, создается впечатление, что ты бежишь от работы, цепями, что ли, надо привязывать тебя к письменному столу...

— А верно,— согласился Горбатов и со смехом добавил: — Працюваты не люблю... Охота в народе потолкаться... А к этому,— он кулаками похлопал по доске стола,— к этому шлифовальному станку меня, верно, надо цепями крепить.

Он искал все новых и новых встреч с людьми, они обогащали его воображение, открывали ему неведомые дотоле подробности жизни.

Жила неподалеку от нашей «Лидиевки», в поселке соседней шахты, Евдокия Федоровна Королева.

В один из августовских дней мы по холодку пешком пошли до старой «шахтерской маты», как прозвали Королеву люди. Горбатов был в расстегнутой на груди белой рубашке с отложным воротником, в синих холщовых штанах, в тапочках на босу ногу.

Королева жила в маленьком, одноэтажном домике — прохладная комната и крохотная кухонька. Пол в ее доме выстлан чистым, в два цвета рядном.

Королева повязана белым платком, оставляющим открытым загорелый лоб, глаза у Королевой иссиняяркие. Она рада гостям, ставит на стол чашку с огурцами, графин с водкой, кувшин с квасом, вкусно пахнущий хлеб домашней выпечки, синюю солонку с крупной солью. Ласково приглашает к столу:

— Сидайте, товарищи...

Горбатов принял из ее рук кувшин с квасом и на какое-то мгновение задержал в своих ладонях ее худые,

с набухшими венами, с ссадинами, добрые, мужественные руки старой горнячки.

Он ни о чем особенном не расспрашивал ее, не донимал вопросами, он просто сидел и наслаждался обществом этой старой, поразительной судьбы шахтерки.

Ну да, тут и был, в этой хате, командный пункт шахты после войны, сюда бабы сносили горняцкий инструмент — обушки, лопаты...

Ее все знали в Рутченкове, эту старую шахтерку Евдокию Федоровну; ее так и звали в районе — шахтерская мать. Сразу же после освобождения Донбасса она возглавила у себя на шахте бригаду старых и молодых шахтерок, собирала горняцкий инструмент, расставляла женщин по рабочим местам — плитовыми, лебедчицами, стволовыми...

Когда шахтеры стали откачивать воду из затопленной шахты и прошли первый бремсберг, проходчики назвали его в честь Евдокии Федоровны — Королевским. Ее выбрали делегаткой на областной слет шахтеров, где намечались грандиозные задачи возрождения Донбасса и подводились первые скромные итоги восстановительных работ. Зал был переполнен до отказа. В президиуме сидел замнаркома Егор Трофимович Абакумов. Он долго вглядывался в зал и различил среди сотен лиц знакомое лицо Евдокии Королевой. Как когда-то в давние времена повязывались женделегатки, так и сейчас поседевшая голова ее была покрыта красной косынкой...

— Королева! — весело и молодо закричал замнаркома, знавший в лицо великое множество шахтеров.— Жива, старая?

— Жива, Егор!

И они устремились навстречу друг другу с такой живостью, что все невольно уступали им дорогу.

Егор Трофимович бережно взял Евдокию Федоровну под руку и повел ее к трибуне.

Она долго стояла — высокая, сухощавая старуха, прижав к груди крупные, огрубевшие от работы руки.

...Горбатов молча смотрел на загорелое, худощавое, остро очерченное лицо старой женщины.

Она сидела, чуть откинувшись на гнутую спинку стула, положив на полотняную скатерть худые, с острыми локтями руки.

Прощаясь, Горбатов ласковым движением свел ее руки, лежавшие на столе, как бы укрыл их своими ладонями.

Королева заглянула ему в глаза, заулыбалась, сказала шепотом:

— А что, Борис Леонтьевич, небось пишешь в листочках своих: «Уголек, уголек, черный хлебушко наш...» Ведь пишешь, а?

— Пишу, мама Королева...

Он не пропускал ни одного футбольного матча.

В городе строили большой стадион. Но тот, рутченковский, районного масштаба, куда мы ходили в то лето, был Горбатову особенно дорог. И хотя от нашего дома до футбольного поля в Рутченкове было недалеко, все же Горбатов с полудня начинал торопить меня — скорей, скорей, как бы не опоздать к началу!

Он брал с собой коробок спичек, папиросы, запасные очки, он был весь захвачен предфутбольным настроением. Все, что его томило и терзало в тот день,

работа, которая так медленно подвигалась,— все разом ушло, и он весь отдавался развернувшейся на поле игре.

О, это было не обычное поле! Не обычный стадион, не обычные зрители.

Здесь все знали друг друга, все были свои, рутченковские, у многих были свои излюбленные трибуны, свои постоянные места. Первым вместе с мальчишками приходил на стадион начальник шахты «17/17 бис». Человек мощной комплекции, он один занимал два места, расстегивал инженерский китель, платком вытирал потное лицо, шею, прочищал горло, добродушно перекидываясь репликами со знакомыми болельщиками. У ног он ставил кувшин с квасом, распускал галстук и хриплым басом говорил знакомому тренеру, говорил ласково и вместе с тем по-хозяйски требовательно: «Чтоб было с плюсом, ребята!»

Потом приходил рябоватый секретарь райкома партии, клал у ног парусиновый портфель; яростный болельщик, он приводил на матч чуть ли не весь районный актив.

Горбатов сияет, он толкает меня в плечо, жарко шепчет: «Пойдем в ложу, а?» — и глазами показывает на ближайший террикон. Такое только в Донбассе можно увидеть. («Террикон этот старый, большой, и находится он у самого стадиона; с его склонов прекрасно видно все поле. Есть любители, которые даже предпочитают террикон трибунам: «С горы виднее!»)

И, захваченный всеобщим азартом, Горбатов вскакивает и вместе с болельщиками с террикона, вместе с начальником шахты «17/17 бис» отчаянным криком кричит: «Держись, ребята! Держись, наши!»

Да, где еще увидишь эти синие горы терриконов, силуэты копров и взлетающий к облакам кожаный мяч. Или вот такое: в самый разгар игры рядом со стадионом вдруг пламенеет небо — это на ближнем заводе идет плавка.

ДОБЫЧА

В другое лето мы жили с Горбатовым в поселке Гладковка.

«Щитовой» деревянный дом наш стоял на улице Байдукова. Горбатов толкнул изнутри окно, распахнул его вместе с зелеными ставнями — в комнату хлынул свет, косым ветром нагнало капли дождя: ответственный съемщик, как говорил о себе Горбатов, высунулся по пояс, вдохнул свежий воздух.

— Ну, тут я у себя дома...

Он не сразу входит в работу. Мне даже кажется, что ему очень дороги именно эти первые дни приезда на новое место; он знакомится с домом, открывает и закрывает окна, любит сидеть на ступеньках крыльца, бродит босой по теплым дорожкам крохотного садика, любит заводить знакомство с соседскими детьми. Одним словом, он наслаждается покоем, вбирает в себя потоки родного донецкого воздуха, сухого и горячего днем, нежного на рассвете и прохладного ночами.

Иногда в часы рассвета он распахивал окно, кидал в траву трость, тапочки, потом, кряхтя, тяжелый, грузный, выбирался сам и уходил по холодной тропке к зеленой посадке; медленно пробирался сквозь заросли дикой маслины, подолгу стоял у ручья с рыжей водой, смотрел на терриконы шахт, на копры, на небо.

Возвращался он, когда солнце начинало припекать, возвращался усталый, со счастливым выражением лица, с карманами, набитыми кусочками слюды, породы, с пучками разных трав и листьями дикой маслины.

Он очень любил лесные посадки, выращенные руками шахтеров,— акации, клены, густые переплетения дикой маслины.

Если, скажем, это полынь, то в Донбассе она особенная — от нее сердце свирепеет. А про чабрец можно поэмы писать! («Тем и дорог моему сердцу донецкий пейзаж, что создан он человеческими руками, оттого-то в Донбассе не говорят «роща», а говорят «посадка», не говорят «озеро», а говорят «водоем». Даже самый большой и самый красивый лес здесь — Велико-Анадольский — весь насажен руками человека».)

На столе у него чисто, просторно. Он перекладывает листочки с записями, потом в один прекрасный день начинает не спеша «клевать по зернышку».

Пишет он плотно, кладет слова буква к букве, будто нанизывает бисеринки на нитку, пишет на всю страницу, почти не оставляя полей.

Хотелось спросить его: ну что, Борис, раскачался, пошла работа? Но я и так вижу, что ему хорошо работается: это сказывается даже на его походке — он ходит переваливаясь, короткими шажками, весело ходит; и ест мало — схватит добрый ломоть украинского пеклеванного хлеба и на ходу закусывает таранью.

Или другой раз долго стоит у открытого окна, отодвинется, давая дорогу листьям, которые ветром гонит в дом. Потом оглядывается на свой стол, тяжко вздыхает: «Будем, будем вспахивать наше поле». И снова за работу. Перечитывает вчерашние две-три странички и,

медленно «разогревая» себя, начинает их не спеша переписывать, вычеркивая одни строки, внося новые...

Иногда, садясь за письменный стол, он складывал ладони трубой и тонким, насмешливым голосом напевал: «Дол-же-ен!»... Он любил это крутое слово «должен»! Должен, должен работать, писать, трудиться.

В его комнате стоит телефон, связанный с коммутатором угольного комбината. Можно было в любое время дня и ночи снять трубку и услышать голоса далеких и близких шахт, голоса трестовиков, голоса диспетчеров, голоса главных инженеров, главных механиков,— одним словом, голоса добытчиков угля.

Горбатов брал трубку, долго слушал, он даже уверял меня, что научился различать голоса, и даже пытался изображать обладателей голосов — то низких, рокочущих басков, то хриплых, простуженных, то сердитых, распекающих, то льстивых, защищающихся, то беспощадных, обрушивающихся, то жалостливых, просящих, то убеждающих, требующих...

Слово, которое чаще других можно было услышать в телефонной трубке,— слово «добыча». Произносилось оно по-шахтерски стремительно, с ударением на первом слоге: «До́бычь!»

Строгий и взыскательный, Горбатов долгими часами, день за днем, исписывал листки блокнота широкого формата, терпеливо преодолевая «сопротивление материала», искал слова крепкой кладки. «До̀бычь!»

Однажды, после того как Горбатов прочел вслух одну вчерне набросанную главу романа, у нас зашел разговор о том, что я назвал бы горбатовской манерой письма.

Собственно, он сам собою начался, этот разговор о

стиле и о том, что он, Горбатов, окрестил романтической струей в писательской работе.

Меня интересовало: можно ли сохранить в романе ту же манеру письма, что и в «Письмах к товарищу»? Может ли лирическая интонация, свойственная Горбатову, скрепить судьбы молодых героев — Виктора, Андрея и Даши, которым предстоит суровый труд, которых ждут тяжкие испытания в жизни?..

Он не сразу мне ответил, поглядел на меня поверх очков — после бессонной ночи глаза у него были усталые, неспокойные.

Я давно заметил: когда его что-то задевало, он становился молчаливым, почти угрюмым, по-детски выпячивал губы. Начинал покашливать, тасовать карты, раскладывать пасьянс.

Он не стал со мною спорить, не стал убеждать меня в правомерности избранной им манеры письма. Он даже как будто перевел разговор, начал вдруг вспоминать увиденную им много лет назад картину работы одного старого искусного забойщика. Его поражало, вспоминал Горбатов, каким образом забойщик (фамилия его — Васильков) мог так безошибочно, чутьем, что ли, находить струю, самое «живое» место пласта, то, что горняки называют «кливажем». И, найдя эту струю, внедряться в нее острым зубом отбойного молотка.

Мне кажется, что ему, Горбатову, хотелось дать понять мне, что найти свою струю, свой «кливаж»,— может быть, самое трудное для писателя. Но как ни трудно, а искать надо.

В его манере трудиться, искать, накапливать факты, во всем его облике было что-то горьковское, идущее от самой жизни.

В рабочем блокноте у него была рубрика: «Посмотреть, побеседовать».

Огромную роль в его творчестве играл процесс собирания живых фактов жизни, то, что мы обычно называем накоплением материала. Да и самое «накопление материала» у Горбатова протекало по-своему. Он должен был видеть, во что бы то ни стало видеть, то, о чем писал. Все, что испытывали и совершали герои его книг, должен был испытать и пережить человек, писавший эти книги.

Отлично выразил эту мысль — писатель и жизнь — в одном своем письме Павел Петрович Бажов: «Письменный стол никогда почву заменить не может».

Горбатов, которому сродни было бажовское страстное влечение к жизни, с веселой прямотой говорил:

— Что касается меня... то я только за письменным столом вспоминаю, что я писатель.— И решительно добавлял: — Я стараюсь забыть об этом, когда живу среди людей, хочу жить просто, как люди живут, не думая о том, как я потом опишу это облако или бородку этого человека, но невольно запоминая и это облако и эту бородку...

День за днем, порою даже незаметно и для самого писателя, пополнялись горбатовские «закрома». Память у него была замечательная. Он даже играл этой черточкой, озоровал: вот посмотрим, кто из нас лучше увидит, запомнит!

Кажется, это сказал Короленко: с годами утрачиваешь бескорыстную любознательность — и читаешь и наблюдаешь только нужное для работы, то, что знаешь, как использовать. Что до Горбатова, то он, как мне думается, обладал неиссякаемой «бескорыстной любознательностью».

Был такой случай.

Поехал я однажды со знакомым мне конструктором горных комбайнов на горловский завод — там выпускали опытную партию новых машин. Конструктор, веселый, насмешливый инженер, повел меня по главному пролету сборочного цеха. Потом спросил: что я заметил, на что обратил особенное внимание? К сожалению, мое ви́дение оказалось очень узким.

Вернулся я домой, на Гладковку, и конечно же рассказал Горбатову о том, что произошло со мною в главном пролете сборочного цеха. Об испытании на наблюдательность. Горбатов тотчас всполошился, по-мальчишески вспыхнул: поедем в Горловку! Он еле дождался утра, торопил: вставай, поехали! И потом всю дорогу в машине с задором говорил: «Ну-ну, попробуем и мы эту игру». И очень был доволен, что увидел больше моего, что его «цепкий» глаз захватил и подметил такие подробности, которые от меня, вторично пришедшего в этот цех, ускользнули...

Была у Горбатова какая-то своя, особенная манера овладевать собеседником. Он, казалось, не делал никаких усилий, чтобы расположить к себе,— люди сами тянулись к нему.

Он умел слушать, запоминать. И слушал с таким живым вниманием и со столь горячей заинтересованностью, что люди с радостью открывали ему свою ду-

шу. Забойщик ли это или горный инженер, партийный работник или домашняя хозяйка, профессор или зимовщик, боец или офицер, летчик или дипломат — все они, как мне думается, преотлично чувствовали себя с Горбатовым: так просто и непринужденно, горячо и внимательно он входил в интересы своего собеседника. Всем им он был земляк, товарищ! Это же все наши ребята, любил он говорить. Вчера еще они были комсомольцами.

«Я давно уже приметил,— писал он в романе «Донбасс»,— что историю любого моего современника надо теперь непременно начинать с его комсомольской юности: все начинали свою жизнь в комсомоле».

И в счет тридцати тысяч по комсомольской мобилизации он направляет в Донбасс Виктора Абросимова и Андрея Воронько. На трудное. На прорыв. И сам едет с ними, едет, как Бажанов, лирический рассказ которого в ткани романа является сжатой историей современника. И разве не отзываются в сердце читателя эти строки: «Ребята, ровесники мои, кто из вас не переживал этого гордого чувства: «Я мобилизован партией!» Мы ходили и в счет тысячи, и в счет двадцати пяти тысяч, и во флот, и в деревню, и в лес. Нас «бросали» и на хлеб, и на дрова, и на транспорт. У иного вся биография состоит из одних мобилизаций, и это биография нашей Родины, география ее магистральных дорог. Мы умели собирать сундучки быстро. Мы к любому климату приживались. Везде мы были свои».

Он любил говорить, что пишет только о том, что видит своими глазами, и при этом ссылался на старое артиллерийское правило: «Не вижу — не стреляю».

Шло лето пятидесятого года. У Горбатова горячая

пора работы над романом. Вот он подошел к главе, в которой по замыслу один из героев, Виктор Абросимов, ломает старый метод в добыче угля, создает новый, рожденный на крутых пластах Донбасса.

Горбатов долго бился над первой строкой, мучительно искал верный запев.

Сейчас его интересовала не логика фактов, а — психология фактов. И, само собою разумеется, все то живое и конкретное, что связано было с переходом на новый метод работы. Глава, казалось бы, ясная. Все отчетливо видно, хорошо знакомо. Но как он бился над этой главою, как мучительно искал наибольшей правдивости и художественной выразительности! Ведь он же сам в тридцать пятом, по живым следам стахановского события, спускался в лаву «Никанор-Восток» и написал о событиях одной ночи замечательный очерк. А теперь вот дело не ладилось, тускло писалось, как он выразился.

Я собирался поехать в Кадиевку по своим очерковым делам. Стал звать Горбатова. Но, несмотря на все мои уговоры, он отбивался и говорил, что и так хорошо напишет «эту проклятую главу». И тут я не выдержал и решил поддеть его:

— А как же знаменитое правило: «Не вижу — не стреляю»?

Он откинулся на спинку стула.

— А воображение? Будем надеяться, что пусть маленькое, но оно у меня имеется...

И вдруг встрепенулся, спросил, где работает сейчас Константин Петров, и, узнав, что в Кадиевке, тотчас стал собираться в поездку.

В Кадиевке Горбатов разыскал Константина Петро-

ва, того Петрова, который был парторгом шахты в тридцать пятом году, когда Стаханов шел на рекорд. И Горбатов буквально «атаковал» Петрова. Он уточнял подробности: как были одеты тогда шахтеры, какие захватили с собою лампы, каким им виделся угольный пласт. Подробности, подробности, подробности.

Но хотя эти весьма существенные детали и занимали Горбатова, но конечно же он стремился понять главное — внутреннюю суть явления, то, что можно назвать духом открытия.

Работал в Кадиевке секретарем горкома партии товарищ Костогрыз. Горбатов не отходил от Костогрыза ни на шаг. Вместе ездили в оранжерею, в питомники, в архитектурную мастерскую. Кажется, впервые за всю поездку Горбатов взял в руки карандаш, открыл записную книжку, стал подробно расспрашивать Костогрыза: с чего начали в Кадиевке, где брали первые саженцы для посадки, как научились использовать породу для дорожного покрытия, кто создал эскиз городских фонарей, кому пришла в голову мысль сломать бетонные заборы и посадить живые изгороди из кустарников и цветов. Одним словом, все, чем жила Кадиевка в ту пору и что волновало энергичного Костогрыза и его товарищей по городу, в свою очередь глубоко интересовало Горбатова.

А из Кадиевки мы поехали на родину Горбатова — в Варваರополье. Сейчас то старое селение называется Первомайск. Горбатов нашел свою родную улицу и свой родной дом.

Было их три брата Горбатовых. Отсюда, из этого одноэтажного домика, они вышли, три хлопчика, три брата — Боря, Володя, и самый младший, Миша,— вы-

шли на большую дорогу. Из Варварополья семья Горбатовых перебралась в Артемовск, ребята учились в школе, потом каждый выбрал свою тропку. Один — по комсомольской линии, это Володя, самый младший готовился быть педагогом, а старший, Борис,— в писатели.

Он, Борис, даже робел перед высоким, тонким в талии братишкой — Володькой Горбатовым, луганским секретарем комсомола... Робел и втайне восхищался им. И любил приезды Володи в Москву, на комсомольские съезды или конференции. Они тогда собирались в круг, веселые донецкие делегаты, приходившие в гости к Борису, и вихрем носились по комнате. Иногда, под самое утро, захватив с собою писателя Горбатова, они выходили из дома и, благо Ленинградское шоссе было под боком горбатовского дома, взявшись за руки, шли по аллеям — «навстречу солнцу».

Из троих братьев он один жив и стоит сейчас на улице у заросшего кудрявой травой деревянного забора, стоит у калитки с железным кольцом, стоит и, наверное, многое вспоминает.

Так получилось, что на двух войнах он был — на финской и в самой долгой и тяжелой Отечественной, воевал — и жив остался. Миша, младший брат, ушел из Запорожья с ополчением и сложил голову на земле Украины. Оборвалась и Володина жизнь!

Я все ждал, войдет ли Горбатов в свой старый дом.

Он взялся было за кольцо калитки, потом передумал и порога так и не переступил. Значит, не мог почему-то. Глаза его стали холодно-суровыми — я никогда не видел

его таким. Он молча постоял под окнами дома, потом, круто повернувшись, пошел к машине.

Мы вернулись домой на Гладковку, и Горбатов засел за работу, стал «вспахивать свое поле».

Он так и этак перекладывает слово, «берет» на слух, очки у него сбиты набок, он смотрит куда-то мимо меня в окно.

— Полстранички...— шепотом произносит Горбатов.— И знаешь, ей-богу, читается.

Глава, кажется, «завязалась».

Я спросил у Горбатова:

— Можно ставить клеймо «Р. Л.»?

Он засмеялся, покачал головою:

— Еще не дошло до кондиции, но — приближается.

(Тут нужно объяснить смысл этого шифра. «Р. Л.» — это резонансный лес. Когда-то в мирные годы Горбатов ходил с плотовщиками в верховья Куры. Плоту, на котором плыл Горбатов, было, как он рассказывал, «много тысячелетий». Самому молодому бревну — 150 лет, самому древнему — 350. Некоторые сосны шумели еще во времена Шамиля. На бревнах, отобранных специалистами, ставится клеймо «Р. Л.» — резонансный лес. Это музыкальный лес. Из него делают скрипки, виолончели, рояли.

Горбатов сам пустил в ход буквы «Р. Л.», обозначая этим шифром наиболее удавшиеся странички своей рукописи. Но надо заметить, что он был очень строг к себе, и клеймо из двух букв давал своей работе очень редко, а если иногда и давал, то опять же в свойственной ему веселой, шутливой манере.)

Одно время Горбатов не расставался со светло-зеленым томиком Ренара «Избранное».

В «Дневнике» Ренара есть такая весьма едкая запись: «Говорить курсивом».

Иногда, перечитывая написанное накануне, Горбатов с каким-то отчаянием в голосе говорил:

— Я, кажется, написал курсивом!

В «Нравах четы Филипп» Жюль Ренар рассказывает, как в его крае батраки нанимались — каждый по приметам своей профессии. Если у тебя на картузе клочок шерсти, это означает: «Нанимаюсь в пастухи». А кто идет в жнецы, у того изо рта торчит колосок ржи; возницы-батраки привешивают на шею кнут. Других работников узнавали по дубовому листу, птичьему перу, цветку или другой примете.

Глаза Горбатова щурятся в улыбке.

— Ну, а писателя, как писателя узнать на рынке труда?

Он бросился к своему столу, схватил карандаш, заложил за ухо:

— Вот знак моего ремесла!

И выпятил грудь колесом, прошелся валкой походкой по комнате. «Нанимаюсь в писатели!»

В другой раз он кулаком постучал в стенку моей комнаты — зайди, пожалуйста!

Горбатов потирал свою круглую, до блеска отполированную после бритья голову и, тихонько посмеиваясь, говорил быстрым, чуть хриплым шепотком:

— Ты только послушай!

Томик Ренара лежал перед ним на столе. Сдвинув

очки на лоб и смеясь одними глазами, Горбатов стал вслух читать:

— «Всем современным писателям следовало бы запретить под угрозой штрафа или даже тюрьмы заимствовать сравнения из мифологии: говорить об арфах, лирах, музах, лебедях. Аисты, на худой конец, пусть остаются».

Он засунул томик в обширный карман брюк и, шагая по комнате, сказал:

— А что следует запретить нашим, современным писателям? О-о, столько, что, боюсь, они бы из кутузки не вылазили...

Запись Ренара повернула мысли Горбатова к тому, что так занимало его самого. Вот я пишу роман о Донбассе, мои ребята, Виктор и Андрей, работают в шахте, добывают уголь, тревожатся, страдают, любят. И не только они — Виктор и Андрей, но и Даша, и ее подруги, живущие в шахтерском поселке, зависят от этой добычи, от лавы, от забоя, от угольного пласта, который простирается на десятки и сотни верст под землей... Да, но как сделать близким, свободным, без натуги и скрипа, живущим, действующим в романе и отбойный молоток, и горный комбайн, и электровоз, одним словом, все те вещи, которые окружают человека в горном труде... Литература долго привыкала к обушку. Какое ласковое слово «обушок»! И руки забойщика сразу видишь, руки, охватывающие этот простой, немудрящий инструмент. А горный комбайн, который только-только начинает входить в жизнь,— ему ведь надо открыть дорогу и в литературе... Разумеется, через человека.

Этот разговор у нас был днем, а поздно ночью Гор-

батов приоткрыл дверь в мою комнату, покашлял коротким кашлем.

Он забрался с ногами на диван.

Я засмеялся:

— Ренар?

— Ты только послушай, что говорит этот чудесный француз... Хорошо бы, говорит, написать любовную идиллию двух металлов. Сперва они пассивны и холодны в руках сводника-ученого, затем, под действием огня, они сплавляются, становятся тождественны друг другу, в совершенном слиянии, какого никогда не узнает самая яростная любовь. Один уже сдает, уже начинает таять, расплавляясь беловатыми потрескивающими каплями... Одним словом, идет плавка металла!

Горбатов напоминает:

— Ренар сделал эту запись в дневнике в апреле 1890 года. Век девятнадцатый. Металл, энергия света только входили по-настоящему в жизнь, им нужно было дать дорогу, оттеснив арфы, лиры и даже аистов.

Было время, когда у нас иные писатели с огромным наслаждением загромождали страницы книг прокатными станами, бетономешалками, блюмингами, мартенами; человечней от этого книги не стали, но писателям, наверно, казалось, что Магнитка и Краматорка, Днепрострой и Хибины смотрят со страниц наших книг. Приметы времени, так сказать...

— И я,— сердито продолжает Горбатов,— и я когда-то мечтал: как это заманчиво — изобразить движение металла! «Есть красота постепенного превращения холодной, мертвой руды в отличную сизую рельсу».

Он оживает.

— А ведь Алексея Максимовича тоже, брат, вол-

новало: как наилучшим образом освоить мир новых, рожденных жизнью понятий?

Забойщик с шахты «Кочегарка» Никита Изотов рассказывал Горбатову об одной своей беседе с Горьким. И что удивило и обрадовало забойщика: Горький проявил живейший интерес к горному труду, он требовал от Изотова подробностей и даже листок пододвинул: нарисуйте забой, покажите, как залегают пласты, как действует воздушная струя, как, товарищ, работается на отбойном молотке...

Горбатов улыбнулся — вспомнилось, как Фадеев однажды подбивал на спор: кто лучше опишет динасовый свод мартеновской печи...

КОМСА — ЭТО МОЛОДОСТЬ!

15 июля 1950 года в поселке Гладковка, в деревянном домике, который выходил окнами на заросшую травой улицу Байдукова, мы весело праздновали день рождения Бориса Горбатова. Ему исполнилось сорок два года. «Не больше, но и не меньше»,— говорил он с шутливой и в то же время с грустной улыбкой.

Горбатов в этот день занялся «внутренней приборкой». Что сделано за четыре с лишним десятилетия, в чем, так сказать, видна недохватка, и самое главное — что впереди? Где клубится моя новая дорога?.. Он вдруг стал вспоминать: просто удивительно! — день рождения он всегда или почти всегда встречает в пути — то на фронте, а в мирное время на стройках, на заводах, в командировке,— одним словом, в дороге.

В дневнике, который он вел на Диксоне, есть такая запись: «День моего рождения я всегда провожу в до-

роге. Это не традиция, это — случайность. Но это всегда бывает так». Он размышлял тогда над листом бумаги, куда же бросала его судьба в пятнадцатый день июля. В двадцать восьмом году утро 15 июля застало его в Астрахани. У него в кармане было всего-навсего шесть гривенников. С ними он сошел с парохода. И с легким чемоданом. Он вез рукопись своей первой повести «Ячейка». Над нею он работал в пути и хотел было с этой рукописью пойти в губкомол или в редакцию газеты одолжить денег, но застыдился и пошел закладывать часы, подарок брата Володи. Итак, в тот день ему исполнилось двадцать лет.

А два года спустя, 15 июля 1930 года, он провел в пограничном городке Хуло, на турецкой границе. Он хорошо запомнил этот день — день своего рождения. («Я помню день рождения, который застал меня в горах на турецкой границе, в походе. Я тонул предварительно в горном потоке и, промокший, голодный, шел по скалистой тропинке, волоча за собою хромающую лошадь. Мы представляли жалкое зрелище — лошадь и я... Подскочил комиссар: «В чем дело, Горбатов?» Я зло объяснил, добавив, что, пока мою лошадь не устроят, я никуда не уйду. Это было нарушением дисциплины, но я был зол и прав. Лошадь не должна страдать из-за того, что помначштаба — штабная крыса. Мою лошадь устроили немедленно. Я сам свел ее к коновязи штаба, сам накормил и напоил, сводил к ветеринару и, наконец, устроил на ночь. Затем я пошел заботиться о себе... Тогда-то я вспомнил, что сегодня именинник. Мы взяли солдатские галеты, пили чай, приветствовали день рождения, нашу походную жизнь и молодость».)

Четыре года спустя он встретил день рождения в полете. Летел в Свердловск. Была вынужденная посадка, и самолет сел прямо в рожь, потом снова поднялись и буквально на пределе дотянули до аэродрома.

И вот нынче, в тысяча девятьсот пятидесятом году, кажется, впервые за много лет он встретил день рождения дома. Дома — это значит в Донбассе. Встретил с радостями и печалями, с новыми планами и новыми надеждами, встретил на земле, которая с самого первого дня рождения была так близка и дорога ему...

Чудесный подарок был Горбатову от друзей-шахтеров — на рассвете привезли с дальнего озера полмешка раков. Горбатов босой стоял на крыльце, принимал из рук шахтеров мокрый мешок и восхищенно выкрикивал: «Вот это дóбыч!»

Потом во дворе, в маленькой кухоньке, в большом чугуне варили раков, Горбатов сам за всем смотрел, добавлял в котел нужные специи и радовался, как ребенок. Холодное пиво и раки — что может быть лучше на белом свете!

Вечером в окно просунулась седоватая голова.

— А дэ та добра людына, що тут працюе?

Старый любитель поэзии, так отрекомендовался шахтер, принес выцветший газетный лист со стихами. Автор стихов — Горбатов. Шахтер все допытывался: «Не твои ли, Борис Леонтьевич?.. Дерзко-певучие...» Горбатов почему-то покраснел и, близоруко щурясь, стал читать стихи с ветхого от времени газетного листа:

Плуг и молот!..
Дух мой молод...
Жизнь я строю,
Я — живу!!!

Прочел, удивленно сказал:

— Ты гляди, стихи... «Я — живу!!!» Три восклицательных знака.

И решительно вернул газетку со стишками.

— То другой Горбатов,— сказал он шахтеру.— Был такой на Краматорке. Слесаришко кудлатый...

Старик огорчился — он-то думал, что набрел на автора таких замечательных стихов! Горбатову даже стало его жаль: «Эх, напрасно я открестился от стишков. Стишки как стишки, соответствующие возрасту, настроению и даже эпохе». Горбатов потихоньку стал напевать их: «Жизнь я строю, я — живу!!!»

Шахтер внимательно посмотрел на Горбатова, в его глазах заиграла хитрая улыбка, он шепотом спросил:

— А лозунг кто писал? «Комса — это молодость! А я, братики, за молодость! За солнце!»

— То я писал,— помолчав, тихо ответил Горбатов.— То я за солнце!

Его порою упрекали в мягкости, в излишней доверчивости к людям. Он со смехом слушал одну историю, как один человек, получив от Горбатова записку с десятком слов: «Я этого товарища знаю по Донбассу... Помогите ему...» — потом в течение многих лет активно пускал в ход горбатовскую записку, подклеенную уже на плотный лист бумаги.

Но этим его нельзя было смутить, что кто-то мог его подвести. Он в таких случаях отмахивался и весело спрашивал: «А вам, сударь, такое слово знакомо: добро (короткая пауза) желательство?»

И даже развивал целую теорию, самодельную, как он говорил, что̀ будет на нашей земле, если каждый —

понимаете, каждый! — постарается быть к людям доброжелательным...

И к Далю обратился: «Доброжелатель — желающий кому добра, доброхот, добродей, благожелатель».

Кто-то из товарищей подарил Горбатову ко дню рождения одну неожиданно заинтересовавшую его старую книгу. Горбатов носился с книгой этой по дому, покашливал, лукаво поглядывал и, будто невзначай, невинным голосом говорил:

— В этой, братцы, книженции рассказывается про одного из нашего рода Горбатовых... про Сергея Борисовича Горбатова... Надо вам сказать, что по преданиям и по дошедшей до нас в Варваронолье семейной хронике у этого Горбатова было прозвище «Вольтерьянец»!

И, вскинув очки на лоб, задыхаясь от еле сдерживаемого смеха, Горбатов со вкусом читал из «старой книженции»:

«Ненастное петербургское утро озаряет своим бледным светом обширную комнату. Чистый окладной сентябрьский дождик стучит в окна... По комнате взад и вперед, медленным шагом, бродит человек небольшого роста, стройный и крепко сложенный... Он еще молод, самое большее ему тридцать лет. Бледное, тонко очерченное лицо его чрезвычайно красиво. На этом лице лежит постоянно тень не то тоски, не то скуки и придает ему утомленное, рассеянное выражение. Этот молодой человек и есть возвратившийся на родину изгнанник — Сергей Борисович Горбатов...

Он опять здесь, в своем петербургском доме, и кажется ему, что все это было так недавно, когда он, перед своим отъездом в Париж, вошел в последний раз в эту

комнату и запер на ключ бюро... это было летом 1789 года. Он уезжал розовым красавцем юношей, едва окунувшимся в водоворот столичной жизни, едва испытавшим и первые успехи и первые разочарования... Аудиенция у государыни. Он как теперь слышит тихий голос Екатерины:

> Я намерена возложить на вас такое поручение, какое могу дать только человеку, в способностях коего, скромности и разумности вполне уверена. Я получила очень серьезные депеши, и мой ответ должен заключать в себе подробную программу дальнейшего способа наших действий относительно Франции».

Горбатов из Варварополья читал роман Вс. С. Соловьева «Сергей Горбатов» — хроника четырех поколений, роман конца XVIII века.

ИНСПЕКТОР ПЕЧАТИ

В воскресенье к нам во двор заглянул высокий русоволосый человек в сатиновой рубашке-косоворотке. На его широком лице блуждает хмельная улыбка.

— Здесь живет инспектор печати Горбатов?

— Здесь-здесь! — сказал Горбатов, которому очень понравилось это новое для него звание. — Я самый и есть...

Горняк тяжело опустился на провисшую под ним деревянную лавочку. Сел и сказал: «Закурить есть?» Жадно затянулся и, щуря глаз от папиросного дыма, спросил Горбатова:

— Вы, говорят, романы пишете? — И сразу же стал

просить: — Напиши, инспектор, с меня роман... за мою жизнь, за мои душевные страдания.

Горбатов охотно согласился.

— Что ж, можно,— сказал он.

Но тут подошла молодая женщина, стала звать русоволосого домой. Они двинулись по улице с песней; горняк шел, чуть шатаясь, опираясь о плечо женщины.

Колы разлучаются двое,
За руки берутся воны...

Горбатов вскочил со скамейки, вышел на дорогу и медленно, точно завороженный, зашагал за этой парой, которая вскоре скрылась в таком же, как и наш, стандартном доме. В доме том гуляли. Слышался грохот бешеной пляски, от которой, казалось, ходуном ходил весь домик с его раскрытыми окнами, с его шиферной крышей, крыльцом, с его столами со звенящей посудой...

Он чем-то напоминал нам, этот русоволосый шахтер, Никиту Изотова — такой же громадный, такой же веселый, такой же размашистый.

— Какая это была колоритнейшая фигура! — сказал Горбатов и заулыбался, будто что вспомнил.— «Никита-Никифор»... Помнишь?

Об этой нашумевшей в тридцатых годах истории у нас в редакции не очень-то любили говорить. Потом, правда, притупилась острота, и все уже с улыбкой вспоминали эту чисто газетную историю. Поехала однажды в Донбасс бригада корреспондентов; один из корреспондентов, Сеня Гершберг, спустился в забой шахты «Кочегарка»: по дошедшим до Москвы слухам, там один забойщик чудеса творил со своим обушком. Наш товарищ провел с ним в забое всю смену, смотрел,

запоминал, затем поднялся с забойщиком на поверхность, вместе пошли в баню, помылись, посидели в холодке у шахты. Потом пошли домой к забойщику, и жена поставила на стол гостю и мужу добрый шахтерский борщ, жареное мясо, водку, настоянную на какой-то особой целебной траве. От нее, говорил хозяин, шахтеру дышать легко! Здесь интервью продолжалось, и наш специальный корреспондент записал рассказ хозяина, фамилия которого была Изотов. Рассказ был напечатан в газете под заголовком «Мой метод». Накануне спросили у Сени имя забойщика. И тут он смутился: кажется, Никита... Ну да, Никита! Жена, так помнилось ему, называла забойщика Никишей. В газете под статьей поставили: «Никита Изотов».

И пошло гулять по всей стране это имя. А через некоторое время Изотов приехал в Москву и встретился с Серго Орджоникидзе.

Серго обеими руками взял руку забойщика и залюбовался могучей изотовской фигурой:

— Вот он какой, товарищ Никита!..

Изотов, смеясь, сказал:

— А ведь меня, товарищ Серго, звать Никифор.

— Никифор? — удивился Серго и даже огорчился.

— Ну да, Никифор,— повторил забойщик.— А по газете вышло — Никита.

— Эх, жаль! — вырвалось у Серго. И, приблизив свое крупное лицо к Изотову, он звучным шепотом сказал: — Хотите знать мое мнение? Славное имя — Никита.

— Да я и сам уже привык к Никите,— сказал Изотов с хитрецой.— И почта на Донбасс пошла: Никита и Никита.

В больших, чуть выпуклых, блестящих глазах Серго

при этих словах горловского забойщика вдруг вспыхнула веселая улыбка. Он хлопнул Изотова по широкой ладони и сказал:

— Значит, по рукам... Как в газете. Никита!

РОМАНТИКА СТАРЫХ ГАЗЕТ

Горбатов задумал освободить у себя дома нижние полки в книжном шкафу и решительно взялся за связку старых бумаг и газет; стоя на коленях, он перебирал хрупкие, порыжевшие страницы газетного комплекта.

На потускневшей фотографии изображен был Капитолий: у стен правительственного здания Соединенных Штатов Америки вповалку спали ветераны первой мировой войны. Они ютились в палатках в лагере близ Вашингтона. Доведенные до отчаяния, ветераны начали «марш смерти».

Стоя на коленях и держа в руках старый газетный лист, Горбатов читал вслух описание этого страшного марша смерти. Шесть дней подряд несколько тысяч ветеранов в походном порядке маршировали вокруг Капитолия; к вечеру ветераны падали от усталости тут же, на площади,— вот снимок! — и, окруженные отрядами полиции, спали до рассвета, чтобы с зарею снова подняться и снова маршировать, в каком-то заклятом кругу, вокруг Капитолия. Живой круг маршировавших ветеранов, сжимавший Капитолий, правительство решило прорвать пулеметами. Пехота, кавалерия, танки, пулеметы, удушливые газы — все было пущено в ход против ветеранов. Их выкуривали огнем и удушливыми газами, бронемашины утюжили палатки ветеранов...

Горбатов как бы ушел в себя, смотрел хмуро, бе-

режно разглаживал старые, измятые газетные листы, веером раскладывал их на полу.

Вот он молча протянул мне одну газетину тридцать четвертого года.

С газетного листа смотрел грузный человек в распахнутом пальто, в башмаках с высокими голенищами на шнуровке; человек стоял, слегка опустив голову, опираясь спиной о стену, в руке он держал какие-то свернутые в трубку бумаги.

Это был руководитель австрийских шуцбундовцев Коломан Валлиш. Статья так и называлась: «Последние минуты Коломана Валлиша». В камеру Валлиша пришла проститься его жена Паула: в дни сражений она была с ним рядом на линии огня. И пожелала быть с ним в эти последние минуты его жизни. Пришел и ее брат — он примчался из Марибора на последнее свидание с Валлишем. Паула и ее брат заплакали, и Валлиш, так писала газета, «желая положить конец этой грустной сцене, ударил себя по коленке и сказал, смеясь: «Ничего не понимаю! Кто же, в конце концов, должен умереть — вы или я?» Ему задали традиционный вопрос: какова его последняя воля? Он попросил стакан вина и газету. И еще одно последнее желание: больше десяти лет он жил и боролся среди рабочих, и сейчас он хотел бы повидать кого-нибудь из них. К нему привели троих заключенных, молодых, отважных рабочих, боровшихся вместе с ним. Он радостно встретил их, пожал им руки и сказал: «Всегда оставайтесь храбрыми пролетариями. Время нашей победы недалеко!»

Мы передавали друг другу старые газеты, всматривались в тусклые фотографии, перечитывали телеграфные корреспонденции из Кантона, из Америки...

На полях одной газеты синим карандашом рукою Горбатова было выведено: «Есть на свете люди!»

Складывая аккуратно газеты, Горбатов тихо сказал:

— Это и я с солдатами-ветеранами ходил в поход на Вашингтон, пикетировал Белый Дом... В Вене с шуцбундовцами строил баррикады, с Коломаном Валлищем ушел сражаться в горы...

ТЕКСТ К ОДНОМУ ФИЛЬМУ

Мне послышался за дверью горбатовский голос — он, кажется, с кем-то негромко говорил.

Я остановился на пороге. Горбатов знаком позвал: входи! И снова продолжал что-то шепотом говорить, разглядывая лежавшие на столе фотографии.

В накинутом на плечи кителе он кружит по комнате, иногда остановится у стола, возьмет фотографию, внимательно всмотрится в нее и снова тихо заговорит о чем-то своем.

Он в этот день работал над текстом документальной картины «Суд народов», сделанной Р. Карменом по материалам Нюрнбергского процесса.

Помню, когда я позже смотрел этот фильм, меня поразила удивительная слитность горбатовских слов со всей картиной в целом и с каждым кинокадром в отдельности. Это был не просто текст к картине, а глубокий философский разговор — о фашизме и о тех людях, которых судили судом народов, суровый разговор о войне с фашизмом и о тех человеконенавистнических идеях, которые вынашивали вот эти самые господа, сейчас затаившиеся в страхе перед возмездием, смирно сидевшие на скамье подсудимых идеологи фашизма.

Горбатов говорил себе, своему товарищу, всему человечеству: вглядитесь в их лица, запомните их жесты,— здесь на широкой скамье сидят человеконенавистники... Смотрите, вот Геринг! Этому тучному, рыхлому господину с бегающими глазами сейчас зябко, холодно! Смотрите, с какой аккуратностью он укрывает свои толстые ноги шерстяным пледом... А теперь вглядитесь в него и в его друзей — фашистов, какими они были в пору своей власти, в те дни, когда они жгли костры из книг, маршировали гусиным шагом, поджигали рейхстаг, уничтожали города и села, склонялись над военными картами, чертили схемы операций, планы закабаления народов...

Горбатов разглядывал фотографии этих нелюдей, сидевших на скамье подсудимых. Громадный, расплывшийся, точно квашня, Геринг, со взглядом исподлобья. Розенберг с поджатыми губами. Чистенький, прилизанный Риббентроп, нервными движениями пальцев потирающий щеку. И рядом — с бюргерским мясистым лицом фашист-делец, на нем очки без оправы, за ними прячутся острые, злобой и ужасом объятые глаза...

Горбатов работал над текстом. Все дороги войны встали перед ним, все концлагеря, виденные в войну, все сожженные шахты и заводы, города, и порубанные сады, и загубленные жизни. Печи Майданека, «печи дьявола», вставали перед ним. Освенцим, Треблинка...

Горбатов негромко произносит слова текста. Никакого злорадства. Идет суд народов, и слова должны быть точными, ясными, весомыми. Он был сдержанно яростным, когда произносил слова текста, которые должны сопровождать эти страшные кинокадры из «Суда народов».

Как много надо писателю знать!
Горбатов заносит в записную книжку:

Поговорить, посмотреть.

Новая машина проходческая на шахте «17/17 бис».
Проходка ствола.
Закладка шахты.
Работа механика участка.
Маркшейдер на новой шахте.
Врач шахты.
Секретарь горкома.
Механик комбината.
Конструктор Хорин.
Профессор Гейер.
Эвакуация из Донбасса.
Материалы по истории откачки шахт от воды.
Горноспасатели.
НИИ (научно-исследовательский институт горного дела в Макеевке).
Мариуполь — музей.
Хомутовская степь.

Этот свой план он настойчиво выполнял. На листе Горбатова после каждого задания стоит отметка: сделано.

Он ведь любил крутое, как он говорил, слово «должен». Он должен изучить работу проходчиков, работу органщиков, работу врубмашинистов, водоотлив, кочегарку, все закоулки шахты.

Может быть, по ходу романа ему, Горбатову, и не придется описывать шахтера-органщика, но знать профессию смелого и бесстрашного шахтера, ставящего в лаве органную крепь, писателю необходимо. Когда он выложит в романе это слово «органщик», оно будет на месте, там и только там, где ему надлежит быть. Ему, писателю Горбатову, очень важно встретиться с донецким профессором Гейером — ученый поможет ему лучше охватить картину, понять, как откачивали шахты после освобождения Донбасса от немецкой оккупации. Какие работали механизмы. Темпы работы. Ему, пишущему роман «Донбасс», очень важно встретиться с начальником комбината, чтобы услышать от него подробный рассказ, с чего начали восстановительные работы. Надо уловить масштаб работ! Если мы вместе с Горьким считаем, что основным героем наших книг должен стать труд, то отсюда писательская задача: отлично знать горный труд и людей, творящих этот труд. Знать не вообще, не приблизительно, а с наибольшей точностью,— зная точно и глубоко, лучше постигнешь дух, поэзию шахтерского труда.

В одной книге, посвященной проблемам психологии труда, его заинтересовал раздел профессиография. За этим стоит: изучение, раскрытие психологической сущности труда и психологическое описание каждого определенного вида трудовой деятельности.

Для того чтобы написать профессиограмму, дать психологический анализ профессии — так было сказано в книге,— надо знать об этой профессии значительно больше, чем будет написано.

Горбатову это научное положение было очень по душе.

— В сущности, вот наша профессиограмма! — Он хлопнул ладонью по листочкам рукописи.— Надо знать о людях, с которыми нас сталкивает жизнь, значительно больше, чем потом будет написано...

Он хотел видеть своими глазами: как делают разметку новой шахты, как бьют шурфы, как проходят ствол, как выбирают породу, как выстукивают грудь забоя, как ищут нужную струю...

А сил уже значительно меньше — сдает сердце, с годами Горбатов стал более грузным, даже утренние походы в степь он совершал с большим трудом.

Но в шахту он все-таки однажды спустился — хотел увидеть комбайн в лаве. Он хорошо знал обушок, отбойный молоток — сам когда-то работал с отбойным,— а теперь на горный комбайн надо взглянуть.

Ему нечего было стыдиться своей слабости, — все знали, как ему тяжело идти в шахту. Условились, что он только спустится в клети до нижнего горизонта и чуть покрутится по штреку, где можно стоять во весь рост и где потоки воздуха скрещиваются и человеку можно дышать полной грудью. Но, разумеется, он не выдержал и уговорил своего друга, горного техника, пойти дальше и дальше по штреку, прижимаясь к каменной стене, пропуская мимо себя бешено мчавшиеся электровозы с вагончиками, полными угля.

Но опять же, штрек это не лава, не забой, а он хотел рукой провести по шершавой груди забоя и, приблизив лампу, направляя пучок света, выхватить из темноты искрящиеся глыбы угля.

Тучный, задыхающийся, с лицом, залитым черным от угля пóтом, в брезентовой робе, с раскачивающейся на груди лампой-шахтеркой, согнувшись, он медленно

пополз по лаве, потом, прижавшись спиной к пахнущей сосной деревянной стойке, смотрел на идущий сверху вниз по лентам конвейера уголь; потом, выбравшись из лавы, снова шагал, чуть пригнувшись, с силой отрывал вентиляционную дверь, подставлял лицо и распахнутую грудь острой, свежей струе воздуха, который мощными потоками, казалось, гнали из-под самого солнца, сюда на подземные горизонты.

Он вслушивался в шорохи осыпающегося угля, в тихое потрескивание крепежных стоек, он всей грудью вдыхал в себя острые запахи — угля, ржавой воды, гниющего дерева...

Он шагнул к клети и попал под струю подземной воды, отряхнулся, засмеялся. И стволовая, стоявшая у подъемной клети, мокрая, веселая, бойкая дивчина в дождевике с капюшоном, сказала ему, смеясь, что она прокатит писателя лихо, «с ветерком», так, чтобы он навсегда запомнил, как в шахту спускаются.

Потом он долго лежал в тени явора на траве, раскинув руки, забирая запекшимся ртом земной воздух. На траве рядом с ним лежали фибролитовая каска, выключенная аккумуляторка, у него не было сил сбросить с себя брезентовую куртку, он только распахнул ее и рванул на себе рубаху, чтобы легче дышалось.

Это было его прощание с шахтой; больше он уже не в силах будет спускаться в забой. И он это прекрасно понимал: последняя встреча с забоем.

Он улыбался через силу, улыбался робкой улыбкой, стыдясь этой своей жалкой немощи, приложив руку к груди, говорил, хватая ртом воздух:

— Понимаешь, в инструментальном ящичке у ме-

ня все поизносилось. Я, брат, пойду в капитальный ремонт. Починят — и опять Горбатов живой...

Он снял очки, пучком травы вытер черное лицо, потом долго сидел на земле, опираясь на раскинутые руки, и, закинув голову, смотрел на иссиня-светлое небо.

— Кровля, кровля какая высокая!

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Было что-то бесконечно милое, доброе, обаятельное во всем его облике. Как тянулись к нему люди! И как он сам всегда жаждал быть с людьми. А когда приходил донбассовец, то радовался особенно. «Ну как там, на «Кочегарке», жизнь, а? А небо, небо сейчас какое в Донбассе?»

Он всей душой рвался туда, он весь жил темой будущего. Темой Большого Донбасса.

В 1951 году, настойчиво выполняя свой план — «посмотреть, побеседовать», он забрался со строителями и маркшейдером в донецкую степь на закладку шахты. («Был пустынный уголок донецкой земли, скошенная трава и колышек. И над этим колышком мы все и склонились. Инженер-строитель, маркшейдер, двое рабочих и я...»)

Он задыхался при ходьбе, он уже не мог, как раньше, долгие часы работать за столом. И все-таки он изо всех сил старался работать, работать, работать. Пусть это будет одно слово. А если строчка, то это просто здорово. А если полстранички, то это совсем хорошо. Значит, есть, есть порох в пороховницах!

Кто-то при мне спросил его, что-де он поделывает,

над чем работает. Горбатов скороговоркой ответил: «Лошадей выдаю на-гора́. Просто замучился...»

Глава эта так и была записана в его рабочей тетради: «Выдача лошадей».

Его изобразительная сила обогащалась новыми живыми красками. Он мучительно долго вырабатывал эту новую, очень точную и очень тонкую манеру письма. Обычно он любил читать отрывки, целые главы, а тут, работая над главой, записанной у него в плане — «Выдача лошадей», он долго таился от всех, никому ее не читая и не показывая. И только когда сам укрепился в мысли — что-то найдено! — стал давать ее читать своим товарищам. Он и мне читал эту главу, как читал ее вслух и другим своим друзьям.

Было это зимой, в Москве.

Горбатов сидел на кровати и разглядывал лежавшие у его ног старые солдатские сапоги с поникшими голенищами.

Он смутился, потом с какой-то грустно-веселой усмешкой сказал, обведя рукою военное обмундирование: «Постарело, усохло, скукожилось...»

Да, он попробовал надеть военный китель — трещит в плечах, стал натягивать сапоги — не налезают. Можно подумать, что прошли десятилетия после войны... А между тем еще не набралось и семи лет с того дня, как в Берлине, в замке Карлсхорст, был подписан акт о капитуляции фашистской Германии, и он, военный корреспондент «Правды», видел и описал эти исторические минуты.

Курить ему было запрещено, он потягивал пустую трубку, от которой все-таки шел чудесный табачный запах. И за это, как говорится, спасибо.

Он прошел к себе в кабинет за рукописью. Дверь из столовой была настежь открыта. Горбатов стоял у окна и, держа перед собою блокнот, шепотом читал с листа. Увидев меня, он смущенно забормотал:

— Пробую на слух. Знаешь, кажется, читается...

Он волновался и, посмеиваясь над собой, тревожно покашливая, хриплым голосом начал читать эту последнюю в его жизни главу из «Донбасса». Читал и, тревожно кося глазом, спрашивал: «Будем дальше слушать? Или лучше будем водку пить, а?»

И как же он счастлив был, читая эту главу! Он и сам чувствовал, что глава вышла, что он, кажется, нашел себя.

И он продолжал читать, читал быстро, сбивчиво, стараясь справиться с волнением, охватившим его. Вот он подошел к тем строкам песни, которую поют коногоны; осевшим голосом Горбатов запел эту песню:

Прощай, проходка коренна-а-ая!..
Прощайте, Запад и Восток!
И ты, Маруся, лампова-а-ая,
И ты, буланый мой конек!

И хотя в самой главе, по его же словам, коногоны пели эту старую песню равнодушно и даже чуть-чуть насмешливо, сам автор пел ее протяжно, с грустью, даже «со слезой».

Он вдруг схватил коробок спичек, спички ломались в его непослушных пальцах, тогда он, рывком сняв очки, сказал сердитым тоном: «Эх, закурить бы!»

— Режим! — почти выкрикнул он с грустью. И, оглянувшись на дверь, подмигнув мне, отпил из кружки пива, нацелился на тарань, но, вздохнув, решительно отодвинул ее.— Режим! — свирепо сказал он.

* * *

Нынешней осенью я поехал на шахту, которую по-старому звали «Наклонной веткой». По дороге на «Ветку» я задержался в поселке Гладковка — том самом, где два лета подряд мы жили в одном из домиков с Борисом Горбатовым. Он трудился тогда над романом «Донбасс». Вблизи от нашего жилья высились серые, будто обугленные, горы породы, и я хорошо помню, как Горбатов, забравшись в заросли молодой посадки, мог часами смотреть на высокие копры и широкое небо, жадно вбирая родной донецкий пейзаж...

Потянуло меня на улицу Байдукова. Маленький двор весь засыпан светло-оранжевой листвой: молодые тополя сбрасывают первые по осени листья. Они шуршат под ногами, шальным ветром их носит по вскопанной земле.

В тот же день в музее я увидел фотографию Никиты Изотова, — имя его, ударника первой пятилетки, когда-то гремело на весь Донбасс. Пика изотовского отбойного молотка крушила глыбы угля пласта «Мазурка», что на шахте «Кочегарка». Вот лежат его старые, крепкие сапоги, в которых Изотов, бывало, лазил по крутым уступам; вот и шапка его, припорошенная углем, и гармонь, на которой Изотов играл то веселые, то грустные шахтерские песни. И рядом с фотографией и вещами Изотова — рабочий стол Бориса Горбатова. Чернильница, простая школьная ручка и несколько страниц рукописи романа «Донбасс»:

> И он [Виктор] с восторгом глядел на шахтеров... Они шли по поселку, нисколько не стесняясь того, что грязные и чумазые, а даже гордясь этим. Это

уголь — а не грязь — лежал на их лицах, благородный уголь, самое чистое, что есть на свете: шахтер даже раны заживляет углем. В этом угле они рубились весь день, дышали им, жили им, давали на-гора́ — все для вас, люди на поверхности, чтобы вам теплее жилось на холодной, неуютной земле.

Я захватил с собою в дорогу светло-зеленый томик Ренара. Одно лето руки Горбатова листали страницы этой книги; на узких полях «Дневника» есть легкие карандашные пометки Горбатова.

На 31-й странице — две строки привлекли его внимание.

«Говорят: «Всматривайтесь в жизнь».

А я смотрю на живых людей».

Есть у Горбатова среди рассказов военных лет один очень короткий,— «Власть» называется. О комиссаре батальона, которого еще в юные годы друзья в шутку прозвали профессиональным революционером. Пионервожатый — в школе, потом вожак комсомольцев — в горпромуче, потом партийный вожак — на шахте.

Комиссар батальона, он обладал горячим сердцем: «...вот и все, что он имел».

Как и у его героев, жизнь Горбатова складывалась так, что он всегда попадал в самую гущу борьбы.

«Я знаю,— писал он,— мне жить, мне работать, мне умирать в коллективе. Я не умею иначе».

Так он жил. Так работал. Не щадя себя.

Он не умел иначе.

СОДЕРЖАНИЕ

Галин Борис Абрамович

ВРЕМЯ ДАЛЕКОЕ — ТОВАРИЩИ БЛИЗКИЕ

М., «Советский пнсатель», 1970, 392 стр. Плаи выпуска 1970 г. № 81. Редактор Г. Э. Виннннкова. Худож. редактор Е. Ф. Капустин. Техи. редактор Т. С. Ступннкова. Корректоры С. Б. Блауштейн н Л. И. Жнроикина. Сдано в набор 25/XII 1969 г. Подпнсано к печатн 27/III 1970 г. А 01266. Бумага $70\times108^{1}/_{32}$ № 1. Печ. л. $12^{1}/_{4}$+1 л. вкл. (18,55). Уч.-нзд. л. 16,79. Тнраж 100.000 экз. Заказ № 21. Цеиа 87 коп. Издательство «Советскнй пнсатель». Москва К-9, Б. Гнездннковскнй пер., 10. Тульская тнпографня Главполнграфпрома Комнтета по печатн при Совете Министров СССР, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.



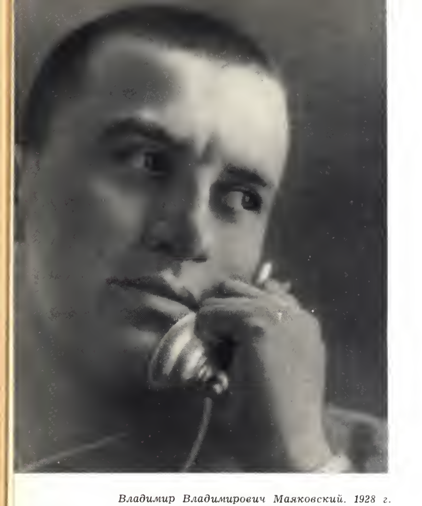
Яков Ильин, редакция «Правды». 1930 г.

В обеденный перерыв у фабзайчат завода «Красная Пресня» (слева юный слесарь Я. Ильин). 1924 г.



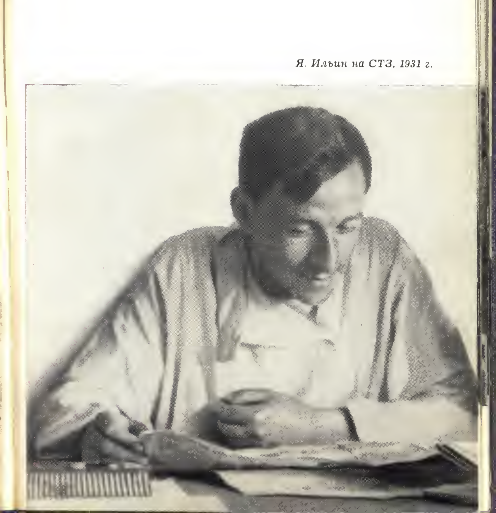


Комсомольцы Сергиевского укома РЛКСМ. 1925 г.



Владимир Владимирович Маяковский. 1928 г.

Я. Ильин на СТЗ. 1931 г.





Алексей Максимович Горький у рабочих завода АМО. 1928 г. Рядом с А. М. Горьким — директор завода И. А. Лихачев.

Анатолий Васильевич Луначарский у первого трактора СТЗ. Москва, 1930 г.

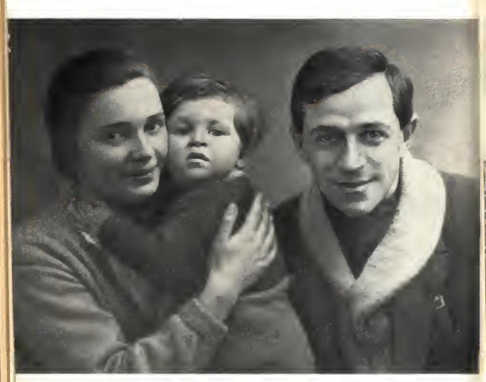




Александр Косарев

Митинг в честь закладки Тракторного завода в Сталинграде. 1926 г.





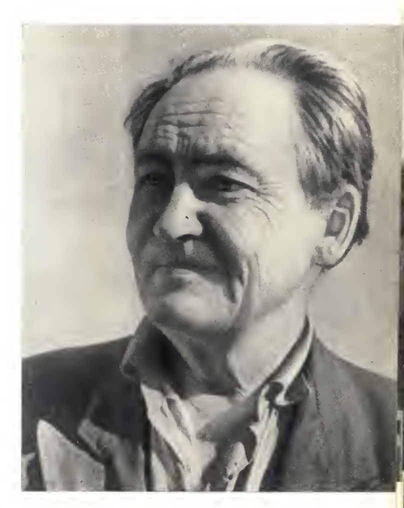
Анна Северьянова и Яков Ильин с дочкой Галей.

А. М. Горький, Ромен Роллан и А. Косарев на встрече с девушками-парашютистками. 1935 г.





Первый трактор СТЗ, доставленный в Москву к XVI съезду ВКП(б). 1930 г.



А. И. Колосов. Алтай, 1948 г.

Дмитрий Фурманов с политработниками в Семиречье, 1920 г. (Д. Фурманов — в центре; в верхнем правом углу — А. Колосов.)





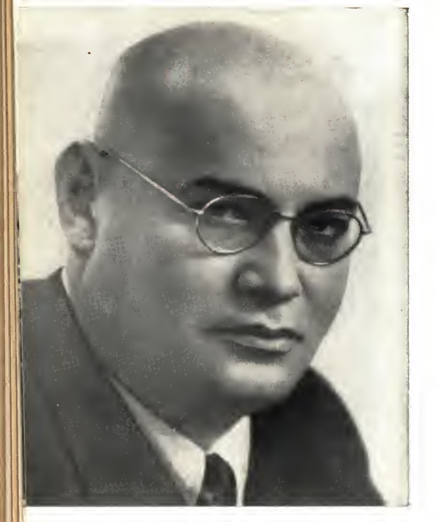
Алексей Колосов, редактор уездной газеты «Алый путь». Сызрань, 1919 г.



Корреспондент «Правды» А. Колосов в выездной редакции. 1943 г.



Разъездной корреспондент А. Колосов в Сибири, в колхозе «Русская поляна». 1954 г.



Борис Горбатов.



А. М. Горький в зерносовхозе «Гигант».



Александр Исбах, Борис Галин и Борис Горбатов в Донбассе. 1928 г.



Красноармеец Б. Горбатов выступает на партийной конференции с призывом внести деньги в фонд помощи пострадавшим от землетрясения. Батуми, май 1931 года.

Военный корреспондент Б. Горбатов на финском фронте среди писателей, журналистов и работников армейской газеты.





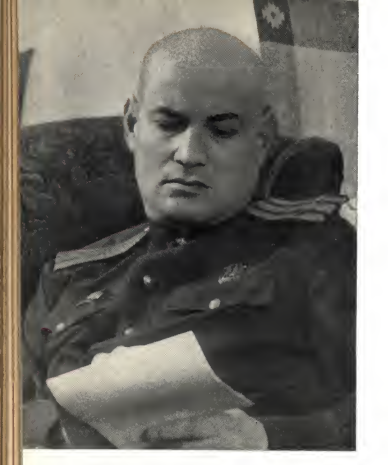
Курсант полковой школы Б. Горбатов. 1931 г.



А. М. Горький на встрече с ударниками труда. Справа — забойщик Никита Изотов из Донбасса. 1934 г.

Сотрудники фронтовой газеты «Во славу Родины» Александр Левада и Борис Горбатов. Южный фронт, июнь 1942 года.





Военный корреспондент «Правды» Б. Горбатов. 1944 г.



На открытии мемориальной доски на доме, в котором жил Алексей Толстой. Слева направо: Ю. А. Шапорин, скульптор С. Д. Меркуров, генерал-майор А. А. Игнатьев, С. Я. Маршак, К. А. Федин, Б. Л. Горбатов и В. В. Иванов. 1948 г.



Б. Горбатов (в центре), К. Симонов и Л. Кудреватых в редакции газеты «Асахи». Япония, 1946 г.

Писатели-депутаты в Кремле на сессии Верховного Совета РСФСР. Слева направо: Алексей Сурков, Валентин Костылев, Михаил Исаковский, Борис Горбатов, Валентин Катаев, Александр Твардовский. 1947 г.





Николай Тихонов и Борис Горбатов беседуют с участниками Первого Всесоюзного совещания молодых писателей. Слева направо: Михаил Львов, Михаил Дудин, Борис Горбатов, Платон Воронько, Николай Тихонов. 1947 г.

Борис Горбатов у своих земляков — шахтеров Горловки.





Друзья Бориса Горбатова по Арктике — летчики полярной авиации (слева направо): А. В. Ляпидевский, В. С. Молоков, М. В. Водопьянов.

Воспоминания о Якове
Ильине или краткая
история жизни одного
большевистского юноши

Литературные

Борис Горбатов,
каким я его знал.

портреты.

Алый путь
разъездного
корреспондента
Алексея Колосова.

